

SAN FRANCISCO PUBLIC LIBRARY



3 1223 09802 0044

INGLESIDE

СЕРГЕЙ ГОВОРУХИН
ПРОЗРАЧНЫЕ
ЛЕСА ПОД
ЛЮКСЕМБУРГОМ

СЕРГЕЙ ГОВОРУХИН

**ПРОЗРАЧНЫЕ
ЛЕСА ПОД
ЛЮКСЕМБУРГОМ**

ас

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Астрель

Полиграфиздат

Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
Г 57

*Оформление обложки:
дизайн-студия «Графит»*

Говорухин, С.

Г57 Прозрачные леса под Люксембургом / Сергей Говорухин. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 314, [6] с.

ISBN 978-5-17-064823-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-26653-9 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-4215-0617-1 (ООО «Полиграфиздат»)

Проза Сергея Говорухина — о любви и сострадании, о нравственном выборе, о том, каким испытанием бывает для человека жизнь после войны.

В сборник вошли повести, рассказы и миниатюры.

**УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос-Рус)6**

Подписано в печать 02.02.2010 г.
Формат 84x108/ 32. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 3 000 экз. Заказ № СК 0638.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 — книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN 978-5-17-064823-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-26653-9 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-4215-0617-1 (ООО «Полиграфиздат»)

© Говорухин, С.
© ООО «Издательство Астрель»

РАССКАЗЫ

Старик

Старик не спал.

Сквозь неплотно задернутые шторы в комнату давно вполз рассвет, и в полумраке было видно, какой напряженной болью полны его глаза.

В изголовье на столике, между холодным чаем в подстаканнике и раскрытой на середине книгой, ждал своего часа старый будильник в кожаном футляре. До звонка оставалось несколько минут, и старик вглядывался, как неотвратно сходятся стрелки часов. Наконец будильник зазвенел, и, пока не кончился завод, старик плакал, прикрыв глаза рукой, словно стесняясь кого-то постороннего и равнодушного.

Будильник давно отзвенел, а старик по-прежнему лежал, не открывая глаз. И лишь после нескольких обрывистых, но настойчивых звонков в дверь встал, обнажив худые старческие ноги в больших трусах, и вышел в прихожую.

На пороге, нелепо имитируя бег на месте, подпрыгивал сосед — немолодой мужчина в спортивном костюме и кедах.

— Побежали... Вадим... — сосед пытался говорить в такт бегу.

— Ты беги, — отказался старик. — Я что-то не совсем сегодня...

Сосед недоуменно пожал плечами и устремился вниз по лестнице.

В ванной старик подошел к зеркалу. Лицо ничего не выражало.

Он подправил лезвие, густо намылился и стал бриться. Побрившись, оглядел себя в зеркале и, хотя лицо было совершенно чистым, намылился и побрился еще раз.

Затем он взял тряпку и наспех, как умел, вымыл окна в квартире.

Протирая закоптившееся кухонное стекло, он бросил тряпку, достал из буфета заброшенную пачку папирос (табак был сухим, покрывшимся плесенью) и, сев на подоконник, как это делают мальчишки и одинокие женщины, закурил в раскрытое настежь окно.

По улице, неуклюже загребая ногами, бежал сосед. Заметив молодую женщину, он оборачивался и обреченно вздыхал на ходу.

Глядя на него, старик подумал, что мальчишество не растворяется в крови и лишь последний предел старости безразличен к молодости.

Он выбросил папиросу и захлопнул окно с недомытой рамой.

Снова раздался звонок в дверь. Это был сосед. По тому, как тяжело он дышал, можно было догадаться, что им проделан серьезный маршрут.

— Я подумал: может ты заболел? Как-то странно, Вадим...

— Я здоров, — отвечал старик.

Они говорили, разгороженные порогом его квартиры. Сосед — на лестничной клетке, старик — в коридоре. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и во всей позе его и в том, как он говорил, чувствовалось не свойственное ему спокойствие.

— Ты бы зашел, Костя, — попросил старик.

Сосед пожал плечами, была у него такая идиотская привычка, и прошел в коридор.

— Через час мне на работу, — предупредил он.

— Позавтракаем, — сказал старик, — и побежишь. В крайнем случае, опоздаешь. Ты начальство — тебе можно.

— Жена дома. Ждет...

— Да она на двадцать лет вперед все тебе простила, жена твоя...

Старик поставил чайник, бросил в кастрюлю четыре яйца. Достал из холодильника колбасу, масло.

Сосед огляделся.

— Как у тебя... — он подбирал слово, — пустынно...

— Пустынно, — отозвался старик. — Ты ведь никогда у меня не был. И я у тебя. Живем в одном доме, бегаем по утрам и даже не поговорили.

— Всеобщее разобщение, — вскинул плечи сосед.

— Живем, как будто сбрасываем в бездну одинаковые дни. И не мудреем, и лучше не становимся...

— Тебя бессонница, что ли, замучила? — улыбнулся сосед.

— Что?

— Чего ты взялся философствовать-то с утра?

— Да какая, к черту, философия... Жизнь-то прошла, Костя, а зацепиться не за что...

Сосед взял папиросу. Долго крутил в пальцах, неумело сминая гильзу.

— Ты был на войне, — серьезно сказал он, — разве это-го мало...

— Был. И вернулся. Целый и невредимый... И все ждал, когда наступит день и час и я совершу что-то достойное того, что делал там... — Старику показалась неловкой эта фраза — он встал, достал с полки чашки и, повернувшись к соседу спиной, стал отмывать их ершиком под струей горячей воды. — Так и прожил в ожидании...

— Напиши мемуары.

— Рядовые не пишут мемуаров.

Сосед поднялся.

— Побегу. Уже опаздываю...

— А завтрак?

— Да хрен с ним... Перехвачу в буфете. Только ты...

— Ладно, — отмахнулся старик.

Яйца переварились. Старик выключил газ, аккуратно слил воду и выбросил кастрюлю в ведро.

Потом он одевался, то и дело поправляя пиджак и галстук, поскольку давно не носил ни того ни другого и совсем отвык.

Сначала он зашел на почту и, выстояв очередь среди таких же стариков и старух, получил пенсию.

Кассирша считала медленно и неуверенно, сбивалась, пересчитывала, и в это время старик смотрел на солнце, встававшее над крышами многоэтажек. Старик смотрел на солнце с каким-то последним восторгом, и кассирше, наконец-то справившейся с подсчетами, пришлось дважды постучать по стеклу, прежде чем он ее услышал.

— Сухов, получите! — раздраженно сказала она.

Выйдя с почты, старик сел на трамбай, следующий в город. Ему уступили место, но он отказался, испугавшись, что сидя не сможет ловить глазами солнце, прячущееся за крышами домов. На старых булыжных мостовых трамвай трясло, и от этого солнце казалось еще неуловимее.

На центральной улице города старик зашел в нотариальную контору и оформил бумаги, которые, как полагал, успеет оформить всегда.

На секунду ему показалось суетным и ненужным тратить время на бумажную волокиту, но в следующее мгновение он понял, что уже не принадлежит самому себе, и заверенные нотариусом документы как никогда отчетливо подтверждали это.

В часовом отделе универмага, глядя на безжалостно отмеряющие время развешанные по стенам часы, старик подумал о том, что когда человека начинают преследовать стрелки часов — значит, он остался один. Совсем один.

Часы он купил электронные. Самые дорогие.

Получив часы, старик спустился этажом ниже в граверную мастерскую.

— Желаете посмотреть образцы? — спросил гравер и тут же сунул старику табличку, исписанную мелким красивым шрифтом.

— Спасибо, — отказался старик, возвращая табличку, — мне всего три слова.

И протянул граверу обрывок газетной бумаги. На бумаге было написано: «Не растрать себя».

— На таких часах, и три слова... — протянул гравер.

— Разве к этому можно что-то добавить? — спросил старик.

— Вероятно, нет, — гравер внимательно посмотрел на старика. — А кому эти часы?

— Одному человеку... Моему внуку.

— А... — хотел что-то спросить гравер.

— Ему десять лет, — оборвал гравера старик. — Он очень хороший мальчик, круглый отличник, юннат и председатель пионерской дружины... И все это он один...

В летнем павильоне, разбавляя пиво водкой, шумели и суетились мужики.

Старику тоже захотелось выпить. Но не так — в дыму и пьяных разговорах, — одному, в тишине, сто грамм. Тех самых, «наркомовских»...

Окна, занавешенные тяжелыми портьерами, делали зал ресторана темным и уютным.

— Что будете есть? — спросил официант, вынимая блокнот. — Впрочем, есть далеко не все, — добавил он, заметив, как машинально перелистывает меню старик. — Борщ, солянка, филе мясное, рыбное, антрекот...

— Благодарю, — перебил старик. — Мне сто водки и салат, что ли...

— Вообще-то так не принято, — мягко возразил официант.

— Ну, несите тогда... антрекот.

Официант не приходил долго. Наконец появился, лениво смахнул со стола оставшиеся после кого-то крошки, расставил тарелки. Был он молод, неопытен, и, хотя пытался казаться снисходительным, — это не очень ему удавалось.

— Знаешь что, ты выпей со мной, — попросил старик.

— Нельзя нам, — привычно отказался официант.

— Я сегодня умру, — сказал старик.

Простая ясность и покой этих слов поразили официанта.

— С чего вы взяли?!

— Старики чувствуют смерть, и ничего ты с этим не поделаешь. — Старик наполнил рюмки и выпил, не дожидаясь официанта. — Ты еще мальчик и все у тебя впереди, а моя молодость прошла на войне. Казалось, только молодость, а получилось, что вся жизнь...

— Что же вы, не жили после этого?..

— Почему, жил. Работал, мебелью обставлялся, глядки полел... А все-таки жаль ее...

— Кого? — не понял официант.

— Жизнь. Хорошая она или плохая — другой не будет. — Старик неожиданно занервничал: — Слушай, посмотри, как там солнце?

Официант подошел к окну, отогнул край портьеры.

— На месте, — сказал он и, бросив взгляд на старика, до конца раздвинул портьеру.

Луч солнца заиграл на тонких стенках графина, скользнул по краю креманки с нетронутым салатом...

Старик поднялся, положил деньги на стол.

— Солнце — это ничего, правда?

— Правда.

— Ну, будь здоров, сынок.

— А сдачу?

Старик улыбнулся.

— Ты вот что, ты помни: никто пути пройденного нам не вернет.

Не раздеваясь, старик стоял посреди комнаты перед фотографией на стене. На фотографии были он и его жена. Сразу после войны.

Старик снял галстук (галстук был черным) и перетянул фотографию наискось с той стороны, где сидел он: молодой, счастливый, с двумя орденами Красной Звезды на лацкане двубортного пиджака.

Солнце раскалялось.

Старик дошел до сквера, сел на скамейку, закурил.

Такое же солнце было в тот день, в сорок пятом, когда он шел по освобожденному западному городу. Вокруг было много, очень много людей, и, конечно, женщин, бросавших солдатам цветы.

Он шел в середине колонны и не ждал никаких цветов. Но одна, молоденькая, совсем девчонка, поравнялась с их шеренгой и что-то крикнула на своем языке. Первым на ее голос повернулся он, и тогда она бросила ему огромный, разлетающийся во все стороны букет...

Внезапно сорвалась рука, скатилась по скамейке папироса и, упав на асфальт, погасла...

Пустяки

Вечер. В квартире сумасшедшая тишина.

Лишь из давно не чиненого крана монотонно капает вода и через каждые полчаса заводится холодильник. Не такая уж тишина, если разобраться.

Холодильник я купил с рук у малознакомых людей, уезжавших в другой город, и при этом до постыдного мелко торговался. Теперь он мстит мне за прошлое недостойное поведение.

Холодильник — моя совесть. Особенно его непорочное внутреннее содержание. Время от времени в нем появляются головка сыра, бутылка молока, круг колбасы. Все это постепенно скисает, пропадает и в конце концов выбрасывается.

Я пока не решил для себя наболевшего вопроса о хлебе насущном. Говорят, художник должен быть голодным. Но не всегда же...

Что я делаю? Лежу на диване и вспоминаю не свою жизнь.

Я вспоминаю, как умирал Пушкин. Что я знаю об этом? Что почерпнул из литературоведческих работ, изложенных сухим протокольным языком: факты, события, даты... А Пушкин? Он сам, смертельно раненный, в тяжелом горячечном бреду?..

«Жизнь кончена... — говорил он, умирая. — Трудно дышать... Давит...»

Это его последние слова.

Его считали фрондером, баловнем судьбы, записным дуэлянтом. Для него были открыты двери модных салонов,

он легко добивался расположения женщин, ему покровительствовал император. О нем говорили как о недурном стихотворце, не лишенном дара небесного, авторе желчных эпиграмм...

Россия была не готова к такому поэту, как Пушкин.

Его убил ферт, ничтожество, «французик из Бордо». При молчаливом невмешательстве безликой массы.

Всю жизнь ему было трудно дышать, но рядом не было ни одного человека, кому бы он мог признаться в этом...

Опять заработал холодильник, и я вспомнил о квартплате.

Это уже из моей жизни. Два месяца я не платил за квартиру и, вероятно, не буду платить еще столько же. Не могу представить себя в тоскливой очереди коммунальных платежей... Каждый раз, вставая в хвост очереди за неизменными старухами в выцветших болоньевых плащах и заполняя непостижимые квитанции, у меня создается ощущение, что мне выписывают проездное свидетельство на тот свет...

Рано или поздно мне придется встать в эту очередь и лишний раз позавидовать тем, кто, скитаясь по съемным углам, уступает это право своим квартирным хозяевам. Отчаянным романтикам, чье немудреное имущество легко умещается в двух дорожных чемоданах...

Я вспоминаю его — удивительного писателя. Он писал замечательные сценарии, но еще более замечательные он писал стихи. Писал легко и непринужденно. И никогда не печатал.

Меняют люди адреса,
Переезжают, расстаются,
Но лишь осенние леса
На белом свете остаются...

И лишь через несколько лет после смерти, когда его стихи наконец опубликовали, мы узнали, что среди нас присутствовал большой поэт, о существовании которого почти никто не догадывался.

Он был свободен от житейских дрязг и склок по поводу недостающего в получку червонца. Мог позволить себе слоняться по московским улицам с расстроенной гитарой, ночевать где придется и, может, от того, писал трепетно и несозвучно эпохе...

У него была очень несерьезная для советского поэта фамилия: Шпаликов.

Геннадий Шпаликов покончил с собой — повесился на радиаторе парового отопления. Предварительно заняв три рубля на шампанское и выпив его до дна...

В тридцать семь лет. Пушкинский возраст.

Ученые, изучавшие генеалогическое древо Пушкина, определили, что он мог бы прожить долго, лет до шестидесяти, по крайней мере. А я не могу представить Пушкина безупречным старцем, избежавшим дуэли...

За окном совсем темно. Лишь слабый отблеск уличного фонаря проникает в комнату. Можно включить торшер, осветить комнату и вернуться в действительность. Можно. Но, к счастью, у меня нет торшера...

Говорят, Мартынов, узнав, что убил не поручика, а поэта Лермонтова, сошел с ума. И летчик, сбросивший бомбу на Хиросиму, тоже. Скорее всего, это не так, но я верю.

Мы слепо верим в добро, хотя гораздо чаще сталкиваемся с жестокостью. Мы говорим: ну, уж этот-то не подведет, не предаст, — и беспомощно разводим руками после очередного предательства.

Мы думаем, что познали жизнь до конца, и уходим, не познав. Нам кажется, что все еще можно исправить, а за нами уже спускаются ангелы...

Скрипуче затарахтел проклятый холодильник. Когда он девственно пуст, то особенно вызывающе демонстрирует свое отношение ко мне. Он считает меня скрягой, я считаю себя художником. В конечном итоге, прав окажется кто-то один из нас.

Моя мама в войну болела цынгой. Бабушка служила раздатчицей в офицерской столовой, а мама болела цынгой...

До войны бабушка была пианисткой. Ее пальцы легко скользили по клавиатуре, брали немыслимые поднебесные аккорды... Она не могла представить в этих пальцах две теплые вареные картофелины, украденные из скудной порции того, кто завтра уйдет на фронт и, скорее всего, не вернется...

А мама болела цынгой...

К началу войны маме исполнилось восемь лет. Четыре года она простояла у снаряжного конвейера. После школы, стихов по госпиталям...

Сейчас у нее женственные красивые руки актрисы, на которых отчетливо проступают синие вздутые вены — отпечаток войны.

Я родился через шестнадцать лет после войны, но мне кажется, что я был с мамой эти четыре года, прожил и пережил войну, — память тех лет отзывается во мне острой неподслушанной болью.

Скорее всего, я засну одетым, укрывшись шерстяным пледом и подоткнув подушку под голову. И хотя утром мне не придется одеваться — я все равно опоздаю на работу.

В коридоре меня встретит начальник и непременно заметит:

— Что, Васильев, опять опаздываете...

— Да, Виктор Алексеевич, опять, — виновато отвечу я.

Такой диалог происходит у нас почти каждый день. Начальник прекрасно знает, что я не могу не опаздывать, я — что он не может этого не заметить.

Я зайду в отдел и сяду на свое рабочее место. С этого часа начнется моя жизнь.

Нарисуй меня, Женечка

— Женечка мой с детства нежный, ласковый был мальчик... И все меня рисовал. Заберется ко мне на кровать и шепчет: «Мамочка, хочешь, я тебя порисую?..» Я закрою глаза, а он пальчиком нежно так водит по бровям, губам... Все обведет, а потом осторожно к глазам прижмется и тихонечко поцелует. Это он так глазки рисовал.

Он ведь у меня один был, и я у него одна. Так получилось. Отца он не помнил, и я про него позабыть постаралась. Плохой он был человек. Не отец Женечке...

Я работала много, но зарплата маленькая была. Шить выучилась, на дом работу брала — все хотела Женечку хоть немножко побаловать. Да не выходило. Он болезненный был очень. Как заболает — я при нем. Еле еле концы с концами и сводили. А так я мечтала в Москву с ним съездить, купить ему что-нибудь необыкновенное...

Но он никогда не обижался и не просил ничего. И если я у машинки швейной допоздна засижусь, он подойдет и скажет: «Мамочка, ты устала очень. Давай я тебя порисую...»

Я как сейчас его пальчики помню. Сначала маленькие такие, когда он меня в четыре года первый раз нарисовал. Тоненькие такие пальчики, как перышки, на просвет... И потом, когда в школу пошел, и работать начал. Он, Женечка, никогда меня не стеснялся... И рисовал всегда. Я не просила. Он сам. Он на заводе работал, руки огрубели сразу, а когда рисовал, все равно такие же нежные, как тогда, в четыре года. И глаза мне всегда целовал. Он целует, а я плачу. Понимаю, что

надо бы удержаться, а не могу. А Женечка все уговаривал: «Ты не плачь, мамочка, все хорошо будет». А что — хорошо, он не знал, и я не знала.

А потом, ах ты господи, война ведь началась... Женечку моего сначала не брали по близорукости, но он сам выпросился в ополчение.

В октябре его и забрали... На проводы друзья его пришли, какие остались, девушки молоденькие. А только его девушки среди них не было. Не успел он девушку завести... Я немного с ними посидела и ушла к себе. Не могла я этого выдержать. А немного погодя Женечка мой пришел и говорит: «Пусть они там, а мы с тобой, мамочка, посидим. Давай я тебя на расставание нарисую, чтобы всю войну помнить». Так и сказал: «на расставание», а не «на прощание». Да только не удалось ему меня тогда нарисовать — истерика у меня началась, а потом и приступ. Он всю ночь и просидел, меня успокаивая. И не поспал-то ни крошечки...

Пропал мой Женечка без вести. Под Вязьмой. В сорок первом.

Что со мной было-то, вспомнить страшно. Еле выходили... А потом подумала: без вести пропал — не убитый же! Значит, вернется. Я так и знала: вернется мой Женечка...

Всю войну — сразу после работы домой. Никуда не ходила. Боялась: вернется Женечка, а меня нет. Разве возможно такое...

После победы каждый поезд высматривала, который на нашей станции останавливался. Да только что высматривать — на нашей станции много солдат не сходило...

Сватался ко мне после войны подполковник, и другие сватались — я им отказала. Тяжело было одной, а только не могла я, все время думала: вернется Женечка, а в доме чужой мужчина...

Куда я только ни писала. А потом один человек мне посоветовал: ты, говорит, мать, поезжай в Москву на девятое мая. Там люди со всех фронтов, полков собираются. Может, и знает кто, где твой сын. Только ты на грудь фанерку какую повесь и напиши: кто знает такого-то, с такого-то фронта, такого полка — отзовитесь!

Фанерку-то мне сосед Костик сделал, а уж написала я сама. И поехала.

Теперь вот в семнадцатый раз еду. А только ничего... Я же знаю: вернется Женечка. Не может не вернуться. И еще нарисует меня... Так же нежно, как тогда, в четыре года... И морщины мои нарисует... Не постесняется.

Сказал же он тогда: на расставание...

Туманный край небес

Егор Васильевич Коньков скончался.

Пятьдесят четыре года, отпущенные судьбой, прожил он степенно и трезво, не раз украшая плотной, облаченной в бостоновый пиджак фигурой Доску почета стройтреста, в котором служил. Умер же он внезапно, от удара, чем вызвал искреннее недоумение сослуживцев и соседей по лестничной клетке.

На девятый день Егор Васильевич вошел в комнату и осторожно присел на свободный стул у края стола.

Пришедших помянуть его было немного, но это не удивило и не огорчило Егора Васильевича. Он знал, как коротка человеческая память, и девять томительных дней, отделявших его от прошедшей жизни, слились в вереницу повседневных дел и забот для других.

Не решаясь пошевелиться, с замиранием сердца смотрел он на свою жену Елизавету Ильиничну.

Елизавета Ильинична, как и положено вдове, сидела во главе стола, и черный бязевый платок, спадавший на черное платье, оттенял ее от других. Рядом с ней на тарелке стояла рюмка водки, накрытая куском черного хлеба, мысленно принадлежавшая Егору Васильевичу.

«Теперь все, связанное со мной, будет только мысленно», — подумал Егор Васильевич и впервые ощутил в себе забытые за девять дней слезы.

Он с тоской оглядывал свою квартиру — двухкомнатную «хрущевку» с низкими свежепобеленными потолками, коврами, сервантами и трюмо на фигурных ножках. Ни щербинки... Все было подогнано, прошпаклевано, выкра-

шено, и от этого стерильно-полированного благополучия, когда-то радовавшего глаз, становилось грустно и неудобно, и жаль было потраченной зря жизни.

Егор Васильевич повернулся к Елизавете Ильиничне и увидел, что она смотрит на вещи его глазами.

Тридцать лет прожили они в привычке, вечных хлопотах, воспитании сына и только сейчас, постигнув необратимость произошедшего, были влюблены, как в юности, и тосковали друг без друга. Егору Васильевичу хотелось подойти к жене, положить руку на плечо и сказать, что он здесь, с ней, но делать этого было нельзя, и, не находя себе места, он вышел на лестничную клетку.

На площадке, аккуратно стряхивая пепел в блюдце, в неловком молчании курили сварщики его бригады.

— С понедельника нас на трассу посылают, — первым нарушил молчание бригадир.

— Почему нас-то?!

— Опять — твою мать! — завозмущались сварщики.

— А кого прикажете посылать? — усмехнулся бригадир. — Молодых? Они наварят...

— Дождь, слякоть... — неопределенно сказал кто-то.

— Егора бы. Он любил с трубами возиться.

— Да, Егор был сварной что надо, — охотно поддержали сварщики.

— Самые неудобные стыки выбирал.

— Да и то сказать: наблатыкался за тридцать лет.

— Теперь вот... Тьфу! — сплюнул кто-то в сердцах. — Пойдем, что ли, хлопнем за помин Егоровой души.

«Почему они все об одном и том же...» — с раздражением подумал Егор Васильевич, но, вспомнив, что еще недавно сам был таким, смутился и прошел в квартиру.

На кухне Люба, соседка, выпытывала у Елизаветы Ильиничны:

— Не приходил еще Егор-то?

— Нет... — как будто удивлялась Елизавета Ильинична.

— Ты не удивляйся. Они, покойники, любят после смерти ходить. Ходят — душу мытарят.

— Зачем?

— Бог их знает, неумных. Ты, главное, не бойся.

— Я не боюсь, — спокойно отвечала Елизавета Ильинична.

— Как почувствуешь: пришел, — не успокаивалась Люба, — ты его матом и почаще. Они этого не выносят.

«Неужели пошлет?» — ужаснулся Егор Васильевич.

— Глупости все, — сказала Елизавета Ильинична и ушла в комнату.

«Дура!» — рассердился Егор Васильевич и сыпанул Любе соли в поминальный компот.

Расходились быстро — никому не хотелось оставаться один на один со вдовой, переносить ее слезы и заниматься бесполезным утешительством.

За окном шел мелкий осенний дождь, и сварщики, предполагая сырость вечерней улицы, выпили в коридоре на посошок, что-то долго и путано объясняли Елизавете Ильиничне, оставляли телефоны и только после этого ушли.

Елизавета Ильинична осталась одна.

Чтобы не напугать жену, Егор Васильевич прошелся по комнате тяжелой, одной ей знакомой походкой и несколько раз кашлянул в тишине.

— Ты, Егорша? — позвала Елизавета Ильинична.

— Я, Лиза.

— Я ждала тебя.

— Я не мог раньше.

— Сядь около меня.

Егор Васильевич сел.

— Как ты живешь, Лиза?

— Плохо. Я скучаю по тебе, Егорша.

— И я скучаю по тебе, Лиза.

Они замолчали.

— Почему не было сына, Лиза?

— Он в командировке — не смог поехать. Ты расстроился?

— Нет. Я хотел увидеть только тебя... Я не знаю, о чем говорить. Мы что-то делали не так?

— Мы все делали не так... Помнишь лето в Сокольниках, в пятьдесят восьмом году? Ты был в белом костюме и в этой дурацкой соломенной шляпе, ужасно смешной...

— И ты была в белом платье, только совсем девчонка...

— Это был единственный день в нашей жизни, — помолчав, сказала Елизавета Ильинична. — Лучший день.

— Лучший, — согласился Егор Васильевич. — Я люблю тебя, Лиза.

— И я люблю тебя, Егорша. Мы теперь все время будем вместе?

— Да... Все время...

И не удержался — заплакал. Сиротливое дыхание его слезы коснулось ладони Елизаветы Ильиничны.

— Что с тобой, Егорша? Почему ты плачешь?

— Так, ничего. Это теперь бывает со мной.

— Когда тебе уходить?

— На рассвете.

— Ты придешь завтра?

— Да.

— Как хорошо. Знаешь, я устроюсь куда-нибудь на сменную работу, и мы будем встречаться каждую ночь. Мне совсем не обязательно видеть тебя — я так привыкла к тебе, запомнила тебя, что мне достаточно твоего дыхания рядом, достаточно просто говорить с тобой...

На рассвете Егор Васильевич ушел.

— Я закрою за тобой, — сказала Елизавета Ильинична. — Будто ты ушел на работу и вот-вот вернешься...

Встречались они каждую ночь.

Егор Васильевич приходил в первом часу, садился за обеденный стол в большой комнате, и они говорили о том, что много лет покоилось в глубине их сердец.

— Ты стал совсем другим, — говорила Елизавета Ильинична, — я хочу увидеть тебя.

— Я все тот же, — смеялся Егор Васильевич, — только немного похудел, небрит, и, что самое поразительное, — умные глаза...

— За что ты меня полюбил?

— Ты необычная, Лиза.

— Разве? — недоверчиво спрашивала Елизавета Ильинична.

— Конечно, — горячо убеждал Егор Васильевич. — Ты удивительная...

— Обыкновенная, — смущалась Елизавета Ильинична. — Табельщица на стройке. Что тут удивительного.

Перед рассветом они уходили гулять. Шли ночной Москвой, Бульварным кольцом, темными набережными.

«Ночь коротка, спят облака...» — напевал Егор Васильевич.

Иногда он замолкал, думая о чем-то, совершенно неведомом Елизавете Ильиничне, и тогда в ней оживала смутная тревога, — казалось, он ушел далеко и никогда не вернется.

- Егор, — тихо звала она.
- Да, — не сразу отзывался он.
- Почему ты раньше не говорил мне об этом?
- О чем, Лиза?
- О любви.
- Раньше это казалось не главным...

Редкие ночные таксисты притормаживали у одинокой фигуры Елизаветы Ильиничны, но, наткнувшись на ее недоуменный взгляд, уезжали прочь, проклиная свою тяжелую долю, завышенный план и директора таксопарка.

Глядя им вслед, Елизавета Ильинична думала о том, что каждый из них мог бы быть по-своему счастлив, если бы понимал, какие возможности открывает человеку ночь. Но они не задумывались об этом так же, как еще недавно не задумывалась и она.

Однажды постовой у памятника Грибоедову сказал ей:

— Вы вот, гражданочка, все гуляете по ночам, и это становится подозрительным.

— Вам-то какое дело?! — вспыхнула Елизавета Ильинична, а Егор Васильевич незаметно стащил у постового свисток.

Этим свистком они разбудили несколько ответственных квартиросъемщиков у Никитских ворот и с детским озорством наблюдали, как вспыхивают светом темные окна. И пока они шли в тени деревьев, еще долго были слышны возмущенные реплики в адрес родной милиции и распоясавшегося хулиганя.

Неожиданно она останавливалась и, строго глядя перед собой, говорила:

— А помнишь, как раньше? Ты придешь с работы — я тебе ужин. Потом газета или телевизор. В воскресенье пельмени или в гости куда-нибудь. Летом домино, я с бабами у подъезда. О чем говорили-то, господи...

Она краснела.

— Вспомнила, — возражал он. — Когда это было!

— Вспомнила, — ворчала Елизавета Ильинична, но ей самой становилось хорошо от того, что это было, прошло и уже не вернется.

«Пусть я с вами совсем незнаком...» — напевал Егор Васильевич.

И все-таки Елизавете Ильиничне доставало физического присутствия мужа.

По утрам она вынимала из шифоньера его рубашки и, развесив на стульях, открывала балконную дверь. Они жили в заводском районе, и за день пыль, выбрасываемая многочисленными производствами, мелко оседала на крахмальных воротничках.

Приходя с работы, Елизавета Ильинична долго кипятила и полоскала рубашки, а затем, отутюженные и накрахмаленные, снова вешала в шифоньер. В ванной, на полочке, стояли помазок и бритвенный прибор Егора Васильевича. Висело его полотенце.

Чтобы не прослыть ненормальной, ей приходилось то и дело менять химчистки, поочередно сдавая костюмы и другие вещи Егора Васильевича. Она отдала в покраску старый кожаный реглан Егора Васильевича и, выкупив его за двадцать рублей, вдыхая свежий запах краски, с удовольствием представляла, как обрадуется Егор Васильевич и как непременно заметит, что старые вещи, если за ними следить, могут прослужить человеку долгие годы.

Все в доме говорило о присутствии хозяина, и Егор Васильевич часто смеялся над Елизаветой Ильиничной, говоря, что завидует ее мужу, поскольку лично ему такого счастья, увы, не выпало.

— Бессовестный, — улыбалась Елизавета Ильинична и на следующий день проделывала все заново.

Прошло тридцать шесть дней со смерти Егора Васильевича.

— Ты стал какой-то грустный, Егорша, — осторожно заметила Елизавета Ильинична.

— Почему-то все время хочется плакать, Лиза... — отвечал Егор Васильевич. — Раньше ты спрашивала: «У тебя плохое настроение?» Я говорил: «Да». Не подписали процентовку или наряд закрыли на тридцать копеек меньше... Теперь все перевернулось, и тоска, если она приходит, невыносима.

— Ты что-то скрываешь от меня?

— Нет, что ты, Лиза.

Сегодня между ними не было единства душ, и оттого оба чувствовали себя неловко и печально.

— Давай прокатимся куда-нибудь на метро, — предложил Егор Васильевич. — Еще успеем.

Они проехали три остановки до Таганки и обратно.

«Как одиноко... — думал Егор Васильевич. — Какое это счастье — любить, но как мучительно оно дается...»

Медленно плыл вверх эскалатор.

— Знаешь, по чему я страшно скучаю? — спросил Егор Васильевич.

— По чему?

— По сигаретам. Так хочется долго прикуривать на ветру, жечь, ломать спички, закурить, прислониться к дереву и думать. О чем-нибудь таком, понимаешь... Мимо идут люди, а ты предоставлен сам себе, и кажется, больше ничего не надо. В сущности, человека отделяет от окружающего мира совсем пустяк: книга, дым сигареты, мысли...

Елизавете Ильиничне стало тревожно.

— Что ты, Егорша, родной?..

— Да, ну, — отвечал Егор Васильевич. — Это я так...

На улице было сыро и прохладно. Неприятно завывал ветер.

— Я теперь пойду, — сказал Егор Васильевич. — Ты прости, Лиза...

— Как?

— Пойду. Нужно побыть одному. Это ничего, ведь я же приду завтра.

— Ничего, — слабо отозвалась Елизавета Ильинична — слезы переполняли ее.

— Только ты... Не надо. Ты улыбнись, вот что. Улыбнись!

Она улыбалась сквозь слезы, глядя в ту сторону, куда, как ей казалось, должен был уйти он.

Егор Васильевич не растворился. Он шел по мокрому тротуару, и сырой холодный ветер, то догоняя, то обгоняя его, перебирал набухшими листьями.

Плоти не существовало, но в том месте, где когда-то было сердце, что-то пульсировало и билось сейчас. Его невесомое сердце разрывалось от любви к этой женщине и от бессилия что-либо предотвратить. Он знал то, чего еще не знала она.

После сорокового дня ему полагалось оставить Елизавету Ильиничну навсегда.

Лерочка-Валерочка

Он позвонил без десяти шесть, когда она уже складывала намокший днем зонтик, чтобы через несколько минут раскрыть его снова.

— Вас слушают, — произнесла она, неловко прижимая трубку к плечу, — руки в этот момент пытались нащупать застёжку.

— Будьте любезны Валерию.

— Слушаю вас...

Руки по-прежнему скользили в поисках застёжки — они всегда совершали уйму ненужных движений.

— Здравствуйте. Скажите, вы работаете в отделе охраны памятников?

— Ну, да...

— Вы не согласились бы взять под охрану один памятник?

— Вас?

Стало скучно и привычно: с этой глупой фразы начинался чуть ли не каждый пятый телефонный звонок.

— Совершенно верно, меня, — почувствовав раздражение, невесело усмехнулись на том конце.

— Знаете, молодой человек, — вздохнула она, — если вы думаете, что оригинальны, то глубоко заблуждаетесь. Вы далеко не первый предлагаете мне подобную глупость.

Он помолчал.

— Я и не претендую на оригинальность. Извините.

И оборвался короткими гудками.

Она улыбнулась, закурила.

— Лера, ты идешь? — мелькнул голос сотрудницы.

— Нет, не жди меня.

Голос пропал. Лишь в глубине коридора слышалось мокрое шлепанье тряпки и ежевечерний мат уборщицы.

Снова зазвонил телефон.

— Как ни странно, это опять я.

— Я догадалась.

— Черт с ней, с оригинальностью. Просто так мы можем встретиться?

— Можем.

— Сейчас вы, конечно, скажете, что сегодня заняты.

— Ничего я не скажу, — Лера поплевала на окурочек — видел бы он ее в эту минуту. — Назначайте время и место.

Он назначил. Деликатно поинтересовался, удобно ли ей.

— Удобно, удобно, — отвечала она.

Ей были совершенно безразличны и он, и встреча, и все на свете. Но неотвратимо подступал вечер с его одиночеством и попыткой куда-нибудь себя деть — один из тысячи похожих друг на друга как две капли воды, бесконечных вечеров.

Они и встретились. Лера — в черном дутом пальтишке, красной шапочке, красных сапожках, до умопомрачения хорошенькая. Он — в длинном плаще, высокий, уже сидящий.

— Валерия, — постучав сапожком о сапожок, протянула руку в красной перчатке.

— Валерий, — он вложил ей в руку букет бордовых роз. — Очень вам идут.

— Лерочка-Валерочка, — простучали сапожки. — Вы убиваете меня галантностью. Куда поведете?

— Куда прикажете.

— Куда прикажу... Ресторанов терпеть не могу. В кино вроде возраст... — она загибала пальчики на руке. — Можно, конечно, в театр, но придется волей-неволей отвлекаться на сцену, а это может закончиться катастрофой. Пойдемте, что ли, ко мне. Я предложу вам чай или кофе. Вы что предпочитаете?

— Портвейн.

— Что ж, можно и портвейн.

— Вы, простите, одна живете?

— Одна, одна...

В винный отдел тянулась очередь длиною в жизнь.

— Очередь за счастьем,— заметила Лера. — Портвейн отменяется.

Он достал из плаща бутылку марочного.

— Счастье в наших руках.

— Вы производите впечатление предусмотрительного человека.

— Это кажущееся впечатление.

Квартира оказалась уютной, обставленной с безупречным вкусом.

Он пощелкал пальцем по переплетам книжек, прошел в кухню узким коридорчиком.

— У вас хорошая библиотека и вообще славно. Значит, так и путешествуете: из комнаты в кухню, из кухни в комнату.

— Так и путешествую. А вы?

— Я объездил полстраны, но нигде не обрел душевного равновесия. И вот теперь смотрю на вас и думаю: может, эта женщина разберет хаос в моей душе?..

— Я что, похожа на вторую половину страны?

Он усмехнулся.

— Бог вас знает, на кого вы похожи... Только мне у вас так спокойно, будто я здесь родился и вырос, и вот, наконец, вернулся...

Лера не ответила. В ее дверь стучался незнакомый, непохожий на других человек, и она пока не понимала, нужно ей это или нет.

Он разлил вино по большим бокалам на высоких ножках.

Опалово-золотистый цвет вина вносил в душу смуту и неопределенность.

— Крепленое? — спросила Лера.

— Марочное.

— Марочное — тоже крепленое. Это я знаю. Вообще-то из меня такой питок...

— А из меня ничего. Знаете, один писатель сказал: «Я не только по-прежнему ничего не пью, но и не понимаю, как можно вырывать страницы из этой и без того короткой книги»¹. Теоретически я с ним согласен...

— Много пьете?

Он промолчал. Ему хотелось, чтобы она пожалела его, сказала что-нибудь мягкое, успокаивающее, но она была далеко, и занимал он ее постольку, поскольку присутствовал в ее пятиметровой кухне.

¹В. Шкловский.

Он никак не мог привыкнуть к мысли, что на свете есть люди не менее одинокие, чем он сам.

— Да, — протянул он и снова налил. — Ну, а как вы вообще поживаете?

Она улыбнулась.

— Так себе поживаю. Обыкновенно. Охраняю памятники, езжу в командировки...

— И одна?

Она пригубила.

— Вот с вами.

Он почему-то смутился, выпил до дна.

— Помните, в «Двух капитанах» Ромашов спрашивает у Кати: «Вот напьюсь, что будете делать?» Она отвечает: «Выгоню». Две фразы — и целый пласт отношений... А вы что будете делать?

— Спать уложу.

— Так может, мне быстрее напиться?

Она засмеялась.

— Вот и познакомились.

Ее голос сейчас был близким и зовущим, и ему показалось, что он, наконец, нашел тот берег, к которому можно прибиться и успокоиться.

Он тогда достал вторую бутылку, и она улыбнулась: «Ах, вы, искуситель». Она была немного пьяна, и хотя он совсем не думал о ней как о женщине, сама приблизилась к нему и сказала:

— В конце концов, это свинство — допиваем вторую бутылку, а вы даже не посягнули на меня...

И подставила щеку.

Он поцеловал ее в губы, она оттолкнула его.

— Знаете, мы ведь не дети. Я сейчас разберу постель...

Ночью он тихо спросил:

— Лера, можно я закурю?

— Курите, — безразлично отозвалась она.

Отчужденность голоса смутила его. Он долго искал зажигалку, щелкнул, наткнувшись взглядом на чужую спину.

Она села, попросила:

— Дайте и мне.

Снова щелкнула зажигалка, и в следующее мгновение он увидел, как невероятно она прекрасна.

— Ты божественна, — сказал он, пытаясь скрыть неловкость.

Она захохотала, откинулась на подушку.

— Слушайте, где вы живете?

— Снимаю комнату.

— Да?.. Перезжайте ко мне — будете каждую ночь повторять мне: «Ты божественна!» Что еще нужно незамужней бабе?

Он курил, отвернувшись к окну и стряхивая пепел в пустую пачку из под сигарет. Затем резко смял пачку и, обернувшись к ней, сказал:

— Ты трезва сейчас, тебе стыдно и потому ты сказала пошлость. Зачем?

Она взяла его руки, уткнулась в них лицом, и он ощутил на ладонях ее слезы.

— Правда, переезжай ко мне...

Иногда они путешествовали по карте мира. Карта висела над диваном, и когда Лера на ночь разбирала постель и ложилась в изголовье карты, то казалось, что она приотилась у подножия Вселенной.

— Ты был за границей? — как-то спросила она.

— Был. Я служил мотористом на рыболовецком сейнере. Мы заходили в иностранные порты сдавать рыбу.

— Ну и как? Поражает воображение?

— Да, — отмахнулся он, — что мы видели, кроме портовых городов...

— Ну, Марсель тоже портовый город...

— В Марселе я не был.

— Господи, какая тоска. — Лера встала, приблизилась к карте и, отыскав взглядом подходящую страну, объявила: — Итак, Мальта. Там сплошь и рядом живут креолки. Глупые, постоянно щебечущие, но очаровательные... Вот с такими ногами... — Она приподняла халат выше колен. — Только чуть подлиннее и цвета шоколада... Представляешь?

— Еще бы, — оживился он.

— Но иногда на остров забредают такие бурбоны, как ты. Со своей рыбой... Рыбы у вас с гулькин нос, поскольку рыбаки вы еще те, но вы ломите за нее страшную цену. В том числе и ты...

— Я?! — он сел на диване.

— Ты, ты! Руки у тебя трясутся...

— И тут, конечно, появляешься ты...

— И тут появляюсь я! Почему свежая рыба? — спрашиваю я, слегка покачивая бедрами.

Она покачивала бедрами.

— Почему? — он морщил лоб. — Почему эта проклятая рыба?

Прикасался к ее ногам, обнимал, бросал на диван, целовал до иступления.

— Пусти, — говорила она, — пусти, ненормальный.

И, вставая, поправляя кофточку, грустно усмехалась:

— Детский сад.

Каждый из них существовал в отдельном мире, и эти миры, как две планеты, вращались на разных орбитах галактики.

Однажды она сказала:

— Тебе не кажется, что нас связывает только постель?

Он промолчал. Это было так и не так, но она сказала то, о чем давно думал он сам. Ему показалось, что вот-вот разрушится картонный домик, она оскорбит, ударит его, и испугался, что при этом хочет только одного: видеть, как она прекрасна в гневе.

Но домик устоял. Лера варила кофе, он шатался по кухне и декламировал:

— Женщины делятся на две категории: те, у которых кофе постоянно убегает, и те, у которых никогда не убегает.

— У меня убегает, — пожала плечами она. — Это хорошо или плохо?

— Хорошо. Значит, ты безалаберна и непрактична. Что может быть хуже практичной бабы.

Она взяла сигарету, подошла к окну.

— Как я ненавижу осень. Грязь, слякоть, мокрые вороны... Осень соответствует вечному состоянию моей души.

Он обнял ее.

— Эх ты, мокрая ворона.

За окном, как по отвесу, шел дождь.

— Не надо, — отстранилась она. — Убежал кофе?

— Убежал.

Вечером он работал на кухне.

Она вышла в халате, присела рядом.

— Ты работаешь каждый вечер. Почему ты до сих пор ничего не прочел мне?

Он, бессмысленно глядя в блокнот, ответил:

— А вдруг ты не поймешь, и... тогда все рухнет окончательно.

Она провела рукой по его глазам.

— Ты боишься?

— Боюсь. Мне кажется, я понял: когда человек один — он привыкает к себе, любит свою печалью, вынашивает свое одиночество... Он, как рептилия, проживает самого себя до конца, и только с самим собой ему хорошо и спокойно.

— Может, ты и прав, но от этого не легче.

Она замерла.

— Снег, смотри, снег!

Шел первый снег. Кутерьма снежинок просвечивала темный воздух. Снег ложился на землю и уже не таял.

— Как бы ты написал снег? — спросила она.

— Как? — он задумался. — Так бы и написал: «Ночью лег снег. Утром, выглянув в окно и на мгновение ослепнув, она все простила осени».

Лера села на подоконник, подобрала ноги, и теперь сама казалась большой печальной снежинкой.

— Как просто, — сказала она. — Знаешь, мы пропутешествовали всю карту. Больше нечем жить.

Она отвернулась к окну.

— А как же Африка, Латинская Америка? — глупо спросил он, только для того чтобы что-то сказать.

— Африки мне хватает и в жизни...

Она опустила ноги с подоконника, прошла в комнату. В дверях остановилась, спросила:

— Скажи, почему ты не уходишь?

— Куда?

Ночью он повернулся к ней и несколько раз поцеловал в спину. Его губы были неестественно влажными, и она поняла, что он плачет.

Утром она не обнаружила в нем следов ночной смуты. Он был сдержан и приветлив, за завтраком гаерствовал,

воровал мясо из ее тарелки, и эта шумная непринужденность ложилась на ее лицо тяжелыми пощечинами.

Она тоже держалась, — слава богу, еще умела, — и, сидя у зеркала, подводя губы и складывая их трубочкой, засмеялась, чересчур сфальшивив ноту:

— Я, кажется, придумала: вечером можно пойти в планетарий. — Обернулась к нему: ослепительная, жалкая. — А, какова идея?

И впервые увидела, как бесконечно далеки и незащищены его плечи.

Христа ради

Казалось, линия сердца на этой ладони была предназначена только для того, чтобы сейчас в нее тусклым боком лег первый гривенник и, перевернувшись «решкой» вверх, обнаружил дату чеканки.

«1987» было выбито на монете, и Наталья Васильевна подумала, что в этот год ничего не случилось в ее жизни, как не случилось и в следующий, и теперь уже точно не случится.

За гривенником легли пятак, двугривенный, еще мелочь, и каждая новая монета, расплываясь в глазах, тяготила руку. Казалось, еще немного — она сорвется, упадет, и тогда придется бежать отсюда, бежать куда глаза глядят, не слыша шума и окриков за спиной.

Но рука, чужая согнутая рука продолжала висеть, не ощущая гадкого стыда, охватившего все тело.

Подавали часто. Попадались и бумажки, и, наверное, сумма давно превысила ту, которая была нужна Наталье Васильевне, а она все стояла, словно прибитая к этой стене раскаленными гвоздями, и лишь в редкие мгновения пыталась увидеть себя со стороны.

На ней было ношенное драповое пальто с тремя разными пуговицами, ботинки-«прощайки» на металлической застежке, грубые коричневые чулки и вылинявший платок из тех, которыми на Руси покрыты головы всех старух. Но в ее одежде не было ничего нарочитого, подобранного именно к этому дню, — на ней было все, что у нее было.

Пальто покупал еще Толя в восемьдесят шестом году. Он вошел вечером удивительно тихий и торжественный,

поставил на стол коробку, бутылку коньяка и большой, туго перевязанный сверток.

— Вот, Наталья Васильевна, — сказал он, потирая ладони, — прибарахлился, костюмчик купил...

Наталья Васильевна вздохнула. Костюм у Толи был, да же два и довольно приличных. А вот зимнее необходимо было новое — и ей, и ему.

— Безалаберный ты, Толя, человек, — сказала она и в то же время подумала, что если бы Толя был другим, вряд ли они прожили вместе такую долгую жизнь. — Безответственный... Хороший хоть костюм?

— Мировой, — счастливо улыбался Анатолий Сергеевич.

— Ну, уж примерь тогда...

— Ты собери на стол, Наташка, обмоем это дело.

Разогревая ужин, она представляла нечто ужасное, на два размера больше, что непременно придется перешивать, а машинка стала плохо пробивать, и нужно искать мастера, и бог его знает, есть ли они вообще на свете — эти мастера.

— Надули, сукины дети! — воскликнул Анатолий Сергеевич, входя на кухню. — Ты представляешь, пальто... женское... — Он держал на руках новое, пахнувшее фабрикой, зимнее пальто. — Померь. Вдруг тебе подойдет...

Наталья Васильевна улыбнулась.

— Толька! — она провела ладонью по его щеке, прижалась, благодарно ткнулась губами в подбородок. — Жуткий ты тип!

Они и в старости сохранили чистоту отношений и, оставаясь наедине, вели себя так же, как много лет назад, когда еще вся жизнь была впереди.

Они выпили по рюмочке, даже по второй и только тогда развязали коробку.

В коробке, как отголосок роскошной жизни, облитый шоколадом, лежал торт «Прага».

— Как я люблю «Прагу», — говорила Наталья Васильевна, — тысячу лет не пробовала. Милый мой, Толечка...

За столом она сидела в пальто, наотрез отказавшись раздеться. Осторожно откусывала от торта, и полузабытое коньячное тепло блаженно растворялось внутри. Это была та желанная, труднодоступная, счастливая минута с ее невзрачными радостями, ради которой жили они с Анатолием Сергеевичем, ради которой живет и выживает почти все человечество.

Время от времени Наталья Васильевна покачивала головой и озабоченно говорила:

— А что же ты, Толечка? Ведь и тебе зимнее необходимо.

Анатолий Сергеевич улыбался.

— Жизнь, Наташка, не завтра кончится. А до зимы еще — ого-го!

Умер Анатолий Сергеевич осенью.

В первом вагоне метро.

На Кольцевой линии он всегда садился в первый вагон. По странной закономерности именно в первом вагоне было пусто, и, присаживаясь на свободное сиденье, Анатолий Сергеевич не испытывал того чувства неловкости, которое испытывал в переполненных вагонах, где ему иногда уступали место не потерявшие уважения к возрасту пассажиры.

Поезд наматывал бесконечные витки, и в лязге, грохоте прекрасного, залитого светом мира незамеченная смерть одного человека казалась неуместной, несозвучной общему движению и оттого особенно трагичной.

Во втором часу ночи дежурная по-хозяйски вошла в вагон и, заметив в углу одинокую фигуру спящего старика, завалившегося головой на боковое стекло, произнесла привычно и резко:

— Вставай, приехали!

Поняв, что старик мертв, дежурная почувствовала глухое раздражение и тоску. Сейчас, вместо того чтобы спешить домой, ей придется искать милиционера, вытаскивать труп из вагона, вызывать «скорую» и бесконечно долго составлять протокол. Она вспомнила, что сегодня вообще не ее дежурство (просила подменить напарница), и машинисты, доставившие старика именно до ее станции, сейчас уедут и забудут обо всем, и от этих мыслей обострившееся лицо старика показалось ей особенно неприятным.

Поддавляя нарастающую злобу, она вышла из вагона и, срываясь на крик, позвала милиционера:

— Гена! Генка, давай сюда! Покойник в вагоне! Нашел место помирать, козел старый...

Врач «скорой помощи» констатировал смерть, и Анатолия Сергеевича, уложенного на брезентовые носилки, потащил вверх эскалатор. Ему еще предстояло вознестись над этой землей, чтобы через три дня лечь в нее навсегда.

Три дня Наталья Васильевна пробыла в странном отрешенном состоянии. Присаживаясь у гроба Анатолия Сергеевича, она никак не могла представить, что в деревянном, обтянутом черной материей ящике лежит тот, с кем была связана вся жизнь, ее муж, друг — единственный, кто держал ее на свете и ради кого жила она.

В крематории, после того как отслужили панихиду, друзья и близкие простились с покойником, Наталья Васильевна, как и все, поцеловала Анатолия Сергеевича три раза и вернулась на место. И только когда разомкнулись черные створки печи и тело Анатолия Сергеевича медленно поехало в темную бездну, она поняла, что это все, бросилась к гробу, обхватила ноги мужа и завывала так дико и жутко, что процессию пришлось прервать.

Кто-то оттаскивал Наталью Васильевну, вливал в рот валерьянку, а она, неожиданно затихнув, ждала: вот-вот что-то окончательно оборвется внутри...

И лишь в автобусе, на обратном пути, она стала думать о памятнике, о хлопотах, связанных с ним, о словах, которые надо высечь на надгробии, понимая, что только эти мысли могут хотя бы на время отвлечь ее от страшной, поглощающей изнутри боли.

Жизнь после смерти Анатолия Сергеевича стала тяжелой. Пятидесяти рублей пенсии еле-еле хватало свести концы с концами, но уже через несколько месяцев Наталья Васильевна подошла к книжной полке и, выбрав давно прочитанную и не очень любимую книгу, отнесла ее в букинистический. За книгу дали два рубля двадцать копеек. Этих денег хватило на три дня до пенсии.

В следующем же месяце появились непредвиденные расходы, дыры, требовавшие немедленного латания, и книжные полки зазябли унижительными и оттого, как казалось Наталье Васильевне, огромными провалами.

От Анатолия Сергеевича осталось много хороших, почти новых вещей, но от одной мысли сдать их в комиссионку становилось так пусто на сердце, к горлу подкатывала такая волна, что Наталья Васильевна открывала шифоньер и, уткнувшись в рубашки, долго беззвучно плакала. И имущества же и денег они не нажили.

Потом пенсию повысили на двадцать рублей, а через два дня после повышения вошла в подъезд, поднялась на третий этаж и села у двери Дуся.

Дуся была трогательной рыжей дворнягой с белым галстуком, белыми носочками и белой звездочкой на лбу. Правда, ее удивительная расцветка окончательно выяснилась по мере того как Наталья Васильевна трижды намылила и смыла Дусю в ванной, вытерла большим полотенцем и поцеловала в коричневое пятнышко носа.

На кухне, давясь от голода, собака глотала большие куски колбасы, а Наталья Васильевна, глядя, как судорожно поджимаются ее худые ребра и наискось обрубленный хвост, понимала, что за какой-то час успела привыкнуть и полюбить собаку, но денег, едва хватавших ей одной, конечно, не хватит на двоих, а продавать, увы, больше нечего.

Мучимая сомнениями, Наталья Васильевна подошла к входной двери, распахнула ее и, возвратясь в комнату, отвернулась к окну.

Собака, почувствовав настроение женщины, обвела прощальным взглядом кухню, вздохнула и медленно побрела к двери. И уже на пороге она оглянулась и посмотрела так пронзительно и печально, что Наталья Васильевна не выдержала, рванулась к ней и заголосила виновато и быстро:

— Миленькая моя! Как же я могла?! Как у меня рука поднялась? Хорошая моя, славная... Я буду звать тебя Дусей, ладно? Дуся, Дусечка...

Дуся подняла умные бродяжьи глаза и, поняв, что остается в этом доме навсегда, благодарно лизнула хозяйке руку.

На следующий день Наталья Васильевна взяла карандаш, бумагу и, разделив семьдесят рублей на тридцать дней, получила два рубля тридцать копеек на день. Где-то вычтя, где-то приплюсовав, она пришла к выводу, что если предельно сократить расход электричества, заменить масло маргарином и перейти с кофе на чай, то худо-бедно они смогут протянуть до конца месяца. Утром Дусю придется посадить на овсянку, но мир не без добрых людей и, если Дуся придется во дворе, наверняка два-три раза в месяц ей подкинут мясных косточек.

— Жить можно, — решила Наталья Васильевна.

Случалось, по вечерам на стол ставилась пустая бутылка коньяка, две рюмки, два прибора, у ног, положив морду на колени, устраивалась Дуся, и Наталья Васильевна рассказывала ей обыкновенную историю своей жизни.

— На этом месте, Дуся, сидел Анатолий Сергеевич. В отличие от тебя, он был брюзгой, и угодить ему было делом государственной важности. В этой бутылке был очень вкусный армянский коньяк, сейчас такого уже нет, а в центре стоял торт «Прага». Ты не представляешь, Дуся, какой это торт. Он весь облит шоколадом, понимаешь, весь. А крем, Дуся, а тесто! Ты знаешь, я не склонна к обильной пище и вообще не позволяю себе мучного, но «Прагу» я могла бы съесть целиком. Клянусь тебе! Что говорить, если бы мы с тобой могли позволить себе хоть кусочек — ты бы и сама поняла, какое это чудо.

Она гладила Дусю за ушами, словно искупая отсутствие торта.

— С Анатолием Сергеевичем мы познакомились в сорок третьем году, на Первом Украинском. Толя был командиром саперной роты, я — актрисой фронтовой бригады... Да, Дуся, трудно поверить, но когда-то я была актрисой. В «Заколдованной яичнице» у меня было белое платье в оборочках и жутких огурцах. Такое дурацкое платье... После концерта ты подошел ко мне и, краснея, попросил разрешения писать. Ты ужасно волновался тогда и почему-то все время перечислял названия мин, которые успел обезвредить. Я и сейчас помню: противотанковые, противопехотные, фугасы... Какие-то фантастические цифры... В сорок четвертом наша бригада попала под артолет, я была тяжело ранена. Помнишь, госпиталь, городской загс, платье в огурцах... Как мы ужасно стеснялись своего счастья... — она помолчала, вспоминая что-то светлое, далекое. — А в сорок пятом родилась Надюшка...

Дуся слушала Наталью Васильевну, смешно вскидывая уши, и в такие вечера и у женщины и у собаки притуплялось чувство томящего одиночества, было хорошо и покойно.

Днем они совершали длительный моцион по Плющихе, Смоленским переулком, спускались к набережной. Собака с удовольствием шла на поводке, не натягивала, не рвалась, восполняя непривычной для нее зависимостью бесприютность своей прошлой жизни.

На Смоленке они заходили в кулинарию, где Наталья Васильевна брала триста грамм салата «оливье» и дешевые, наполовину из хлеба, котлеты, из которых дома, добавляя столько же хлеба, она сочиняла ужин себе и Дусе.

Стоя в очереди, Дуся волновалась и поскуливала, перебирая носом всевозможные запахи кулинарии.

Но особое волнение охватывало Дусю у кондитерского отдела, куда обязательно подводила ее хозяйка. За блистающей вымытой витриной, подсвеченные со всех сторон, лежали рулеты, эклеры, шербеты и бисквиты, величественно возвышались торты. Старуха и собака подолгу стояли у витрины, глядя на кондитерское великолепие, и, ничего не купив, уходили прочь.

«Праги» на витрине не было.

На улице собака думала о том, что рано или поздно наступит день, когда хозяйка, выбив в кассе длинный чек, обязательно купит и рулет, и пирожные, и красивый торт в большой коробке и, конечно, по кусочку от всего непременно достанется Дусе.

«Хорошо, что нет “Праги”, — думала Наталья Васильевна, — все равно никогда не будет лишних трех рублей». Пора было перестать накручивать себя и вообще подойти к кондитерскому отделу, но она знала — через день все повторится вновь.

Продавцы же в кондитерском отделе привыкли к визитам странной старухи, иногда здоровались с ней и как-то даже спросили, что ее интересует.

Наталья Васильевна, не сразу найдясь и розовея, ответила, что ее интересует «Прага», и одна из продавщиц, лениво прихлопнув зевок, сказала:

— Бог его знает. То ли линия у них встала, то ли еще чего. Давно завоза не было, а будет ли, неизвестно.

Дуся подавилась.

Как и предполагала Наталья Васильевна, ей стал носить косточки весь дом, и одной из этих косточек Дуся подавилась. Наталья Васильевна в первых хриплых покашливаниях собаки почувствовала неладное.

— Что ты, Дусенька? — тревожно спросила она.

Дуся печально закатила глаза и зашлась давящим кашлем, пытаясь вытолкнуть невидимую кость.

— Ты подавилась, Дуся? Покашляй, миленькая, покашляй, и пройдет, Дуся...

Дуся неожиданно успокоилась, ушла в комнату и легла под стол.

— Как ты меня напугала, господи. Я уж подумала...

Но Дуся зашла снова. Наталья Васильевна бросилась к ней и, упав на колени, принялась бить по спине, ребрам, груди, но кашель не прекращался. Она взяла голову собаки на колени и, убаюкивая, заплакала от напряжения и отчаяния этих тревожных минут.

Подтянув телефон, она долго набирала «09». Наконец в трубке щелкнуло, и сонный одалживающий голос назвал свой номер. Волнуясь и оттого сбиваясь и заискивая, Наталья Васильевна попросила номер телефона и адрес «скорой ветеринарной помощи». Телефонистка скороговоркой, небрежно дала название улицы, дом, телефон, приблизительные ориентиры, и связь разъединилась.

Боже, метро «Динамо», где-то в переулках, на краю света. И она набрала номер «скорой помощи».

Было два, потом и три часа ночи, а она все звонила и звонила, каждый раз наталкиваясь на неизменно короткие гудки. Если бы она могла знать, что в распоряжении «скорой ветеринарной помощи» всего одна машина, и когда машина на выезде, трубка, брошенная рядом с телефоном, отзывается безнадежными гудками всем, кто так рассчитывает на помощь.

В пять утра, перевязав Дусе ошейник на живот и взяв из шкафчика последние семь рублей, они вышли из дома в направлении Нагатинской набережной, где, как говорили Наталье Васильевне, недорогая лечебница с замечательными врачами.

Город спал. Пустынный и безучастный. На Садовом кольце лежал сырой холодный утренний туман, и в этом тумане одинокая фигура старухи с собакой казалась особенно беспомощной и незащищенной.

Наталья Васильевна наметила пройти маршрут за два часа, чтобы успеть до открытия и быть первыми, но как-то сразу устала, выдохлась, все чаще останавливаясь и подолгу отдыхая.

Дуся, сев на землю, больно и мучительно откашливалась, и каждый раз у Натальи Васильевны что-то замирало внутри.

К хирургу они оказались третьими.

Сидя в очереди, Наталья Васильевна прочла объявления, развешанные по стенам, и с отчетливым ужасом поняла, что сначала надо заплатить пятнадцать рублей, сделать необходимые прививки и только с квитанцией из сберкассы идти на прием к врачу.

Она представила себя в кабинете врача униженно просящей всего лишь посмотреть горло собачки: нет ли там косточки или еще чего, хирурга, который будет повторять инструкцию, кричать на нее, и поняла, что не сможет ни отвечать, ни сопротивляться — сядет на кафельный пол и никуда не уйдет.

Но хирург, хорошо выспавшийся, бодрый и веселый, не спросил никакой квитанции, поинтересовался, что беспокоит, и ласково приказал:

— Ну, Дуся, полезай на стол!

Он попытался приоткрыть Дусе пасть. Дуся сомкнула челюсти и предупредительно зарычала.

— Не укусит? — спросил хирург.

— Она добрая, — ответила Наталья Васильевна.

— Все они добрые, — улыбнулся хирург, — а потом — цап и нет пальца. А палец в нашем деле вещь принципиальная. Значит, не дашься. М-м-м...

Он приоткрыл дверь и крикнул санитарку. Вдвоем, сделав жгуты, они попытались втиснуть их в Дусину пасть и взять челюсти на растяжку. Наталья Васильевна держала собаку. Дуся же, упершись лапами в стол, моментально освободилась от всех троих и придала себе независимый вид.

— Сильная у вас собака, — удивился хирург.

— Ее во дворе никто догнать не может, — не без гордости сказала Наталья Васильевна.

— Да... — задумчиво промычал хирург. — Придется сделать усыпляющий.

— А это не страшно? — встревожилась Наталья Васильевна.

— Что ж страшного, — говорил доктор, набирая шприц, — заснет ваша Дуся, и все дела. А мы ее в это время обследуем.

К уколу Дуся отнеслась предельно равнодушно.

— Вот и умница, — сказал доктор, — теперь спать. Через пять минут у нее закатятся глаза, подвернутся ноги, и будет совсем наш клиент.

Он бросил в рот папироску, закурил в раскрытую настежь форточку.

Через пять минут Дуся не заснула. Не заснула и через десять.

— Сильная собака, — изумленно повторил доктор, — финская лайка.

— Дворягя, — робко возразила Наталья Васильевна.

— Ну, вы мне рассказываете... Что ж, сделаем второй, — и он ввел Дусе второй шприц. — От такой дозы и сенбернары падают как подкошенные.

Но бывшая дворягя, ныне финская лайка Дуся, к общему удивлению, продолжала сидеть как сидела.

— Ничего не понимаю, — растерянно произнес доктор, — просто какая-то собака Баскервилей... Если ты, милочка, и после третьего укола не заснешь — я не знаю, тогда я сам засну...

После третьего укола Дуся начала обмякать и легла на стол. Доктор долго всматривался в глубину ее нёба, шевелил палочкой.

— Ничего нет, только раздражение. Видимо, оцарапала чем-то, оттого и давилась. Зря переволновала всех Дуся, Дуся...

Наталья Васильевна вынесла Дусю в коридор, нащупала в кармане пятерку и вернулась в кабинет.

— Возьмите, пожалуйста, — она никогда не давала денег.

— Заберите, — приказал хирург.

— Доктор, миленький, вы такое сделали. Я бы больше, с удовольствием, у меня нет просто...

А сама пятилась к выходу, чтобы этот замечательный человек не догнал и не вернул ей деньги, за мизерную сумму которых было стыдно и неловко.

Выйдя из лечебницы, Дуся перешла асфальтовую дорожку, добралась до лужайки и, упав на нее, заснула. Пока она спала, Наталья Васильевна, подложив сумочку, сидела рядом с ней на траве и тихо говорила:

— Если бы я осталась актрисой — сейчас бы мы ехали на такси и даже могли позволить себе маленький кутеж по поводу твоего выздоровления, Дуся... На сцену я больше не вышла — ранение оказалось серьезным... Кем я была? Реквизитором в театре. Оклад нищенский, а проработала всю жизнь. Долго, жутко тосковала по сцене. Это была и обида, и самоистязание, и что-то еще... А потом ничего, привыкла. Как-то так, обыкновенно...

Она сняла с себя платок и, сложив вчетверо, подтолкнула под спящую Дусю, бережно погладила собаку.

— Спи, Дуся, спи. Сколько мы с тобой натерпелись. Отоспишься, и пойдем потихонечку. К вечеру будем дома. Хорошо, что я купила впрок овсянки, и молоко еще не

скисло. Сварю тебе кашу, и, знаешь, у меня припрятана баночка сгущенки, но сегодня мы, ее, конечно, откроем. Наверное, она слегка пожелтела от старости, но все равно это очень вкусно. Ты ведь никогда не пробовала сгущенки... А Надюшка умерла в шесть лет от белокровия. Она умирала на руках у Толи и, на минуту приходя в себя, спрашивала: «Папа, а где мама?» А я была рядом, но не могла себя заставить подойти к ней и все ждала, что вот-вот умру сама... Мы пережили ее смерть и остались жить, и состарились, а зачем — неизвестно...

Дуся спала долго.

К обеду она проснулась, и они стали собираться в обратный путь.

После покупки лекарства, молока и хлеба осталось тридцать семь копеек. На них нужно было купить три котлеты в кулинарии и решить, где достать денег, чтобы дожить до пенсии. Ехать на Белорусский она решила сразу, как только вошла в кулинарию и увидела на витрине «Прагу».

— Это «Прага»? — спросила она, словно не доверяя себе.

— «Прага». Первый завоз, — ответила продавщица. — Вы, кажется, спрашивали.

«3 руб. 08 коп.» — было проставлено на ценнике.

«Почему восемь? Почему не ровно три? — отстраненно подумала Наталья Васильевна. — Сейчас на “букашку” и до Краснопресненской, нет, лучше до Маяковки, затем до Белорусской и сразу в тоннель. Всего три рубля восемь копеек. Всего три... Не больше. Ни копейкой. Мне и Дусе. Один раз. Стыдно, Господи. Господи... Я не смогу. Сможешь, сможешь. Я не смогу, не смогу, господи, прости меня, что же это? Всего три рубля. Ну, один раз, один-одинешенек... И больше никогда, господи...»

Она вошла в тоннель, прислонилась спиной к огромной холодной стене. В левой руке была авоська с молоком и хлебом. Правую нужно было подтянуть чуть выше бедра, сложить ладонь и вытянуть вперед. Она попробовала: чужая, как на штативе, рука дернулась вверх и обвисла.

Нет, так не получится. Надо сразу, не думая, ни о чем не думая. Пусть все будет потом. Не сейчас.

Она закрыла глаза и протянула руку.

Попадались и бумажки, и, наверное, сумма давно превысила ту, которая была нужна Наталье Васильевне, а она все стояла, словно распятая этой стеной, понимая, что надо уходить, и не зная, как уйти.

«Как больно-то, господи... Неужели это со мной? Со мной? Хочется есть. Рогалик с маслом... Что они думают обо мне? Надо посмотреть им в глаза. Поднять голову и посмотреть. Почему нищие всегда смотрят вниз?.. А платье в "Заколдованной яичнице" было розовое. При налете его искромсало осколками, и нянечка в госпитале зашивала его по ночам. Славная была нянечка... Надо уходить. Почему я стою?.. По субботам я жарила семечки. Мы ели их всей семьей. Проклятые семечки! Надюшка не ела — очищала от кожуры и делила поровну: половину мне, половину Толе. Думала, так вкуснее. Надюшка... Надо идти. Сейчас я пойду. Сразу. Будь что будет. Все что угодно. Пусть. Иду... Досчитаю до десяти. До пятнадцати. Раз, два, три... Как больно, господи!.. Три, четыре, пять, шесть... Иду, иду, иду...»

Она сомкнула ладонь и, как казалось ей, рванулась, и, как казалось ей, побежала.

Она перешла на Кольцевую линию и села в первый вагон.

«Сейчас я должна умереть» — спокойно подумала она.

Ослепительной стрелой врывался в подземелье поезд, и чем больше кругов насчитывала Наталья Васильевна, тем явственней сознавала, что осталась жить вопреки всему.

В подземном переходе она увидела старуху.

Прислонившись к стене вытертым драповым пальто, в вылинявшем платке, грубых чулках, заправленных в ботинки, старуха, протянув ладонь, судорожно крестилась, желая доброго здоровья всем, кто опускал в ее ладонь мелочь.

Руки, бросавшие мелочь, задерживались в нескольких сантиметрах от ладони старухи, брезгливо разжимались, и лица бросавших тоже несли на себе брезгливо-участливое и безразличное выражение, как если бы это был турникет, через который невозможно пройти, не опустив положенного пятака.

Наталье Васильевне казалось, что старуха вот-вот поднимет голову, и она узнает в ней себя. Но старуха, упрямо глядя вниз, что-то нашептывала про себя, сбивчиво крес-

тилась, и обреченный механизм ее движений был так жалок, унизителен и беспомощен, что Наталья Васильевна не выдержала и быстро пошла прочь.

Она вошла в кулинарию, подошла к кондитерскому отделу и, разложив на прилавке те тридцать семь копеек, что остались от покупки лекарства, молока и хлеба, как о заведомо недоступном, попросила:

— Пожалуйста, если можно, взвесьте мне «Прагу» на тридцать семь копеек...

И сквозь обжигающие ее слезы уже не увидела, как странно посмотрела на нее продавщица.

Не покупайте, пожалуйста, бультерьера

К тридцати стали пробиваться зубы мудрости.

Мудрость — вот чего мне всегда не хватало.

Я забирался языком в отдаленные уголки рта и с вождением изучал свою мудрость. Она едва наметилась, но уже сулила головокружительные перемены. Я предчувствовал это — интуиция родилась во мне много раньше.

Мудрость формировалась не безболезненно — ломило рот, я глотал анальгин, но еще никогда физическая боль не вызывала во мне такого душевного подъема.

Ночью мне снилась прежняя жизнь. В строгой хронологической последовательности. Совершенно реальная прежняя жизнь...

...Навстречу мне шел малый в липкой спецовке, не в такт размахивая руками. Это был я, семнадцать лет, грузчик на винзаводе.

— Зачем ты бросил институт, идиот? — спросил я.

Я был старше и, как казалось мне, мудрее и потому мог позволить себе вопрос глупый и праздный.

Он и не должен был отвечать — осмысление приходит позже поступков. Он улыбнулся грустно (всегда у него были непристроенные глаза) и протянул мне целлофановый пакет с мутной жидкостью.

— Это тебе, — сказал он, — больше такого не попробуешь. А мне надо идти. — И махнул рукой туда, где далеко на транспортере плыли тарные ящики.

Я вспомнил: в такие пакеты проводники винных вагонов наливали дешевое крепленое вино, по литру в па-

кет. Существовала такая неофициальная плата за услуги.

В пакете был портвейн «777», или «три семерки», как тогда его называли. Я сделал несколько глотков, и теплое ностальгическое растворилось внутри.

А тот малый снова шел мне навстречу в старенькой подогнанной шинели, белом кашне, шапке, подкрашенной бензином. На плече болтался тощий «сидор» — он отслужил и только что спрыгнул с подножки поезда.

Мне надо было рвануться, крикнуть, предотвратить очевидное, но я остался — поскольку опять же мог позволить себе взгляд со стороны. Кто-то толкнул женщину, она вскрикнула, взметнулась рука, ударил он, потом его, снова он...

Я закрыл глаза — взгляда со стороны не получилось.

Когда открыл — он уже шел в длинной колонне этапируемых, в черном бушлате, с тем же «сидором» за плечами. Он оглянулся, стянул черную лагерную шапку, обнажив стриженую голову, и помахал мне. Колонна сбилась, его толкнули, он запнулся и все же успел улыбнуться мне на прощание.

Потом он сидел на старой шпале и заваривал чай в алюминиевой кружке над маленьким костерком. Он уже был расконвоирован и дожидался освобождения.

Это была все та же тупиковая железнодорожная ветка, где я начинал грузчиком винзавода. Нас будто приковали к этому месту, и я подумал, что в этом присутствует беспощадная символика моей прошлой жизни.

Я подсел на шпалу.

— Чифирь?

— Купеческий, — он протянул мне кружку с кусочком пиленого сахара.

Я сделал обжигающий вязкий глоток, и тогда он спросил:

— Что будет дальше?

— Дальше... — протянул я, пытаюсь выиграть время, предупредить его, но это было невозможно, — ему предстояло повторить мою жизнь, мои ошибки один в один. — Через два месяца ты освободишься...

— Это я знаю. Дальше...

— Ты сам по себе, — нерешительно произнес я, — везде тебе будет трудно ужиться... Ты будешь менять города, работу. Где-то уйдешь сам, где-то вспомнят твое

прошлое... А еще ты будешь ходить мотористом на каботажных судах Белого моря и писать.

— Я буду писать? — удивился он.

— Будешь. Ты поступишь в литературный институт и закончишь его. Но это ничего не изменит в твоей судьбе.

— Совсем?

— Совсем. Ты женишься, и эти годы, наверное, окажутся самыми бессмысленными в твоей жизни. Через три года вы разойдетесь, но и это не принесет тебе облегчения...

— Это скверно, — сказал он.

— Скверно, — согласился я.

— Продолжай, — попросил он.

— Что продолжать... Ты уедешь в Москву — скитаться по коммунальным квартирам, скандалить с соседями, работать не там, где хотелось бы, получать регулярные отказы из редакций...

— Что-нибудь хорошее будет в моей жизни? — перебил он.

— Будет, — уверенно сказал я. — В твоей жизни будут очень счастливые дни. Но их будет немного...

— А кто сказал, что хорошего должно быть много, — отвернулся он.

Я промолчал. Как-то надо было объяснить, что произойдет с ним дальше.

— Знаешь, как бы тебе... Одним словом, произойдут очень серьезные перемены, и то, о чем ты сейчас мечтаешь как о несбыточном, станет реальностью. Ты станешь президентом некой, так скажем, культурной ассоциации.

— Что это? — изумленно спросил он.

— Это... Как бы тебе объяснить... Это такая организация, которая финансирует театры, кино и многое другое...

— Не может быть!

— Может. Хотя поверить в это действительно трудно.

— А знаешь, — покраснел он, — я часто думаю: вдруг мне придет большое наследство, ну, откуда-нибудь, бывает же такое, и я построю свой театр и дом для актеров. И чтоб ни на кого не похоже. У тебя, конечно, есть театр?

— Конечно, — соврал я.

Я и забыл про театр, хотя когда-то создавал фирму ради него.

— И как? — оживился он.

— Трудно сказать. Мы только открылись, — глупо врал я.

— У тебя все получится, — убежденно сказал он. — Не может не получиться.

И тут меня прорвало. Я понял, что вот-вот проснусь и уже никогда не вернусь, не переживу с ним все от начала до конца.

— Послушай, — заторопился я, — я не знаю, что будет дальше со мной, я знаю все, что будет с тобой. Тебе будет трудно, но ты будешь счастлив. Счастлив сейчас. Я завидую тебе...

Он встал, скинул с плеч прожженный, с выведенным хлоркой номером на груди бушлат и протянул мне.

— Оставайся...

Я потянулся к бушлату, но уже раздавался в моей квартире другой и третий телефонный звонок — меня настойчиво звали из будущего...

Звонили из префектуры. Вежливо пожелали доброго утра и предложили к одиннадцати приехать за ордером.

— За ордером? — переспросил я.

Меня как отрезало ото сна, от той, теперь казалось, не моей жизни. Ордер! Это было больше чем орден, это была удача.

Здание в центре. Зачем оно мне, подумалось на секунду. Я даже не знаю, как им распорядиться. Выбить свой профиль и написать «Здесь жил и работал я». Я и добивался-то его больше из спортивного интереса — получится, не получится. Получилось.

Нужно вставать, но можно немного и поваляться. Я взял со столика сигарету и закурил в постели.

В плохой литературе все отрицательные персонажи курят длинные красивые сигареты «Мальборо». Такую же закурил и я, но, вопреки всему, отрицательным персонажем себя не почувствовал.

Нужно вставать. Я встал, прошел в душ. По пути зацепил рукой висевшие на стене перчатки и оставил в давнем налете пыли черную лаконичную полосу.

Когда-то, невзирая на уговоры моего старого, наивно-го как слеза тренера Филиппыча, я не дотянул до мастера спорта. Надоело подставлять голову под жесткие удары противников — я всегда придавал ей принципиальное значение.

— Жизнь — ежедневное насилие над собой, — любил повторять Филиппыч. — А для твоей головы хорошая встряска. Мозги не застоятся.

Но я не дотянул.

Теперь мне было обидно. Если когда-нибудь в монографии обо мне появились бы скупые строчки: «был мастером спорта по боксу», — я бы не возражал. Это придало бы излишнюю мужественность моему кропотливому восхождению.

Из зеркала на меня смотрело нечто лысеющее, седеющее, с опавшими мышцами и легким наплывом жирка по бокам.

«Вернуться, что ли, к Филиппычу...»

Но те плотные слои атмосферы, в которые я постепенно пробивался, позволяли себе коротать досуг исключительно в большом теннисе, куда помимо воли был втянут и я, вот уже третью неделю, как попка, стуча мячиком о деревянную стенку. Спорт этот давил на меня своей сытостью, великосветскостью, и, презирая себя, я с каждым днем все ожесточеннее колотил о стенку.

Я сотворил себе нежную, розовую как закат яичницу с помидорами, заварил крепкий чай, вымыл посуду. Я любил и умел делать и то и другое — в этом действии еще теплились остатки моей независимости, моего пошатнувшегося «я».

Днем я заехал в издательство, где уже больше года должна была выйти моя первая книжка. Книжка была ничтожно мала — сто с небольшим страниц, но издание все откладывалось и откладывалось, и сегодня я твердо решил, что еду в последний раз.

Я давно не заказывал пропуска, одаривая дежурного вахтера роскошно-глянцевой визиткой и ощущая на себе подчеркнутую любезность его взгляда.

— Хорошо, что вы появились, Боря, — встретила меня Наташа, — готова верстка вашей книги.

Наташа начинала со мной год назад, выстраивала мучительно дававшиеся фразы, и эта книжка была нашим общим ребенком.

Она протянула мне пачку типографских листков.

— Посмотрите, может, будут правки.

— Нет. — Час, ожидаемый столько лет, наступил — вряд ли я что-нибудь соображал сейчас. — Я все равно ничего не пойму.

— А ваш последний рассказ я не включила, он... — Наташа отвернулась. — В вас оборвалась какая-то струна, Боря...

Я увидел гитару с пронзительно лопнувшей, повисшей струной. Их оставалось всего пять — на семиструнную я не тянул. Какая же порвалась? Неужели первая, самая тонкая?

Утром, открывая дверь офиса с надписью «Президент ассоциации» и принимая от восторженной, готовой спать со мной в любую минуту секретарши папку скопившихся факсов, я чувствовал себя по-прежнему уверенно и непринужденно.

Вечером раздался короткий, исполненный достоинства звонок в дверь.

На пороге стояла она с двумя чемоданами.

— Борис... — стакатто пал на меня с небес ее голос.

Как я добивался этой женщины, бредил по ночам, замирал при звуке ее голоса, и вот она пришла.

Я принял ее чемоданы — они были неподъемны. Она пришла навсегда.

Ночью я целовал прохладную сиреневую ткань ее пеньюара и плакал.

Как плавны и элегантны были ее движения, как изысканно надевала она туфли, как грациозно разбивала яйцо над шипящей сковородой. Квартира источала тонкий запах ее духов, звучала лютневая музыка и, входя домой, меня подмывало перекреститься.

— Борис... — говорила она, не утруждая себя продолжением, но это обращение имело такую гамму оттенков, что остаточная часть фразы и в самом деле теряла всякий смысл.

К нашему дому приبلудился рыжий лохматый пес — Пушок. Беспородного, его выгнали из дома хозяева, и теперь он обретался в подъезде, плача и вздрагивая по ночам от пережитого потрясения.

Вероятно, пройдя несколько кварталов и очутившись в бедных «хрущевских» районах, он был бы подобран и обогрет чьими-то добрыми руками, но в нашем породистом доме, где вечерний собачий моцион больше напоминал парад состоятельности, ему приходилось довольствоваться объедками, приносимыми жильцами первого и последнего этажей. Делал это и я.

Как-то за завтраком я попросил ее:

— Заверни мне, пожалуйста, колбасу — я отнесу тому псу во дворе.

— Борис! — она укоризненно повела плечами, вскинула брови, и ее недоумение отразилось в моих глазах.

«Что за вздор? — перевел я. — Подобные выходы тебе не к лицу».

А Пушок, славный, привыкший ко мне Пушок сначала печально провожал меня взглядом, потом стал отворачиваться, и к его тревожным ночным снам прибавились лишние конвульсии от моего предательства.

Прости, Пушок. Где тебе разобраться в наших тонкостях.

Ассоциация набирала финансовые обороты. Работал известный закон экономики: деньги к деньгам. И было совершенно непонятно, при чем здесь вообще культура.

Звонили со студии: предлагали цену за сценарий и режиссеров, готовых приступить к съемкам хоть с завтрашнего дня. Я обещал перезвонить.

Как неожиданно повернулась ко мне фортуна. Как неотвязно преследовала меня удача. Я не верил, ждал сбоя... Он должен был произойти, но не произошел. И постепенно, как-то само собой, я стал привыкать к новому состоянию.

Однажды, вернувшись домой, я застал моего компаньона Шурика и с ним нечто крысopodobное, с невероятно развитой грудной клеткой и маленькими красными глазками.

— Кого я тебе достал, Боб, — крикнул Шурик, — ты только посмотри!

— Что это? — отшатнувшись, спросил я.

— Бультерьер. Специально выведенная порода. Чуткий сторож, верный друг, сжатие челюстей до двадцати атмосфер. Быка завалит — глазом не моргнет.

— Зачем мне «специально выведенное» — я не терплю насилия над природой.

— Не морочь мне голову, Боб, сейчас все наши заводят бультерьеров. Ему полтора года, основным командам обучен. Тебе остается два раза в день гулять и кормить его. Потом рассчитаемся. Я побежал.

— Как его зовут? — успел крикнуть я вслед.

— Фикс, — донесло до меня эхо.

Я сел напротив бультерьера и протянул руку для сближения.

— Давай знакомиться, Фикс.

Фикс повел на меня неумолимыми свинячьими глазами и предупредительно зарычал.

Под одной крышей нам не ужиться, понял я, кому-то придется уйти. Как ни странно, твердо сказать, кому — я не мог.

Утром, требуя положенного выгула, Фикс стянул с меня одеяло и положил свои жуткие двадцать атмосфер на край подушки. Я представил эти челюсти на своем горле и поспешил подняться.

Меня наконец выпустили на корт. В паре с известным тележурналистом.

Журналист был весел и раскован. Игрок он был не ахти какой, но бог по сравнению со мной.

— Подавай, ассоциативный! — кричал он через сетку. — Хорошо, ассоциативный! В белый свет как в копеечку.

Он подначивал меня дурацкими шутками, я злился, пропускал мячи и оттого играл все хуже и хуже.

Очередной мяч засвистел далеко за пределы корта.

— Классный удар! — усмехнулся журналист. — С тобой, президент, наверное, хорошо водку пить, а игрок из тебя дерьмовый...

Он совсем со мной пообвыкся.

Улетали в Галактику мячи.

В конце концов ему надоело. Он остановился и, поигрывая на ноге ракеткой, сказал:

— Собирай мячи, ты, играя!

Что-то во мне случилось. Я перешагнул через сетку и врезал ему в челюсть по всем правилам: сверху вниз, повернув ногу и перенеся вес тела на левую сторону. Он рухнул.

— Удар на мастера спорта, — услышал я за спиной.

Я обернулся и увидел Филиппыча. Мы обнялись.

— Челюсть ты ему, конечно, сломал, — огорчился Филиппыч. — Будут неприятности.

— Плевать.

— А у тебя хороший защитный слой. В былые времена ты бы ему врезал гораздо раньше.

— Мудрею, — отвернулся я.

— Ну-ну... Может, вернешься?

Я виновато, как много лет назад, шмыгнул носом:

— Я теперь большой человек, Филиппыч. Не поймут.

— Большой? — удивился Филиппыч, бегло окидывая меня взглядом. — Вроде все тот же: рост — сто восемьдесят, габариты прежние.

Как он меня бил! Точными, рассчитанными ударами.

— А может, откроем платную секцию, — попытался выкрутиться я, — арендуем зал, повесим мешки. Будем вот таких трясти — толстосумов. Я тебе зарплату положу впятеро больше прежней.

Я видел, как тускнели его глаза, пропадал ко мне всякий интерес.

— Эх, Борька...

И пошел. Старый уже, уставший.

Всю жизнь он отдал таким, как я. И вот мы выросли.

— Филиппыч, — позвал я.

Он не обернулся.

Ночью она спала, я сидел на кухне, забравшись с ногами на подоконник, и смотрел на затихающий город. В домах напротив еще мерцали теплым светом окна: пили чай, стелили постели.

Мальчишкой в ленинградском учебном полку я сидел на подоконнике курительной комнаты после отбоя. Так же горели редкие окна в домах напротив, так же текла жизнь. Я смотрел на эти окна, покуривал украдкой и думал, что оставшиеся полтора года службы в сущности пустяк, который необходимо пережить, для того чтобы потом началось настоящее.

Прошли полтора года, еще десяток лет, а я так и не заметил, когда началось настоящее и началось ли вообще. Может, те полгода в учебном полку были лучшим временем моей жизни. Временем надежд.

Она спала. Я освободил край кухонного стола, положил перед собой бумагу.

Прошел час. Девственная белизна бумаги угнетала меня, давила настольная лампа, растекалась пустота. Я потрогал голову: пульсировали виски — значит, что-то еще билось во мне.

«Мама» — написал я большими буквами. Подумал и приписал: «мыла маму».

Мама мыла маму. Мыла, мыла — кончилось мыло. Грязная рама — где же ты; мама?

Кто-то тронул меня за плечо. Было утро.

— Борис... — услышал я.

Я заснул под светом настольной лампы, уронив голову на «маму, мывшую раму». Ее-то она в конце концов и увидела.

— Борис! — в невероятном изломе сошлись ее брови.

— Послушай, — растягивая слова, медленно произнес я, — если бы ты знала, как люто я завидую инженеру Щукину из «Двенадцати стульев» — его Эллочка-людоедка пользовалась в обиходе почти двадцатью словами.

Я мерил шагами узкий коридор фирмы. Проходили сотрудники, здоровались, обменивались бумагами. Разрабатывали программы компьютерщики, считали экономисты. Влажная тряпка уборщицы коснулась моих ботинок. Работал раскрученный, хорошо отлаженный механизм. И мое присутствие ничего не меняло здесь.

Когда я вошел, Фикс лежал на моей постели. Снисходительно поприветствовав меня взмахом хвоста, он спрыгнул на пол, прошел в коридор и подвинул лапой ошейник.

А она ушла. Навсегда. В этом красноречиво убеждало отсутствие ее чемоданов.

На улице я спустил Фикса с поводка.

— Пасись.

Он тут же пропал из виду.

Отчего мне так грустно? Я будто увидел себя сверху наезжающей камерой: одного, пронизанного ветром, в огромном колодце двора.

Сначала я услышал всхлип, затем кто-то взвизгнул, завыл, пронзительно взывая о помощи. Я побежал.

Подмяв под себя, навалившись каменной грудью, Фикс рвал Пушка, сомкнув на его затылке страшные челюсти.

— Фикс! — закричал я. — Назад, Фикс!

Он не слышал. Ни меня, ни захлебывающегося визг Пушка. Работали двадцать атмосфер.

И тогда я ударил. Носком тупого ботинка под его мощные бедра. Он разомкнул челюсти, перевернулся в воздухе и пружинисто пал на передние лапы.

Сейчас он прыгнет — понял я. И замер в ожидании прыжка. Прыгай — я успею отскочить в сторону и разможжить тебе череп.

— Прыгай!

Фикс целился мне в глотку.

— Прыгай! — кричал я — меня била истерика. — Прыгай, сволочь!

...Он скинул с плеч прожженный, с выведенным хлоркой номером на груди бушлат и протянул мне.

— Оставайся...

Я потянулся к бушлату, и вот уже шел в длинной колонне этапирруемых с тощим «сидором» за плечами. Я оглянулся, колонна сбилась, кто-то толкнул меня, но я успел стянуть черную лагерную шапку и помахать ему на прощание. Еще я успел улыбнуться...

Размышления Сергея Ильича Худякова

Сергею Ильичу тридцать два. Можно называть его просто Сережей, но все называют его Сергеем Ильичем. Так будем звать его и мы.

Сергей Ильич — обыкновенный гражданин. Не писатель, не кандидат наук, не моряк торгового флота... Сергей Ильич — распространитель театральных билетов.

Распространять билеты с каждым днем становится все труднее и труднее, но служба дает Сергею Ильичу много свободного времени, а городским транспортом он никогда не пользуется.

Из записных книжек Сергея Ильича

Большинство людей полагают, что сетка на окне служит для защиты от комаров, мух и прочей твари. Думал так и я, пока сетка на моем окне не порвалась окончательно. И вот постепенно мусор, попадающийся под руку, я стал выбрасывать в окно...

Всем нам, обремененным интеллигентностью, один шаг до внутреннего запустения, хамства обыкновенного...

Шаг этот — сетка на нашем окне.

Возраст определяется не количеством прожитых лет, а качеством жизненного опыта и мудростью выводов, сделанных на основании этого опыта.

Ворон написанного: наброски, сюжеты, рассказы, незаконченные повести, стихи, наконец. Сколько долгих лет. И ничего.

Художник должен быть осязаем, прочувствован. Я — даже не услышан. Так кто я? Писатель или распространитель билетов? Я-то кем себя ощущаю?..

Как гармонично все было в Пушкине. Все окружающее звучало: имение в Михайловском, няня Арина Родионовна, друзья Чаадаев, Пущин, убийца Дантес. И осень у него была не где-нибудь — в Болдино. Болдинская осень.

И у меня осень. На улице Шиоги́на. Был в нашем городе такой общественный деятель.

Шио́гинская осень... Да я и не Пушкин.

Рок, что ли, висит над Россией? Не дает она добраться до сердца своего. Все прогрессивное губится. Если талантлив — не признан, затравлен, убит. Цифры роковые.

Случались и в России реформаторы, но не прижились, — начинания их по миру пустили.

Ждет она: мессию ли, народ другой... А нам всем, ныне живущим, мужества исполненным, — вечная слава!

Живи, пока способен отвечать за свои поступки и не быть обременительным для других.

Одно из тяжких преступлений Советской власти: паспортный режим, невозможность соединения близких по крови и духу людей.

Живет он в Вязьме, а его старинный единственный друг в Москве. Надо бы им вместе — на кого еще положиться, но: переезды, прописки, разрешения, обмена неравноценные, браки фиктивные... И звонят они не часто (в Вязьме с телефонами не очень) и встречаются раз в год с оказией — пьют и плачут на вокзале, и пишут все реже и реже, и забывают наконец.

Окружают себя совсем другими — похуже, поненадежнее, но все же рядом — сорок минут на метро...

Хорошего было мало в моей жизни. За что и благодарен.

Не оставляет меня та собака, сбитая на мостовой. Рыжая.

Рыжих убивают чаще, может потому, что ни на кого не похожи. Жила себя собака, бежала по своим собачьим делам и вот убита.

Я в этом месте улицу перейти не смог. Шел долго, думал о той собаке. Кто она мне, рыжая?

Между людьми хорошими и собаками много общего: преданные, умные, беззащитные... Давят их беспощадно.

Спросят с тебя.

Есть у меня город, милый моему сердцу, люди неторопливые, основательные, поскрипывающие полы веранды, антоновка в старом саду, ночи за письменном столом, вечное перо...

Чего я жду? Да ничего уже. В этом залог моего покоя.

Какой запах везли автобусы моего детства? Длинные, с большими колесами, того еще года выпуска.

В автобусах стоял сырой запах ранней осени, переспелых яблок, выпитой водки. Остывали мокрые пальто, велись неторопливые разговоры, открыты были лица....

И лишь теперь в автобусах, раздираемых дрязгами и нетерпимостью, я понял — то был запах Времени.

Две ночи под окнами многоэтажки пел соловей. А на третью улетел не услышанным.

Как опаздывает за мыслью рука, держащая перо. Помните, бумага отражает лишь малую часть наших возможностей. Остальное — в глубинах мирозерцания.

Молодость — окаянная штука. Сулит горы золотые, а становимся обыкновенными обывателями: пьем пиво жарким воскресным днем, говорим о футболе, работе, ругаем правительство...

— Да ты стихи писал, что ли...

Да, писал, писал! И вы писали, знаю, писали же...

Мы писали стихи, мы глядели в наполеоны. Мы погибли на острове надежд... На нашем теле обнаружили девяносто четыре ранения...

Всю жизнь должно сопровождать художника чувство неуверенности. Это чувство ответственности. Потерявший его — уже не художник.

Если что и связывает с этой страной — война, Бернес, шестидесятые, «тридцатьседьмые», «Давай закурим, товарищ, по одной...»

Мои погибшие, мои лагерные. — как же вы держите меня.

Заметьте, как тщательно мы, пишущие, оформляем свои дневниковые записи. Все-таки надеемся на литературное бессмертие.

Ничто не кончается точкой. Все продолжается много-много...

Если что воистину от Бога — литературная интуиция. Ей не научиться, не разработать. Это талант.

Платонову я не верю. Он как взял одну ноту в огромной симфонии литературы, так и продержал всю жизнь.

«— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам».

Это было потрясающе, но это было и искренне. Так он начинал.

Продолжал он совсем иначе, стараясь поразить воображение неординарностью форм и постепенно забывая о том, что книги, в общем-то, пишутся не для этого.

Где он оставил свою искренность? В приемных редакций, на аллеях литинститута, которые расчищал от снега по утрам... Почему так преступно пренебрег ей?

Впервые совершенно осознанно не хочется жить. Не согласуются внутренние законы с окружающей действительностью.

Как стремителен процесс вырождения. Жили мы в этой стране, при этой власти (другой не видели), пели на демонстрациях, пили, плакали в мае, везли к Вечному огню своих невест...

Ничего не осталось. Ничего не будет. Некуда голову поклонить.

Память осталась. И мы с ней, с памятью нашей, и на каждом шагу — сердце в ключья. Больно-то как: сердце в ключья.

Призови ты нас, Господи, солдат своих. Проклятый наш призыв...

Любил ли я когда-нибудь? Прикосновение к любви — вот что было в моей жизни. Мы сошлись: два одноименных заряда в стремлении к проникновению, высочайшей гармонии — и оттолкнулись.

Одноименные заряды отталкиваются — разноименные сходятся. Чужие люди ломают друг другу судьбы. Единственное их связывающее: дети и страстное желание... любить.

Законы физики довлеют над нами. Диффузия, полярность, теория относительности, инерция...

Один. Посреди огромного мира. Обтекающего, толкающего локтями, душащего табачным дымом и текущего, текущего себе...

Один родишься, один уйдешь. Это помни.

Вглядитесь в движение секундной стрелки. Осмыслите ее безжалостный ход. Смотрите, не отрываясь. Может, и станет жаль растраченного времени.

Как люблю Москву. И нужно-то мне немного: квартиру окнами на Садовое кольцо, вечер, летний проливной дождь стеной, неоновые огни витрин, отражающиеся в аспидно-черном блеске асфальта. По Садовому, тяжело преодолевая потоки воды, машины с размытыми габаритными огнями, окна напротив. В моем окне жена, дети, письменный стол, торшер, сиделки, добрые, смешные, до утра...

У меня совсем другая Москва. Совсем другая жизнь. Сам я совсем другой.

Почему мы так пестуем, лелеем серость? Почему объявляем ее гениальной, возводим в кумиры и вот-вот... уже молимся на нее.

Потому что в тени этой серости мы недурно себя чувствуем, ощущаем и себя личностями. Серость дает нам упорительное ощущение собственных возможностей, красоты, величия. Серость — наша отсрочка от приговора.

Где-то среди нас бродит губительный призрак таланта. Дух без плоти. Явись плоть — мы ее на корню мертвой хваткой, мы ее рвать, душить: будь как все, будь как все, будь!

Женщины делятся на близоруких и дальнозорких. Преобладают, как это ни печально, последние.

Губительно для меня не отсутствие имени, славы, мишуры тщеславия — отстраненность, оторванность от процесса.

Невозможно, нельзя не сказать, а нечем. «Язык — колокол». Сорвали его и медленно плавят в пушку, которая никогда не выстрелит.

Я мечтал уехать и бродить среди осенних листьев, и жечь их, и чтоб обязательно сыро, промозгло, и туман, и я немного пьян, и налитые последней тяжестью яблоки о землю, и отдохновение, и печаль, и неприкаянность.

Все не так.

В Елоховской церкви поставил две свечи Николаю Угоднику, отошел — их тут же увели служительницы.

Все рушится в этой стране. И церковь.

В ее глазах орбиты Галактики, печаль вселенская... В них заглядываешь, как в бездну губительную, — понимаешь, что разобьешься, и делаешь все же последний шаг.

В них — мироздание.

Чем различаются художники? Болью души.

Боль души — от Бога, от матери, от особенного строения нервных окончаний.

Солженицын отсидит еще двадцать лет, напишет еще сто книжек — ему не суждено стать писателем. Для писателя он не умеет главного — добрать до сердца. Мы упрямо пишем его в гении. Мы, лишенные боли.

Откуда в нас превосходство формы над содержанием? Может, от Пушкина? Пушкин восхищает разум совершенством, потрясает изяществом и простотой изложения. Его гениальность неоспорима.

И лишь голубоватый пороховой дымок поднимается над мятежным, раздираемым сомнениями сердцем Лермонтова.

Не Дантес нас убил — Мартынов.

Фашизм не идеология. Фашизм — массовое состояние душ.

Уходит в землю забор моего детства. Пацанами подсаживали друг друга за забор, где росли кислые чужие яблоки. Да яблоки ли нас пленили? Чувство реальной опасности, умение в два приема перемахнуть забор, услышав старческий бег и крики хозяина.

Я облакачиваюсь на забор и всматриваюсь в прошлое: ни старика уже, ни яблок. Уходит забор, и я ухожу... Кто раньше?

Не нужно ничего выдумывать. Пиши о своей жизни — в ней всегда есть за что зацепиться. Необходимо только подобрать слова. Те самые, без которых нельзя. Это и будет литература.

Что происходит с человеком зимой в канун Нового года, когда небо на рассвете свинцово и темно, хлесткий редкий снег в лицо, а прибытие поезда, где едет она, единственная, которую так ждал, все откладывается и откладывается...

И ты пьешь сладкий мутный кофе в станционном буфете, куришь дешевые сигареты из мятой пачки и вдруг отчетливо понимаешь, что не хочешь ее приезда, слов, долгого на ветру поцелуя...

Мужики в углу тянут портвейн, утомленные дорогой бабы на мешках, и ты-то, ты вот из этой жизни, и она, почти неземная, красивая, и Новый год, и разные, разные судьбы...

Но уже объявляют поезд, который придет напрасно.

Как написать войну?

Как попытаться уйти от нее? Как уходили беженцы. Но от войны невозможно уйти — она настигнет тебя в самом далеком тылу.

Настигнет похоронкой, пайкой хлеба, картофельными очистками, творожными, наполовину с золой лепешками, грязью и воровством тыловых мародеров, «самоварами» в госпиталях, бесконечным снарядным конвейером.

Настигнет повесткой для твоих сыновей. Пусть это будет не в сорок первом и не в сорок втором, но это будет. И они будут ехать долго, с Урала, кантоваться в запасных полках, «тянуть ножку» на плацу, чтобы быть убитыми в первом бою.

Война в «соломенной вдове», которой приснилось, что муж придет, когда ей будет семьдесят два года. И она представляла себя жить, а когда пришли ее семьдесят два — не выходила из дома дальше калитки, а он не пришел.

Война в водружаемом над рейхстагом знамени и мальчишке, пытающемся попасть в кадр, — смешном, безусом и не убитом вопреки всему.

Война, война... Можно ли написать ее? Можно ли не написать?..

Хороший рассказ пишется в одночасье.

Он начинается вечером и заканчивается на рассвете, когда первые тяжелые капли росы ложатся на кусты смородины за твоим окном.

Хороший рассказ пишется летом, за городом, когда хрипло лают собаки, трескочут кузнечики, легкий ветер перебирает листья деревьев и с реки тянет сумасшедшей свежестью.

Хороший рассказ — часть твоей жизни. С ее волнениями, муками, неожиданным счастьем, когда мысли наслаиваются друг на друга, сбивают с пути истинного, поражают непредсказуемостью сюжетных изгибов, нечаянностью получившейся фразы...

И из всего этого великого сумасбродства тебе необходимо выкарабкаться, отыскать нужное, самое главное, поставить точку, перечитать, поразиться блеску и глубине своего пера и наконец уснуть спокойным сном человека, выполнившего необходимую и, быть может, самую важную работу на земле.

Я совсем ничего не читаю. Записываю, перечеркиваю, вновь пишу... Что-то кажется, с чем-то не согласен, о чем-то не могу не сказать.

Жажда мысли — не предчувствие ли конца своего?

Главные поезда не те, что увозят нас в свои города.

Главные поезда проносятся без остановок мимо далеких северных станционных постов, увозят в вечернем све-

те окон и тебя, вскочившего в последний вагон, пьющего чай, стелющего свежие простыни и думающего: «Как там, дома?»

Но поезда уходят, а ты остаешься — подтаскиваешь шпалы, дышишь на руки, вбиваешь стальные костыли — по расписанию, до следующего поезда.

Главные поезда не те, что увозят нас в свои города. Главные поезда — поезда наших надежд.

Раньше чай пили по-московски. По семь-восемь стаканов. Водку тоже пили, но как-то не перебарщивали в этом деле. Собирались на чай.

Говорили бесконечно. О том, какие в ГУМе выкинули дубленки — хорошо бы подкоптить на такую, о запрещенных стихах Бродского (ходили немного в диссидентах), о том, что скоро «майские» и кто что будет печь, а «Московская» хоть и дешевле «Столичной», но по вкусу и не сравнить, а смысл жизни в детях, а может, в работе, а Любимов уж очень одинаков, вот если бы Эфрос, а помнишь тот Новый год...

Ложились поздно, вставали рано. Долгий сон считался предосудительным, звонок в час ночи нормальным. Просыпались счастливыми.

Сейчас ложимся и просыпаемся так же. Как-то по инерции. Говорить не о чем, пойти не к кому. По своим углам — думаем, как снискать на хлеб насущный. Звоним друг другу с предложениями коммерческого свойства. Бывает, что и в час ночи.

Коснулась дыханием смерть.

— Что ж ты меня-то?

— Ты один — за что тебе цепляться?..

— Знаешь, — сказал я, — мне ведь, в сущности, нужно немного. Сад, дождь, долгие проводы, крик касатки...

— Что ж... — Смерть как-то смягчилась, и я заметил, что она в общем-то незлая, вполне сговорчивая старуха. — Я уйду, а ты понемногу заканчивай свои дела и помни о смерти.

Я проводил ее до крыльца и смотрел, как она идет по саду, задевая косой мокрые тяжелые яблоки. Яблоки падали на землю, а утром, собрав их, я увидел, что они переспели...

На этом обрываются записи Сергея Ильича Худякова.

Была в Сергее Ильиче какая-то природная симпатичная наглость. Именно это помогало ему распространять билеты на заведомо бездарные спектакли. Бывали у него и аншлаги.

А театр занимался выбиванием продуктовых заказов, льготных путевок, квартир, дополнительных средств из Москвы. Артисты, раздираемые склоками из-за повышения ставок и распределения ролей, играли все хуже и хуже. Плохие режиссеры сменяли плохих драматургов, и Сергею Ильичу стало казаться, что каждый встречный смотрит на него с еле скрываемым отвращением, как на человека, единожды обманувшего и продолжающего обманывать всех подряд. Он жил в небольшом русском городе, где все друг про друга знают и «от людей стыдно».

Сергей Ильич заболел тяжелым душевным недугом и умер. Умер в одночасье, никого не обременив своей смертью.

Я — единственный старинный его друг — узнал о смерти Сергея Ильича не сразу. Когда я приехал в Н-ск, комната, где он жил, была опечатана, и мне стоило большого труда всунуть управдому пятьдесят рублей и в его присутствии сорвать пломбу.

Эта тетрадка, найденная в нижнем ящике письменного стола, — единственное, что разрешили мне взять. Больше никаких записей я не обнаружил.

Друг мой Славка

Я хорошо запомнил точное время: шесть часов шесть минут утра.

«Вот сволочь! — успел подумать я. — Редкая сволочь...»

Звонок был междугородним — голос близким.

— Серега...

— Славка, ты?!

— Я... Поздравляю тебя.

— Что за скотство! — закричал я. — Три месяца о тебе ничего не слышно. Где ты?

— В Абхазии.

Я замолчал.

В Абхазии шла война. Там убивали, резали, взрывали мосты, грабили поезда. Там были свои беженцы, свои главнокомандующие, свои убитые, свои мародеры. Там можно было чувствовать себя спокойно только с оружием в руках. И только удерживая руку на мягком спуске боевого механизма, ты становился естественной мишенью для таких же, как ты, с оружием в руках.

— У вас стреляют? — глупо спросил я.

— Я сижу на пульте, — сказал Славка, — под правой рукой у меня АКМ, под левой — «макаров»¹...

— АКМ у тебя со спаренными рожками?..

— Со спаренными, — невесело согласился он, — иначе можно не успеть.

¹АКМ — автомат системы Калашникова; «макаров» — пистолет системы Макарова

— Ты только не лезь никуда, — сказал я, боясь сорваться с нужного тона. — Пусть они там сами между собой разбираются...

— Что я, пацан...

Пацан? Конечно, пацан. Каким я его помнил, каким он и остался. Невысокий, резкий, с серией точных, хорошо поставленных ударов.

Когда-то мы вместе занимались у старого тренера Миτροшкина, только я бросил, а он дотянул до мастера спорта. Я помнил его коротко: с поднятой перчаткой на ринге, курсантом пехотного училища, лейтенантом, последний раз — майором. Майорские погоны вряд ли прибавили серьезности его странно мальчишескому открытому лицу. Я помнил **неподробно друга моего Славку**.

Я физически почувствовал, как сейчас, в шесть часов утра, обжигая нервные окончания, входит в меня эта тяжкая **неподробность**. День смазывался на глазах, все **дальше** и **несозвучнее** становился мой сегодняшний праздник.

— Через неделю приедет человек, — сказал Славка, — он передаст тебе кинжал и бутылку хорошего коньяка. Больше ничего не удалось найти.

— Какой еще коньяк...

— Кинжал, конечно, не шедевр. А коньяк выпей, пожалуйста, сам. Очень тебя прошу.

— Славка, — тихо попросил я, — ты бы увольнялся. Что-нибудь придумаем.

— Нам обещали повысить оклад. Вдвое. Ты же понимаешь, что это для меня...

Я вспомнил его семью, оставшуюся в Ленинграде: жену Наташу, мальчишек Костю, Женю с больными глазами — у него был врожденный порок сердца — и понял, что он никуда не поедет. Жизнь приравнялась половине офицерского оклада. В этом была страшная унижительная арифметика времени.

— Ты звони мне, — попросил Славка, — из Москвы это проще. 37-54-12 «Нептун», зам командира дивизии по тылу майор Чепурнов.

— Славка...

— Нормально все, Серега. Второй день горячая вода. Дай знать моим: мол, звонил, все в порядке. И не вешай нос — он у тебя и так неадекватен. Обнимаю...

Нас разъединили.

Я посмотрел на часы: шесть часов девять минут. За три минуты было сказано больше, чем за всю жизнь...

Поднималось солнце. Из парка и пруда за моим окном потянуло утренней прохладой. И казалось, нет ничего более вечного, чем парк, пруд, липы в парке и сонные караси в пруду. Но теперь это только казалось...

Жена спала. На столе — томик Манделыштама (подарок ко дню рождения) и красная жестяная баночка из-под колы.

Сколько он стоил, Манделыштам? Да и не любил я его. «Мне на плечи кидается век-волкодав...» Какой тщательно выбранный образ. В литературе это называется «в десятку». Возможно, эта тщательность и мешала мне, оставляя лишь смутные воспоминания формы.

Я сел на подоконник, закурил, стряхивая пепел в ароматную пустоту баночки. Дело не в Манделыштаме и не в материальных символах, а в этой жестяной баночке из-под колы. Ей не стоило открывать колу вчера и оставлять пустой на столе — сохранить, поставить ночью на томик стихов — это было бы прекрасно и трогательно и не прокладывало лишней трещины в наших отношениях.

Под окном посигналили. Из машины появилась кастрюля, за ней Жека.

— Имениннику! — он протянул мне кастрюлю. — Оливье. Я снял крышку, запустил палец в салат.

— Майонеза не хватает.

— Начинается! — Жека закатил глаза. — Собирайся, поехали.

— Поехали.

Я перепрыгнул через подоконник.

— Первый этаж — сказка! — мечтательно произнес Жека. — Раз — и влился в массы.

— А воры?

— Если воры, то конечно...

В машине он поставил кассету. Ту самую, из «Был месяц май». У меня что-то сжалось внутри — ему не следовало ставить именно эту кассету.

— Угодил? — спросил Жека — ему очень хотелось устроить мне праздник.

— Угодил, — я отвернулся к окну.

Почему я не сел назад — мог бы достать платок. Почему мы так стесняемся своих слез?

На рынке выбирали картошку, пробовали маринованный чеснок, какое-то диковинное мясо из Прибалтики.

— Ты мне голову не морочь, — нажимал Жека, — ты давай мне тугие, вон из того ящика. — Это продавцу о помидорах. — Огурчиков малосольных прихватим? — Это мне.

Я нес за ним сумки, расплачивался. Сейчас мне нужно было одно: забиться в угол на час-два и записать все, что уже сложилось у меня в голове. О Славке и о себе.

Я знал: сегодня этого не случится. И завтра...

У выхода старуха в выцветшем платке продавала цветков. Обыкновенный цветок в глиняном горшке. И земля в горшке была еще влажной...

Я не знал названия цветка, я знал, что этот цветок — последнее из еще не проданного старухой. Наверное, он стоял у нее много лет, она три раза в неделю поливала его, мыла листья, меняла землю, успела полюбить и сейчас, отдавая за бесценок, втайне надеялась, что его не купят.

Если потом, через годы, у кого-нибудь поднимется рука искать оправдание нашему жестокому, циничному времени, то никто не сможет оправдать выживание стариков, детей и бездомных собак... Никто не сможет просчитать рентабельность жизни майора Чепурнова — стоила ли она половины офицерского оклада?

Неужели со Славкой может что-то случиться?

Мне нужно было подойти к старухе, неловко сунуть деньги, попросить беречь цветков, но в своем дорогом костюме я не сделал этого. Я знал: потом мне будет стыдно, но сейчас я шел за Жекой, я нес сумки.

В офис вели тяжелые дубовые двери с латунными ручками. Мы здоровались с охранником, поднимались на третий этаж, и как разительно менялись наши лица. Давно не надо показывать пропуска — охрана знает нас в лицо, мы идем в свой офис в центре Москвы, мы занимаем должности.

Я вдруг представил себя на месте охранника. Целый день он пропускает лица. Целый день вверх — вниз, вверх — вниз... Ни одного человеческого лица.

Мы еще что-то делали в этот день. Куда-то звонили, набирали на компьютере, ходили за водкой. Сдвигали столы, поднимали стаканы.

— Я вот что хочу сказать: Серегу я знаю давно...

— Все давно. По существу...

— За женщинами, в конце концов, будут ухаживать?..

— Да не тяни ты бодягу...

— Теперь пусть сам о себе расскажет...

— Через край Петрухе, через край...

— Сколько порядочных людей собралось...

Господи, до каких же пошлых подробностей похожи все застолья. Как одинаково они начинаются и одинаково заканчиваются.

Я вдруг вспомнил, как нас били много лет назад. Нам тогда было по семнадцать, что ли. Возвращались с чьих-то именин, ночью, набранные под завязку. Остановили такси.

В машине их было пятеро: крепкие, в спортивных костюмах.

— Куда, брат?

— Да уж куда тут, — попытался отвязаться я, — вас и так полный комплект.

— Ты не прав, брат, — затащил один из них привычную в таких случаях волюнку — им очень хотелось поразмяться. — Остановил — не крути.

Уже тогда я понял: так просто это не кончится. Били они на совесть. Их было пятеро, старше, трезвее — нас со Славкой двое, но этого им показалось мало, и они ударили в две отвертки. Грамотно и точно.

Домой мы все-таки добрались. У меня был пробит подбородок, жгло под ложечкой, странно кривел нос. Почти такой же набор имел Славка. Залив йодом ссадины и порезы, практически облившись им с ног до головы, мы сели пить «перцовку». В два часа ночи. Тогда-то с нами и случилась истерика. Мы пили и смеялись до слез.

— Такое могло случиться только с нами...

— Идиоты, ну идиоты...

В этот момент и возникло между нами серьезное, на всю жизнь — мы поняли, что умеем смотреть на вещи одинаково.

На следующее утро, протрезвев и подвывая от боли на верхних полках купе, мы уезжали в Свердловск к товарищу, служившему в учебном полку.

Два дня мы таскали товарищу самую жирную, какую только можно было найти в местной кулинарии, курицу, после чего он, наконец, не выдержал:

— Да, принесите вы водки, черти! Я эту курицу уже видеть не могу. И вас вместе с ней.

И мы пили теплую водку в лопухах за забором части, подбрасывая на солнышке пустые бутылки.

Товарища в тот же вечер забрали на гауптвахту, а мы с чувством выполненного долга поехали домой, зайдя перед поездом в универмаг и купив огромного плюшевого

бегемота в синей кепочке женщине, которую одинаково любили...

Наспех убирали, ловили такси на Новом Арбате, пели в машине.

Дома накрывали стол, кричали, выясняли отношения на кухне, приносили гитару...

— Галочка, позвольте на прощание...

— Идите к черту!..

— Завтра в присутствии к двенадцати. Исключительно похмеляться...

— А кто не в состоянии?

— Будет репрессирован...

— Хозяйка, водки бы...

Я тоже принимал участие в событиях, пел общие песни, танцевал под музыку отживающего свой век проигрывателя.

Мимоходом фиксировались суетные подробности уходящего дня. Шипела заезженная пластинка, танцевали пары... Жека в мокасинах, Петька в кроссовках с развязавшимися шнурками, у Светы явно завышен каблук, Надька босиком, бестолочь...

Я думал не о них. Я думал о Славке. Как он там со своим АКМом?

Один из многих

Это случилось в больнице, где старший лейтенант Воронин долечивался после увольнения из армии в связи с полной непригодностью для дальнейшего прохождения службы.

Его наградили орденом Мужества, выдали страховку, единовременное пособие, малолитражный автомобиль и поставили в льготную очередь на квартиру, словно по сантиметру компенсируя ампутированную по бедру ногу, которую он потерял в тяжелых боях за Грозный при подрыве на противопехотной мине.

В больнице Воронину был назначен курс физиотерапии. Умело управляясь с костылями, он достаточно легко поднимался на четвертый этаж, шел нескончаемыми больничными коридорами.

Проходя отделение костной патологии и ощущая на себе горькие взгляды больных, он не переставал удивляться необъяснимой сострадательности русского человека: приговоренные к смерти, больные этого отделения еще были способны на сопереживание чужому горю.

Сам же Воронин никак не мог представить себе весь ужас зловещего словосочетания «костная патология». Кажалось, постигни он, что это такое, и костная патология уже не оставит его, уложит на больничную койку и будет с ним до конца.

Он же, искалеченный в боях за Отечество, награжденный, благодетельствованный государством, сейчас ощущал тайное превосходство над простыми смертными, сломленными теми или иными житейскими недугами.

Где-то в Германии собирался уникальный протез, который уже через год не должен был отличать Воронина от нормальных здоровых людей. В школах на уроках мужества, куда его приглашали достаточно часто, он говорил о патриотизме, самопожертвовании, чувстве долга, время от времени замечая на себе восхищенные взгляды двенадцатилетних мальчишек и девчонок.

Он был одним из героев страны и по праву гордился этим званием.

Всю ночь шел дождь. Хмарь, нависшая над городом, выкручивала пальцы несуществующей ноги. Воронин глотал обезболивающее, снотворное, но заснуть так и не смог.

Встав на костыли, он дошел до подоконника и, с трудом устроившись на нем, закурил в раскрытое настежь окно. Редкие капли дождя барабанили о жестяной карниз, и эти глухие неясные звуки, перемешанные с шумом обдуваемой июльским ветром листвы, были полны смутной щемящей тоски и одиночества.

Воронину было двадцать шесть лет. И в свои двадцать шесть он должен был заново учиться ходить, любить, прощать и ненавидеть. Его контуженной войной памяти предстояло умереть для того, чтобы другой, обретший второе рождение человек мог приспособиться к новой, такой противоречивой действительности.

Но память не отпускала, и потому многое не складывалось в этой непривычной для него жизни. Он думал об этом, об убитых товарищах, о будущей любви. Какой она будет и будет ли вообще?

Некстати вспомнилось, как пытался ухаживать за сестрами в госпиталях и как они недоуменно смотрели на него.

В эту ночь ему не предстояло заснуть. В больницу он приехал совершенно разбитым и впервые за все время решил воспользоваться лифтом.

Он долго вызывал лифт, жал и жал кнопку, наконец лифт опустился, распахнулись двери, и Воронин шагнул внутрь.

— Куда?!

Он даже не запомнил ее лица — что-то властное, немолодое.

— В физиотерапию мне, — улыбнулся он, — на четвертый этаж.

— Ну, а ты кто такой-то? Главврач, что ли, чтоб я из-за тебя одного лифт гоняла...

— По-моему, это входит в ваши обязанности, — пере-
силивая себя, вымученно улыбнулся он.

— Ну, ты мне еще про мои обязанности расскажи...

— Мне тяжело подниматься. И стоять тяжело, — жалко,
просяще и ненавидя себя в эту минуту, сказал он.

Лицо расплывалось. На нем было невозможно различить отдельных черт — они сливались в единую массу, и эта масса сказала:

— Ладно, не растаешь. Наберем народу — поедем.
Обождешь пока...

Это было все. Последний предел. Как тогда, в Грозном, когда нужно было рвануться вперед и стрелять, стрелять, бить из автомата, и выжить, и победить.

Воронин оперся на костыли, оттолкнулся и шагнул в глубину лифта.

— Назад! Я сказала: назад!

Он шел напролом, но там, куда он шел, были сильнее его. За ними стоял натиск, правда облеченного властью быдла, еще никогда и никому не отдавшего ни пяди своего всепростирающегося могущества.

Его толкнули. Он упал. Ударившись о мраморный пол, унижительно задрезжали костыли. Он попытался встать и не смог. И все-таки встал и, не выдержав равновесия, рухнул.

— Сука тифозная! Тварь!

Ему казалось, что он кричит. Но он не кричал — плакал, по-детски размазывая слезы.

К нему подбежали, попытались поднять, а он сидел на полу и плакал. Ему хотелось сказать им, что он, командир десантной роты старший лейтенант Воронин, честно воевал за Отечество, что он потерял ногу не по пьяной лавочке, а в тяжелом кровавом бою, что его четыре месяца резали по госпиталям, что все это он делал ради них...

И вдруг он понял, что нет никакого Отечества, ни людей вокруг него, ни святой правды в той бойне, где их тысячами перемололи гусеницы бронемашин...

А есть безногий калека, обрубок, старший лейтенант никогда не востребованного запаса Воронин, которого можно толкнуть, ударить, размазать в грязь, которому уже не выстоять в этой скотской, безразличной к нему жизни.

— Вставайте! Ну, вставайте же, молодой человек...

Он боялся встать. Он не знал, как жить дальше.

Смятение

Они были знакомы много лет.

Он знал все ее первородные и приобретенные грехи: и неряшливую прическу, и пузыри на колготках, и близорукый прищур глаз сквозь диоптрии линз, и упрямство, и естественно звонкий голос, и странную, немного нервную походку, и легковесность в ощущении жизни.

Все это и забавляло и раздражало его. И когда он говорил о чем-то серьезном, о чем невозможно было не сказать, а она с машинальной готовностью кивала в ответ, он понимал, что это совершенно не занимает ее, и соглашается она только потому, что ей все равно, с чем соглашаться.

В эти минуты он ее ненавидел.

Она почти не следила за собой, но иногда, следуя интуитивно-безупречному вкусу, одевалась элегантно и броско, изысканно накладывала макияж, и тогда он думал: «Ну-ну, смой с тебя, чертовой куклы, весь блеск: что останется?»

И чем больше она раздражала его, тем чаще и неотступнее он думал о ней. Ее грехи уже становились необходимы ему. Хотелось быть около нее, говорить о чем угодно, ощущать запах ее недорогих духов.

Хотелось сказать какую-нибудь резкость и увидеть неожиданные слезы в ее глазах. Или случайно коснуться руки и на секунду, чуть больше дозволенного задержать ее...

Он понял, что любит ее. И лишний раз поразился непредсказуемой, фантастической сумасбродности жизни.

Порой, вглядываясь в замкнутое пространство за окном, он думал уехать к кромке Северного Ледовитого оке-

ана или оказаться в госпитале после тяжелого ранения и в редкие минуты прояснения наконец увидеть ее...

«Бедный, милый мой мальчик», — скажет она.

Это было нелепо, и глупо, и как-то уж совсем по-детски — он стыдился своих мыслей, смеялся над ними и продолжал думать.

Он думал о незнакомых городах, где мог бы жить с ней одной, ничего не замечая вокруг. В этих городах так же дребезжали трамваи, по вечерам зажигались окна домов, но это были другие города, и только в них они принадлежали самим себе и больше никому.

Да, это было наваждение, но наваждение немолодого человека, прожившего большую и такую разную жизнь, в которой, как казалось ему, уже не оставалось места для душевной смуты.

Он знал: она не поймет, не примет его объяснений, в конце концов, не поверит. Необратимость возникшего чувства сводила его с ума — случалось, что он часами сидел в пустой комнате и ждал ее.

Так продолжалось долго: его тоска, ее безразличие.

Иногда, угадывая необъяснимый свет в его глазах, она отворачиваясь к окну, на мгновение задумывалась: на кого он смотрит так, как никогда не смотрел на нее?..

Вернувшись, я уйду...

Очнувшись и увидев перед собой уходящую под потолок стерильную белизну кафельных стен, он спросил:

— Где я?

— В реанимации, — отвечала она.

— Почему?

— Что почему?! — она почти срывалась на крик — ее до сих пор трясло от пережитого.

— Почему не в палате? — спросил он так, словно чувствовал за собой вину.

— Ты умирал, — сказала она и заплакала. — У тебя остановилось сердце...

И удивилась своим слезам. Казалось, что за эти мучительные безнадежные дни она выплакала себя до конца. Но вот он открыл глаза, заговорил, и опять стало нечем дышать.

— Они еле тебя вытащили...

Он молчал, упрямо пытаясь сосчитать количество плиток в одном ряду. По горизонтали, по вертикали... И все время сбивался со счета.

— Дай закурить.

— Тебе нельзя.

— Дай.

Она прикурила ему сигарету.

— Сколько это длилось?

— Вечность.

Он сделал две затяжки, протянул ей недокуренную сигарету.

— Забери.

Она подошла к умывальнику, подставила окуроч под струю воды.

— Оказывается, это совсем не страшно... — сказал он.

— Что? — она повернулась к нему.

— Уходить... Я шел по Млечному пути. Совершенно один. — Он закрыл глаза. — Подо мной были звезды...

Струя размывала окуроч, и сейчас по грязно-коричневой поверхности воды плавали обрывки сигаретной бумаги и размокшие крошки табака. Раковина была засорена...

А он шел по Млечному пути...

Прислонившись к окну, она в который раз увидела заметенный снегом прямоугольник больничного двора, уродливый остов строящегося корпуса, грязных ворон на голых сучьях осин...

«Все это наша жизнь...» — подумала она.

Вспомнился Пастернак с его февралем и чернилами, которые непременно нужно было достать и плакать. Хотя можно плакать и без чернил. Сейчас был февраль.

Он лежал, выпростав руки из-под одеяла, и рассматривал толщину швов между плитками. Швы были разными — плитку положили криво, безалаберно, и он подумал: почему, вернувшись с того света, человек обречен увидеть не небо, не звезды, а чью-то небрежную бездарную работу. Почему?

И в то же время он был благодарен плиточнику — глядя на идеально ровную плитку, ему бы не о чем было думать. Как теперь не о чем было говорить.

— Значит, все по-новому, — сказал он.

— Что?

— Опять по новому кругу...

— Ну, что же делать! — в отчаянии сказала она, потому что уже не знала, что сказать.

— А знаешь, я разговаривал с Чеховым. И Пушкина видел. Он сидел на берегу и ждал...

— Кого ждал? Зачем? — машинально спросила она.

— Дантеса... А Дантес дрался с Лермонтовым... Я его спросил, ну, в смысле, Пушкина: что же вы так из-за бабы? Неужели не могли иначе рас... распорядиться своей жизнью...

— Какой бабы? Ты о чем?

Она ничего не понимала, и от этого непонимания ей становилось не по себе.

Ему стало тяжело дышать. И почти ничего не было видно.

— Потом пришел Дантес и убил всех. И Пушкина и Чехова. И меня...

Она поняла, что он заговаривается.

— Он был классный стрелок, Дантес... Умел опережать на один шаг... И Лермонтова...

Она бросилась из палаты, закричала в пустоту коридора:

— Сестра! Доктор! Сестра!

И еще что-то. Долго, пронзительно...

— Он умер, — сказала сестра, опуская его безжизненную руку.

— Электрошок сюда! Быстрее же! Ну быстрее же, вы! — кричал в открытую дверь врач.

Она подошла к постели, опустилась на колени и положила голову ему на грудь.

— Не надо, — тихо сказала она. — Он не хотел возвращаться.

Но ее никто не услышал.

Сочинение на уходящую тему

Головокружительно уходит вперед технический прогресс. Я и не пытаюсь бежать с ним наравне. Отпущенного на мой век времени остается все меньше и меньше.

Или я его прожил?

Для чего мне Интернет? Вернет ли он прошлое?

А собственно, зачем оно мне, прошлое? Потому что беспомощен перед настоящим. И совершенно не могу представить будущего.

Говорят, посредством Интернета можно общаться со всем миром. Это нам-то, не способным услышать друг друга.

Всю жизнь размышлял о самоценности мысли, не выказанной вслух. «Размышлял о мысли» — стилистический оборот писателя. Но я действительно размышлял, а тем временем мысли наслаивались друг на друга, перебивали непредсказуемостью ассоциаций, и было необходимо, бросив все, записывать, записывать... Но уже терялась связующая нить, исчезали первозданность и глубина, и бумага являла собой жалкие выжимки вдохновения.

Вдохновения, растворившегося внутри.

Изобретен речевой адаптер. Наговариваешь на него все, что приходит в голову, и в тоже мгновение сумятица твоих мыслей воспроизводится на экране монитора.

Долгими безумными ночами я ломал ручки и разбивал в кровь пальцы — тогда мне довелось узнать, как не успевает за мыслью рука, держащая перо.

Речевой адаптер, с которым можно разговаривать часами. Позже бы я отсекал лишнее, словесную чепуху, до-

бираясь до каркаса своего замысла, и был бы упоительно счастлив этой работе.

Мне нужен адаптер, и нет на него денег.

На главное, составляющее основу нашего предназначения, всегда не хватает денег. Художнику — на кисти, мне вот — на адаптер.

Так проходит жизнь.

Речевой адаптер — часть технического прогресса. Возможно, лучшая. Примирил бы он меня с действительностью? Не знаю. Все чаще я прихожу к выводу, что скоро моим единственным читателем буду я сам.

Человечество утратило связь времен. Слово, скрипичный ключ, гуашь на холсте растворяются в двадцатом столетии. Зачем они молодому энергичному человеку с ноутбуком в руках? Там, на пороге космических скоростей...

Электронный цыпленок-тамагочи вытесняет из нашей жизни бродячих собак. Слово становится знаком, музыка — производной синтезатора, необходимые мысли заложены в компьютерную память.

И все дальше остаются за иллюминаторами бизнес-класса сквозняки в разбитых стеклах телефонов-автоматов, треск керосиновой лампы, лесные озера, прямоугольники писем, начинающиеся словами: «Дорогие Татьяна Львовна, Николай Васильевич, дети Анечка и Сашенька...»

Конечно, это не рассказ — размышления о мыслях, которые я попробовал записать.

В институте нас учили придерживаться строгих литературных форм. Долгие годы я придерживался, пока не прочел в предисловии к сборнику стихов одного поэта такие строчки: «Кто-то любит кашу, кто-то компот, а я люблю кашу с компотом!»

Стихи мне понравились, а сочинить кашу с компотом так и не удалось. Пусть это будет еще одной попыткой.

Или последней данью литературе.

Кто знает: может, скоро знак равенства между количеством слов и центов станет для меня нормой.

Смотрите, как это просто: «Он стремительно выдернул из-за пояса "ПМ" с глушителем и дважды выстрелил в исказившееся от страха лицо Хрипатого...»

И попробуйте, докажите, что это не литература. Читают-то это. И только.

Мы покидали поле брани,
И за незримую чертой
Ту женщину с цветком герани
Забыл придуманный герой.

Мы уходили из искусства
Туда, где смокинги и смог
Владеют первозданным чувством
И пылью пройденных дорог.

Пыль пройденных дорог, намертво въевшаяся в нас.
Когда-то я отказался от женщины, которую любил. Отказался неосознанно и всю последующую жизнь пытался осмыслить свое импульсивное решение. И лишь недавно понял: то была рука провидения.

Позже мы встретились: вежливые дети — одни из первых по успеваемости в классе, муж в народном образовании, фарфоровая супница на столе, запланированный семейный отпуск, абонементы в Большой зал консерватории, работа поближе к дому...

Пыль московских улиц постепенно оседает на костюме — два раза в год ему требуется химчистка.

Я представил, что все это могло быть со мной.

Пройденные дороги: северные трассы, минные поля, горный серпантин...

«Если бы парни всей земли...» Что-то они должны были сделать, парни. Что-то хорошее и очень светлое. Следуя тогдашней доктрине о всеобщем торжестве коммунизма.

Я услышал эту песню еще мальчишкой. И вот мы выросли. И взялись за оружие. Все. Каждый за свое.

Мы убиваем друг друга по-разному. И реже всего на войне. Потому что на поле боя погибают самые незащищенные. Как ни парадоксально.

Сколько их было, войн... На мою долю выпало три. В течение пяти лет.

На одних казалось невозможным уцелеть, другие напоминали бесконечное вооруженное путешествие по горным перевалам. Убивали на тех и на других. На первых смерть была ближе и осязаемей, на вторых являлась неожиданно: в тот момент, когда ты протягивал руку к кусту боярышника...

Здесь не говорят торжественных слов и не голосят над погибшими. Ужас войны в ее обыденности. И лишь время

спустя, пройдя все круги ада, ты начинаешь сознавать, что вытащил счастливый билет. А было этих билетов — на пальцах перечесть.

И сознавая все — возвращаешься обратно.

Война перечеркнула мою жизнь. Словно ничего не было до нее.

Это трудно понять окружающим, а мне — невозможно объяснить. Как объяснить состояние человека тягучей, как смола, афганской ночью, обманчивую тишину которой нарушают редкие трассирующие очереди, думающего не о возвращении домой, а о том, как он ступит на пыльную «взлетку» душанбинского аэродрома, возьмет частника, доберется до центрального парка и сядет пить с капитанами и майорами, которые, в сущности, являются ему чужими людьми.

Судьба свела нас на одних дорогах войны, и потому мы были счастливы видеть друг друга живыми и не скрывали своего счастья.

Стремиться на войну в сорок лет глупо. По меньшей мере, безрассудно. Говорить об этом неловко. И все-таки мы уходим.

Мы не то чтобы не довоевали, но рано или поздно наступает день и час, когда необходимо прикоснуться друг к другу локтями, ощутить ту самую неразрывную связь совместно пройденных дорог. А потом сидеть и говорить о том, о чем больше никогда и ни с кем не поговоришь.

А может, и не довоевали. Наши войны, больше значившиеся в официальных сводках вооруженными конфликтами, где шансов выжить было ровно столько же, сколько и умереть, ничтожны по сравнению с той единственной — Великой Отечественной.

Мы недобрали тех ощущений, после которых уже ни хочется ничего, кроме как валяться в измятой росной траве, слушать треск кузнечиков над головой и сознавать свою неубитость.

Небо в этот час должно быть синее и бездонное, река — холодная и небыстрая, а месяц — май, легший на плечи четырехлетней усталостью только что окончившейся войны. Усталостью, опустошающей настолько, чтобы уже никогда не хотелось браться за оружие.

Опустошение войной. Еще не пережитое нами.

Когда я умру — поставьте над моей могилой обыкновенный сваренный из нержавеющей стали обелиск с красной жес-

тяной звездочкой. Не из-за приверженности к какому-либо политическому устройству, а лишь потому, что душа моя и мысли навсегда остались в той эпохе.

Я пережил свою эпоху на пятнадцать лет. Вероятно, буду жить и дальше. В бесконечном противоречии с окружающим миром, которого никогда не сумею постичь.

Раньше я не принимал эмиграции. Оборвать связь с родиной казалось мне невозможным. И вот я стал эмигрантом своей эпохи. Садам без земли. Ростком, занесенным на крышу небоскреба.

Я пустил корни и, задыхаясь, пробился через толщу синтетической кровли, а пробившись, понял, что стремление к жизни — еще не есть жизнь.

Нас тогда было много на этой крыше. Теперь — почти никого.

Положите меня рядом с Гроссманом на Троекуровском кладбище — я буду разговаривать с ним оставшуюся вечность.

Именно с ним мне необходимо поговорить. О мужестве и одиночестве писателя. О великом таинстве слова. О времени, стирающем слова.

Но есть ли что за гранью нашего бытия?

За всю жизнь мне так и не довелось получить подтверждения существования высшего разума. И когда я истово молился, взывая к милосердию, и неистово отвергал — результат оставался неизменным.

Война лишила меня ноги. Несколько лет под Новый год сын просил у Деда Мороза ногу.

«Прошу тебя, верни моему папе ногу. Пусть завтра утром она будет лежать под елкой...»

И ничего не просил для себя.

Дед Мороз и Господь Бог были для него тождественны. Они могут все — убеждали взрослые, давно разуверившиеся в этом убеждении.

Однажды он попросил не ногу, а конструктор «Лего» — один из невероятных конструкторов, завораживающих сознание детей его возраста. Была тяжкая ссора, сына упрекнули в жестокости и равнодушии, он плакал, по-детски защищаясь, просил прощения.

Ему не за что было просить прощения — именно тогда он стал взрослым, мой сын. Чуда не случится — понял он. Никто не вернет потерянной ноги, и вообще, в этой суровой и неприглядной действительности, с которой он начи-

нал понемногу сталкиваться, надо рассчитывать на себя самого и на родителей, пока ты маленький, а они большие и сильные, и с ними ничего не страшно.

Так и возник под новогодней елкой конструктор, потеснив Деда Мороза, а вместе с ним и волшебные заблуждения детства, рано или поздно оставляющие нас навсегда.

Мне думается, высший разум все-таки есть. И его предназначение — невмешательство.

Да и можно ли разобраться в людской чехарде. В дрязгах, жестокости, войнах, любви и ненависти, добре и зле, опутавших человечество.

Можно ли разобраться в отношениях людей, проживших в любви и взаимопонимании много лет и разошедшихся только потому, что на глаза мужу постоянно попадались брошенные женой ключи, для которых он когда-то специально повесил полочку в коридоре.

Человек устроен просто и сложно одновременно. Борьба противоположностей сопровождает нас от первого до последнего шага. Где-то посередине покоится высший разум. Постичь его пытается каждый. И уходит, не постигнув.

Так о Боге и о себе думаю я.

Ничего не утверждавший, талантливый и беспомощный, великий русский писатель Василий Гроссман в отношении к Богу был непреклонен:

«...Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев — женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет».

Каждый из нас отвергал и был отвергнут. Встретимся ли мы за гранью бытия?

Нам не довелось поговорить здесь, скорее всего, не поговорить и там. Так для чего мне соседство с Гроссманом? Чтобы в тени его надгробия кто-то заметил и мое, обронив ненароком:

— Смотри-ка! А ведь я знал этого малого. Тоже, кстати, писатель...

— Ничего?

— Не Гроссман, конечно. Хотя местами недурно...

И был бы прав. Все у меня получалось местами. И в литературе, и в жизни.

Чехов лукавил, говоря о жене-медицине и любовнице-литературе. Нерушимость его брачных уз с литературой

не могла разорвать ни одна самая фантастическая любовница. Что уж говорить о медицине.

Он был глубоко раним и одинок именно потому, что посвятил себя служению одной единственной женщине — литературе.

Женщине, не прощающей измены.

Сколько нас, пытавшихся добиться ее расположения, пылится в запасниках библиотек. Сколько...

Как это у Светлова: «Я другом ей не был, я мужем ей не был, я только ходил по следам...»

Иногда она позволяла мне поцеловать руку, не снимая перчатки. И исчезала на много лет...

Я не ходил за ней по следам. Повседневность занимала мое воображение. Сиюминутность неотложных дел, которые надо решить во что бы ни стало, а уж потом... А что потом? Тот самый суп с котом. В лучшем случае, каша с компотом.

Я не жалею прожитой жизни. Хорошего в ней было все-таки больше, чем плохого. Я жалею, что не ощущал дыхания времени.

Я не жалею, что ходил по следам других женщин. Я жалею, что они, как и я, не ощущали дыхания времени.

Другая пришла неожиданно. Поздним майским вечером.

Та, которой я совсем не ждал и которой был по-идиотски счастлив. Та, чья фотография лежала в столе под бумагами, и лишь в минуты особого благоденствия я доставал ее, понимая, что не все так хорошо, как казалось еще мгновение назад, и жизнь без нее лишена чего-то существенного, может быть, главного. Самая земная из женщин, единственно боготворимая мною.

Я обнимал ее плечи и молчал. Любые слова были сумняшеся ничтожны по сравнению с тем, что произошло. Говорила она. Быстро, словно оправдываясь, говорила о том, как долог и труден был ее путь ко мне. Вот он и окончен, этот путь, и ничто теперь не сможет разлучить нас.

В доме напротив включили магнитофон. «Синенький скромный платочек...», «Где же вы теперь, друзья-однополчане...», «Ночь коротка...»

Кто составлял эту кассету и сейчас крутил ее? Захмелевший ветеран или такой же как я заложник войны?

«Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...»

Тогда нас оставалось пятеро. На высоте 1414,1 под позывным «Гейзер-93». Пятеро из всей группы.

В первой штурмовой группе, попавшей в засаду, уже было четверо убитых и семеро тяжелораненых. Двоих разнесло в клочья полутонным фугасом. Но об этом мы узнали позже, запаивая в цинк и обкладывая горным камнем уцелевшие части рук, останки сгоревшего камуфляжа и армейские ботинки погибших...

А сейчас с высоты 1414,1 один за другим уходили к месту подрыва десантники. Уходили, рассчитывая дотащить раненых до ближайшей вертолетной площадки, еще не ведая, что там, в ущелье, отсчет жизни давно шел на минуты, которые уже никого не могли спасти.

Раненых передавали с рук на руки, как при пожаре передают ведра с водой, и они умирали на руках, не коснувшись земли. Первый, второй, третий... Эти руки ощущали последнее тепло товарища — те беспомощно опускались под грузом мертвого тела...

А мы оставались на высоте прикрытия, не понимая, кого и как будем прикрывать. «Духи» блокировали плато с двух сторон: гранатометными расчетами и снайперскими парами — с хребта, пулеметами и автоматчиками — снизу, и теперь мы сами были у них как на ладони.

Можно было уйти по тропе в горы, но такого права мы не имели. Какой-то выдающийся полководец, разрабатывающий операцию, определил отметку 1414,1 как высоту прикрытия, и этого было вполне достаточно, чтобы нам пятерым остаться здесь навечно, покрыв себя неуязвимой славой.

«Духи» периодически вклинивались в нашу радиосвязь с пожеланиями счастливой жизни на том свете. Близкими, почти осязаемыми звездами легла ночь. Далеко, с берега реки, доносились разрывы тяжелых снарядов и поднималось бледное зарево пожарищ — по предположительным базам противника работали с Иола батареи залпового огня.

А под нами, совсем рядом, оживленно переговаривались на фарси и курили, не боясь демаскировать себя, «духи». Время от времени, пущенные щелчком, прочерчивали ночь трассирующие огоньки сигарет...

До отдачи команды «на поражение» оставался час. Или минута...

— Я так перед тобой виновата. Почему, ну скажи, почему я не понимала своего счастья?.. — говорила она. — А ты ждал. Боже, сколько ты ждал...

Я прижимался губами к ее плечам, лишая себя возможности отвечать. Сейчас мне хотелось только одного — чтобы она ушла.

— Прости меня. В конце концов, я сделала хуже только самой себе...

Передо мною, словно на конвейере, проплывали одинаковые слова-формочки.

Зачем люди рвут отношения, снимают фотографии со стен, разъезжаются на разбитых грузовиках... В надежде, что там, куда они вносят старые книги, все будет иначе. Другие слова, другое дыхание...

Но слова те же самые — никто не придумал других слов. И биение сердец только поначалу кажется учащенным...

Она замолчала, отодвигаясь и пристально глядя в мои отсутствующие глаза.

— Ты где?

— Здесь, — машинально отвечал я, — с тобой...

«Но только крепче мы дружили под перекрестным арт-огнем...»

— О чем ты думаешь?

— Об артогне...

— О чем?!

Как я ее ждал. И вдруг все рухнуло. За несколько минут. Вероятно, любовь — ожидание. И расстояние. И еще бог знает что такое, необъяснимое. Что-то же происходит с нами на пороге Дворца бракосочетаний, куда мы входим влюбленными, а выходим гражданами с совместно нажитым имуществом.

— Может, мне уйти?

— Может...

Я увидел ее в свете уличного фонаря. Последний раз. Ветер развевал полы ее непромокаемого плаща...

Всю ночь я провел у окна, размышляя о мыслях, которые теперь попробовал записать. Свет фонаря проникал в комнату, и я чувствовал себя надувным матрацем, из которого выпустили воздух.

Синдром хронической усталости. Эту болезнь установили американцы. Любой заводной механизм рано или поздно ломается. Американский ломается чаще, поскольку

ку не допускает срывов, волнений и отступления от генеральной линии американского образа жизни.

Говорят, можно пролежать в состоянии полной апатии два-три месяца, не поднимаясь. Я был способен двигаться, но какая-то внутренняя пружина внезапно лопнула во мне, и пока было неясно, хорошо это или плохо.

«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...»

Что-то происходило со мной. Груз прожитой жизни, в конце концов, можно сбросить, обретя второе рождение. Многие поступают именно так.

Путано и тяжело добравшись до половины, переступив черту тридцатисемилетия, за которой, как говорят, быть позтом уже неприлично, я понял, что ничего не хочу менять в своей жизни.

Наступила пора осмысления пережитого. Только и всего.

И, как в начале века: ночь, улица, фонарь, где-то за домами аптека.

Несколько лет назад на Севере мы разгружали бочки с машинным маслом. Долго, до самого утра скатывали их по сходням, затаскивая на подходящие грузовики — надо было успеть до срока, чтобы не платить за простой вагонов. А вагонов было много, чуть ли не треть состава...

На рассвете, разгрузив последний вагон, еле живые, курили под навесом пакгауза. Раскачиваемый ветром, скрипел ржавым каркасом фонарь, и тяжелые капли дождя стекали по его мутному стеклу. Размытые стеной дождя, проступали на горизонте очертания далеких сопок, с запасных путей подавали маневровый тепловоз, а в треске селекторной связи шла привычная утренняя перебранка...

Пропахшие машинным маслом, перепачканные как сто чертей, проклинали мы свою собачью долю, северные заработки, непогоду, мечтая о том времени, когда, получив расчет, разъедемся по своим городам наслаждаться обеспеченным и заслуженным отдыхом.

Проклинали, не понимая, что спущенные в ресторанах деньги, золотые побрякушки и дорогие сердцу мебельные гарнитуры очень скоро сделаются привычной и неотъемлемой частью быта, а это дождливое утро, запах машинного масла, раскачивающийся на ветру фонарь, гудок теплового на запасных путях останутся в нас навсегда. Потому что это было настоящим.

Порой кажется, что жизнь только начинается, а она уже прошла на далекой северной станции, и сейчас, глядя на фонарь за окном, я как никогда остро сознавал необратимость времени.

И еще я подумал: что проку в каше с компотом, если ты не любишь ни того ни другого.

Светлело небо у горизонта — заканчивалось магическое колдовство ночи. И всю ночь пролежал на витрине магазина не купленный мной речевой адаптер.

Утром мне была необходима сирень.

Сегодня был День Победы. День, который я пронес в себе через всю жизнь.

Мне часто снится война. И те, кто был рядом. Живые и мертвые. Но чем дальше отдаляются войны, через которые мне пришлось пройти, тем больше в снах я участвую в Великой Отечественной.

Мы не испытали и сотой доли того, что испытали они. Только теперь я понимаю это не умозрительно.

И еще я понимаю, как необходима им сегодня каждая ветка сирени, потому что завтра может не наступить.

Сирень продавали на «Юго-Западной».

— Почему?

— Десять рублей такой букетик, сынок.

Было ей лет семьдесят. Может, больше. В простеньком платке, вытертом пиджачке образца восьмидесятых, стоптанных туфлях.

— Я все возьму. На сколько там?

— Да вот... — она взялась пересчитывать. — На семьдесят рублей... — И сама испугалась этой внезапно сложившейся сумме. — Я дешевле отдам, раз так. Ничего...

Я дал ей сто рублей.

— С праздником, мать.

— А сдачу?

— С праздником.

День Победы. И эта старуха с сиренью...

Сейчас ей собрать сумки и успеть на электричку до Жаворонков. Или Подлипок.

На станции у нее дом, яблоневый сад, сирень у калитки. Под яблоней, почерневшей от дождей, старый дощатый стол, за которым раньше собирались на праздники. Накрывали белой крахмальной скатертью, ставили водку, наливки, нехитрые закуски.

Во главе стола садился муж, приходили гости: мужчины с орденами, женщины в крепдешиновых платьях. Пили за Победу, крутили ручку патефона, вспоминали Первый Украинский, Донской, Волховский...

А осенью с глухим стуком падали на стол переспелые яблоки.

Все теперь в прошлом. Ушли, надорвавшись войной, мужики. Женщины превратились в таких же, как она, старух, обрывающих весной ветки сирени, осенью первые яблоки. На продажу.

Благодаря саду и выживают. В покосившихся, уходящих в землю домах.

Она придет домой, включит радиолу, выскоблит край стола, закусит недорогой колбасой, выпьет стопку водки. Одна. За Победу. И за помин души.

На мои восемьдесят рублей. И двадцать сверху.

Оставаясь с тобой

Прошло много лет, а он по-прежнему до мельчайших подробностей помнил те полтора часа, которые сделали с ним то, чего не смогли ни война, ни два инфаркта, ни вся его предыдущая жизнь.

И навсегда осталось в подсознании такое безобидное слово: аппендицит.

Не рак, не метастазы...

Ее обследовали на гастрит, язвенную болезнь, поджелудочную, но ничего этого не было. А был аппендицит, редчайший, извращенный, один на тысячу, провоцировавший и то, и другое, и третье.

Вот и тогда у нее вновь начались боли, и он, не скрывая раздражения, говорил ей:

— Что ты себя накручиваешь! Тебя же обследовали у Марата: нет у тебя ни гастрита, ни поджелудочной...

— Болит, — жалко улыбалась она. — Я сама не понимаю...

Утром ей стало совсем плохо. Тянуло печень, и ртутный столбик на градуснике упрямо полз к отметке тридцать восемь.

Она держалась за бок и, сглатывая слезы, как заклинание, повторяла:

— Только бы не гепатит, только не гепатит... Я могла заразить мальчика...

И это тоже навсегда осталось в нем: как плакала не от боли — от мысли, что могла заразить мальчика. Как часами сидела у его постели, перебирая непослушные волосы, шептала что-то — только ему и себе.

А он спал, безмятежно раскинувшись на постели.

Он был для нее всем — их сын. Смешной, неугомонный, с болезненной синевой под глазами. Она водила его на обследования, к гомеопатам, обливала холодной водой, а он болел и болел. И чем тяжелее он болел, тем сильнее она привязывалась к нему.

Она была необыкновенно, вызывающе красива, но все это растворилось в них: в нем, в мальчике, в забитом продуктами холодильнике...

Он подарил ей бриллиантовое кольцо и некоторое время спустя иронично заметил:

— Дружок, ну кто же носит бриллианты без маникюра.

— Разве нельзя? — спросила она.

И в этом «разве нельзя» было столько искренности и непридуманности, что у него тогда подкатило к горлу, стало так стыдно за свой одалживающий тон. Так стыдно...

Он позвонил Марату.

— Мы сейчас приедем.

— Что-то случилось? — спросил Марат.

— Случилось, — ответил он коротко.

Они ехали долго, бесконечно стояли в пробках, ждали светофоров... Она опустила голову на его плечо — невесомо, боясь причинить неудобство.

— Больно?

— Уже легче, — отвечала она.

Почему «уже легче»? — спрашивал он себя потом. Почему так безрассудно доверился ее неженскому терпению, этой легкомысленной фразе? Он — немолодой, дважды раненный на войне, резанный-перерезанный по госпиталям, изводивший тяжелыми стонами медсестер по ночам...

— Печень, печень, — ворчал Марат. — Аппендицит у тебя. Самый банальный аппендицит. Тебя бы сейчас на стол — был бы у нас стационар... — Он беспомощно развел руками.

— Что же теперь?

— Надо вызывать «скорую», — сказал Марат.

— Отвези меня в госпиталь, — попросила она. Впервые за все время.

Он позвонил в госпиталь. Трубку взял Воробей.

— Гена, у жены, судя по всему, аппендицит...

— Неудивительно. Что она от тебя видела...

— Я серьезно.

— Если серьезно, то приезжайте! — повисил голос Воробей. — Что ты мне голову морочишь. Давно началось?

— Вчера.

— Езжайте, не тяните...

Он положил трубку.

— Поехали...

— Как? — возразила она. — У меня ни халата, ни зубной щетки... И с мальчиком я не попрощалась...

— Дадут тебе там халат, а щетку и мальчика я тебе утром привезу.

— Ну, милый, ну пожалуйста. Это же всего какой-то час... Что он решает?

Он в растерянности посмотрел на Марата.

— В принципе, острых показаний нет, — пожал плечами Марат.

Ни тогда, ни позже он не мог простить себе этих полутора часов.

Ни халата, который оказался неглаженным, и его непременно требовалось погладить, иначе представь, как я буду выглядеть в таком халате! Ни кипятильника, запропастившегося бог знает куда, ни чая, который нужно пересыпать в эту баночку с розовой крышкой. Да, не в эту — эта же из-под соды. Ни косметички, которую то ли брать, то ли не брать, хотя целиком она мне, собственно, ни к чему — возьму помаду и тушь, пожалуй. Поддай мне вон ту сумочку...

И подруга, опоздавшая на пятнадцать минут, которой терпеливо объясняла, где стоит овсянка и суп на три дня, какие подгузники для сна, какие для прогулки...

И гомеопатические таблетки для мальчика, которые не успела разложить по пакетикам: эти — в среду утром, эти — в среду вечером. Видишь, здесь так и написано: «среда — утро», «среда — вечер». Подожди, пожалуйста, не торопи, — мне остались лишь «суббота» и «воскресенье»...

И мальчик, катавшийся на машинке по их малогабаритной квартире. И как прикрикнула на него, чтоб не мешался под ногами, а потом плакала и просила прощения...

На стол ее взяли сразу.

— Да не трясись ты, — успокоил Воробей. — Тридцать-сорок минут, и все дела. Не то что с тобой тогда...

Тогда, под Кундузом, они собирали его по частям после тяжелого осколочного ранения. С Женькой Панферовым.

Сегодня они тоже оперировали вдвоем.

— Посиди в кабинете, — сказал Женька, — почитай «Спорт-экспресс»...

Он перелистывал газету: «Акбарс» проиграл «Локомотиву», «Зенит» выиграл у «Торпедо»... 2:3, 5:4, 1:2...

Вероятно, за скупой газетной информацией должны были стоять образы пропотевших, матерившихся, расталкивающих друг друга плечами хоккеистов, но сейчас он не ощущал этого.

В сознании всплывали только цифры, как отсчет перед запуском. И мучительно долго тянулись секунды.

Самая простая из операций. Тридцать минут, и все дела. Пошел второй час...

Четыре, три, два, один... Еще немного, и все кончится. Еще несколько минут. Четыре, три, два, один...

В кабинет вошел Воробей.

— Всё, — сказал он, опуская руки. — Всё...

И заплакал.

— Перитонит, — сказал Женька, прислонившись к дверному косяку. — Если бы на два, хотя бы на час раньше...

Это было последнее, что он запомнил.

Ей было тридцать четыре. Ему сорок шесть.

А ушла она.

Ее хоронили через три дня на Хованском кладбище.

Целыми днями в квартире присутствовали люди, многие из которых были ему незнакомы. Женщины в черном занавешивали зеркала, варили рис, поминальный кисель...

Мужчины договаривались с похоронными агентами, заказывали автобусы, хлопотали место на кладбище...

Кто-то на эти дни забрал мальчика. Он даже не знал, кто...

Вечерами, пожимая на прощание его плечо и произнося привычно-успокоительные фразы, люди расходились, и он оставался один, привыкая к состоянию удушливого одиночества, на которое она обрекла его своим уходом.

Он выпивал полный стакан водки и не раздеваясь ложился на диван. Нужно было заснуть, но он так и не заснул ни в первую, ни во вторую ночь.

Он ждал, что она придет и объяснит, как ему жить дальше без нее. Но она не пришла.

В день похорон шел крупный мокрый снег, дорожки кладбища развезло, и, глядя на ее неестественное, но по-прежнему такое же родное лицо, он поймал себя на мысли, что чаще всего мы думаем не о том, что ушедшие от нас еще могли бы жить, купаться в холодной реке, ездить в метро с дешевым приключенческим романом в руках, любить и ненавидеть, а о том, как мы будем без них...

Сейчас он думал не о ней, о себе без нее.

И эта мысль была настолько страшна и невыносима, что для него теперь не имело никакого значения, кого сегодня погребут в сырую мартовскую землю, а кто останется на этой земле и проделает обратный путь до кладбищенских ворот, которые так необратимо разделяют мир на живых и мертвых...

Он взял няню для мальчика. По рекомендации агентства, за немислимые деньги.

Няня была молода и словно скомбинирована из универсальных частей — плоть от плоти женщина, предназначенная для создания семейного очага. Такие женщины одинаково рационально тратят себя в постели, за обеденным столом и в сутолоке мясных рядов. Одинаково рационально расходуют запас нежности, расписанной на много лет вперед...

— Вам придется пожить здесь, — глядя мимо нее, говорил он, — ходить за мальчиком и вообще, по хозяйству... Временно, конечно...

Он возвращался за полночь, садился на кроватку мальчика, обнимал его крошечное тело и сидел часами.

— Пинку чеси, — сквозь сон просил мальчик.

Он гладил его маленькую спинку, хрупкие камешки позвоночника.

— Сыночек, — шептал он. — Как же мы будем жить, малыш?

Уходил он рано. Задолго до пробуждения мальчика. Он не мог представить, как сын проснется и спросит:

— А мама де?

И он не будет знать, что ответить.

«Мама де?» — сын всегда немножко «съедал» начало и окончание слов, ленился произносить четко. Раньше они ссорились из-за этого...

«Мама де?» — как он боялся этого вопроса.

Как-то ночью, моя посуда на кухне, няня сказала ему:

— Вам нужно вернуться — я не знаю, что ему говорить...

— А что скажу ему я?..

Она не ответила, вытирая руки кухонным полотенцем. Он смотрел на нее и думал: если бы он мог начать все с начала. Хотя бы вот с этой женщиной. С ее универсальной красотой...

Но он не мог, потому что на ее месте сейчас стояла другая и, вытирая слезы мокрой от мытья посуды ладонью, говорила:

— Я понимаю: все это, как в плохой мелодраме...

Так бывало во время их ссор: тяжких, бессмысленных.

Он срывался, кричал, что все это действительно как в мелодраме, что ему осточертело...

— Знаешь, — говорила она, — ты брось меня. Зачем я тебе — такая дура?..

Они не разговаривали днями. И каждый этот день он вспоминал сейчас и не находил себе оправдания.

— Я не могу, — тихо произнес он.

— Чего вы не можете? — повернулась к нему няня.

— Ничего.

Утром он пошел к редактору.

— Отправь меня на Кавказ, — попросил он.

— Смерти ищешь?

— Ищу, — ответил он просто.

— Дурак! А мальчик?..

— Я не знаю, — опустил голову он. — Я не знаю, что ему отвечать. Я боюсь его увидеть... У меня никого не осталось, кроме него, но самого меня тоже нет...

Редактор встал, подошел к окну, прислонился щекой к стеклу.

— Поезжай, — сказал он.

Месяц он мотался по пыльным дорогам Чечни. Но там, где он находился в данную минуту, было относительно спокойно, а колонны попадали в засады и рвались на фугасах в совершенно противоположных местах — и тогда он бросал все и мчался туда. Но когда он приезжал туда — устанавливалось затишье, а война вспыхивала там, откуда он только что уехал.

Он понял: война оставила его для сына, лишив права распоряжаться самим собой.

Иногда во время прогулок он, задумавшись, уходил вперед, а мальчик шел следом, везя за собой игрушечный самосвал на веревочке, в кузове которого хранилось его хозяйство: лопатка, грабли, формочки. Спыхватываясь, он оборачивался назад и спрашивал:

— Сыночек, ты где?!

— С тобой, с тобой, — смешно отвечал мальчик.

С тобой. Он часто думал об этой фразе мальчика. Что случится раньше: его конец или отчуждение сына?

Он боялся только второго — оказаться ненужным, незащищенным его любовью. Боялся, что наступит день и сын скажет: «Знаешь, отец, тебя это, в принципе, не касается...»

Рано или поздно это случится — дети взрослеют и оставляют своих родителей. Но сейчас это казалось ему невозможным.

Он стал для него всем — их мальчик. Как когда-то был всем для нее.

Его материалы ругали на редакционных летучках за отсутствие актуальности и блеска пера, и тогда он попросил о переводе в отдел писем. Он верил, что еще вернется в литературу, когда станет нечем жить, кроме судеб придуманных героев, но собственная боль так глубоко сидела в нем, что он мог писать только о ней, если бы это было нужно кому-нибудь, кроме него самого.

Разбирая письма отчаявшихся людей, он находил их созвучными своему горю, понимая, что на свете случаются беды значительно непоправимее его беды. Но сознание тяжести чужого горя не приносило ему облегчения — он все больше убеждался, что мир сбалансирован из бед и счастья, которое почти неосвязаемо на противоположной чаше весов.

Однажды, когда сын учился в первом классе, он привел домой женщину. Они столкнулись в дверях: женщина и его мальчик.

— Кто это? — прищурившись, спросил мальчик, когда за женщиной закрылась дверь.

— По поводу обмена, — глупо соврал он, убирая со стола следы встречи: остатки вишневого ликера, окурки легких дамских сигарет..

— Какого обмена?

— Как какого? — продолжал бессмысленно выпутываться он. — Ты же растешь... Квартира у нас маленькая — тебе нужна большая комната...

— Папочка! — мальчик бросился к нему, ткнулся лицом в колени. — Миленький, я прошу тебя: не надо никуда переезжать... — Он поднял к нему полные слез глаза. — Здесь жила мама...

Он становился взрослым — их сын.

В школьном дневнике стали появляться обращенные к отцу настоячивые требования учителей с просьбой зайти после уроков. Он не ходил — в школе на него по-прежнему смотрели сочувственно, — и только спрашивал:

— Ничего страшного?

— Да ничего, пап, — отмахивался сын и поворачивался к компьютеру.

Глядя на чужую, с острыми лопатками спину, он думал: «Неужели этот мальчик когда-то отвечал мне: "С тобой, с тобой..." И у меня перехватывало дыхание»...

Он выходил на балкон, курил, смотрел на огни проспекта. Вся жизнь его преследовали блоковские строчки: «Ночь, улица, фонарь, аптека...» Окна напротив...

Вероятно, и в них кто-то терял и обретал за эти годы. И возможно, та женщина на балконе третьего этажа с сигаретой в руке так же одинока и уже ничего не в состоянии изменить в себе самой...

А ночь остается. И улица, и фонарь, и аптека. И окна, и фотографии на стене, среди которых кого-то уже нет, а кто-то переместился в другие стены. Казалось, на время, а вышло — навсегда.

Сейчас он подумал о фонаре — о его спасительной неодоушевленности...

Если бы и его также могли включать и выключать на рассвете.

Да, сын стал взрослым и постепенно забыл о матери. В этом нет ничего предосудительного — прошло больше десяти лет.

Десять лет. Если разобраться, эпоха.

Но почему он за эти десять лет почти не вспоминал ни войну, ни того, как подыхал в госпиталях, ни два инфаркта, после которых чудом остался жив, ни тех, кто ушел до и после нее, а только эти полтора часа и тот теплый осенний вечер, когда они втроем стояли на бал-

коне: он, она и маленький сын на руках, считавший проезжающие машины:

— Отим, тфа, — смешно коверкая слова, говорил он, — фосем...

— Да не восемь, — смеялись они, — а один, два, три, четыре...

— Три, четыре, — старательно повторял мальчик, — фосем...

2001

Сто сорок лет одиночества

Прислушиваюсь к боли в печени. Или почках. Знать бы еще, где что расположено. Это впервые.

Болит глазной нерв. Это давно.

И еще что-то внутри. Много лет. Это до конца.

Я не старый — уставший. Замкнувший сам себя.

Пережил ли я себя? Вряд ли. Просто ушло мое время.

А я остался.

Сквозь меня прошли люди и ушли навсегда. А я по-прежнему гляжу им вслед...

Сегодня мне предложили погадать по руке. Зачем? Я не хочу знать, сколько мне предначертано. Это ничего не изменит для человека, оставшегося в прошлом.

С улицы доносятся звуки совершенно посторонней жизни. Я не могу жить среди этих звуков. И не жить не могу.

Я не могу идти в ногу со временем. Может, потому, что у меня одна нога. А другая — осталась на войне. Сначала казалось — нога, а вышло, что весь я остался там...

Что это — война? Почему каждый день, желая того или нет, ты возвращаешься в пронизываемые ветрами руины сожженного города, в раскатанную гусеницами февральскую грязь, куда с коротким свистом падают одиночные мины и сыпет с неба черный пороховой снег...

Втаптываемые тяжелыми армейскими ботинками, хрустят и жалобно позвякивают под ногами пулеметные гильзы, а звуки далекой канонады наполняют тебя не страхом, а состоянием привычного душевного равновесия...

Вероятно, потому, что война — всегда война. И в прошлом и в настоящем. Меняются цели, совершенствуется вооружение, а солдаты продолжают жить и воевать по первозданным законам: за разорванного противопехотной миной лейтенанта, за высоту, которую надо взять ценой любых потерь, потому что если ее не взять сегодня — завтра потери будут еще больше, за родину, отказавшуюся от своих солдат...

Родина отказывается от солдат, а они продолжают воевать без знамен, без святой правды — за последнюю оставленную товарищем затычку, за поделенный на двоих глоток теплой водки, за что-то, обретенное только здесь, на дне холодного, заливаемого дождями окопа, под перечеркнутым трассерами чужим небом...

И это что-то, не передаваемое словами, остается с тобой на всю жизнь, до последнего дыхания, как самое главное и неизбежное. Потому что, как это ни противоестественно, но здесь ты был счастлив. Может быть, единственный раз.

Так и жил: от войны до войны. От командировки до командировки. От страха и неустроенности этой жизни до той высоты, к которой шел с высоко поднятой головой, держа руку на предохранителе автомата...

На моем столе фотография совершенно чужих людей. Я купил ее на блошином рынке за пятнадцать рублей.

— Эти люди — кто они? — спросил я у совершенно спившегося человека.

Фотография лежала на земле среди стоптанных ботинок, перелицованного пиджака и десятка грампластинок.

— Не знаю, — соврал он. — Не мое это...

— Не твое, — согласился я. — Теперь тебе это не по карману.

— Тебе-то по карману? — не понял меня он. — Бери — не за стольник отдаю.

Чего я от него добивался?

— Послушай, хрен с ними, со шмотками! Но это же люди! Ну, пропешь ты через полчаса эту пятнашку, дальше то что?..

Он бы давно послал меня, если бы не пятнадцать рублей — два стакана портвейна. У него была своя правда, и мне было не дано постичь ее, так же как ему — мою.

— Тебе-то какая разница... — мрачно сплюнул он.

Действительно, какая разница, — подумал я, — если за те несколько минут, пока я стоял под дождем и вглядывался в чужие лица, они успели войти в мою жизнь и занять свое, будто специально отведенное для них место.

Так и стоят на моем письменном столе снятые в двадцать шестом году мать, отец и мальчик трех лет с предсмертными глазами Пьеро.

Давно ушли и отец и мать. И мальчик с такими глазами вряд ли уцелел на войне. Но они живут в моей квартире, а живые — не задерживаются...

Квартира на пересечении дорог — через нее проходят люди, не предъявляющие друг другу взаимных претензий. Звонят в дверь, произносят дежурные фразы, пьют кофе на журнальном столике и уходят, не оставляя следа...

Толстой мечтал бежать к духоборам и в конце жизни ушел из дома, чтобы умереть на далекой железнодорожной станции. Чем было продиктовано это стариковское, почти безумное стремление к одиночеству?

Неудовлетворенностью прожитой жизни? Страхом конца? Предчувствием истины?

Почему в свои сорок я неотступно думаю о том же? О незнакомых городах, стакане холодного чая в редакции заводской многотиражки, брэнчании расстроенной гитары на слова и музыку местного автора...

Что мне в тех городах? Душевный покой, которого я не сумел обрести здесь? Служение литературе, не отягощенное праздностью, обустройством быта, шлейфом затянувшихся отношений?.. Возможность записать то, что, казалось, успеешь записать всегда?

Не знаю.

Знаю, что города останутся городами, а я останусь в своем многоэтажном колодце с видом на искусственный, затянутый бетонными берегами водоем и непроходящей тоской по жизни, которой, увы, не сбыться...

Где-то далеко, за пределами Московской кольцевой, — дом окнами в лес. Я мечтал о нем много лет. «Здесь лапы у елей дрожат на ветру...» И подпирают небо кроны корабельных сосен.

Здесь пишется о вечном.

Но что-то не так... Вероятно, потому, что в октябре я должен сдать ключи. Это не мой дом.

Долги, бессонница, исписанная медицинская карта, страх завтрашнего дня — это мое.

А угла своего, медвежьего угла, где можно выключить свет и слушать звуки ночного леса за окном, — нет. И уже, наверное, не будет.

Когда-то казалось, что купить землю, построить на ней дом, вырастить сад — слишком долго и суетно. Все эти ломанные крыши, думалось мне, обрезные доски, артезианские колодцы непременно будут отвлекать меня от главного, моего единственного предназначения — литературы.

Теперь я боюсь не успеть...

А главное давно стало второстепенным. И все стремительнее и безжалостнее стираются временем когда-то такие осязаемые черты предназначения...

Так и нижется строка к строке. Вроде бы в разном...

Мне говорят:

— Что вы все о плохом да о грустном. Какой-то вы пессимист, ей-богу.

Пессимист, оптимист...

Я всего лишь воспринимаю жизнь по-своему. Кто-то иначе. Я — так.

Но оказывается, необходим счастливый финал, а к финалу — весело, с огоньком, сея расхожие шуточки-штампы на ходу, как когда-то разумное, вечное... И зло наказуемо. И монологи попроще. По существу, одним словом.

Писатель должен удовлетворять потребностям публики. Такая вот сегодня доктрина.

Не хочу я удовлетворять потребностям публики. Не читайте, не печатайте.

Не читают. Не печатают.

Молодые предприимчивые экономисты в издательствах перечеркивают твою рукопись зловещим словосочетанием: «Не рентабельно».

И разбиваешься об это словосочетание, как корабль о рифы, и идешь ко дну нерентабельным грузом, и не выплывешь, как бы ни бился...

Это в детстве учат плавать, бросая с лодки в глубокую реку. Нам учиться выплывать поздно.

А плыть уже невозможно...

И не плыть...

Вот и тащится утлое, проржавевшее суденышко, пыхтит почерневшей трубой, гудит жалобно... И не страшны ему ни отмели, ни штормовые предупреждения — все равно в порту приписки на металлолом отправят.

За ненадобностью.

Год назад успел снять картину под названием «Сочинение на уходящую тему». Еще успел...

О тех, кто уходит, забирая с собой мое ощущение жизни.

Уходит стремительно и неумолимо. Словно, не выдержав, пронзительно зазвенела и лопнула последняя струна.

Люди сорок пятого — они вынесли самое страшное и еще трижды сверх того, но так и не смогли вынести пренебрежения к себе...

Они отломали такую войну, так высоко прожили свою жизнь... И вдруг выяснилось, что этого можно было и не совершать, все постепенно образовалось бы само собой — путем естественной эволюции...

Сегодняшний парад Победы — без них. Без победителей. Говорят, они слишком стары. Им уже не выдержать долгих часов тренировок, не пройти стройными рядами вдоль трибун мавзолея...

Но разве всей своей жизнью они не заслужили права один раз пройти не в ногу?.. Как когда-то на марше, засыпая в строю и опираясь на плечо товарища, которого уже давно нет в живых...

Или они больше никому не нужны?..

С кем мы останемся, когда закроется дверь за последним из них? Кого сможем спросить: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?..»

Они уходят. Мы остаемся.

Сами для себя.

Себестоимые.

В любую погоду я укрываюсь толстым, сшитым из ярких лоскутов ватным одеялом.

Мне не холодно — беззащитно.

Мама попросила бросить деньги с веранды. Свернул пятисотрублевую бумажку и бросил вниз. Она развернулась в падении и легла между сосен вызывающим, несовместимым с окружающим миром пятном.

Жизнь — цепь бесконечных несовместимостей. Жил как умел, хотел сделать многое. Не сделал почти ничего. А сорок моих лет уже на исходе, и никто пути пройденного мне не вернет.

Почему последнее время я ищу истину в себе? Потому что не нашел ее среди других...

Почему мои истины так несхожи с основными библейскими заповедями?

Потому что нарушение этих заповедей и есть жизнь?

Зачем мы так истово молимся, если вся наша жизнь — история грехопадения. Чего мы будем ждать в преддверии Страшного суда? Прощения? Милости? Откровения?

Я не нашёл истины среди других, я не нашел истины в себе — возможно, потому, что ее нет. Есть ощущение истины, к которому мы приближаемся всю жизнь и уходим, не приблизившись...

Интересно, к какому жанру отнесут мои поиски истины? К авторской литературе?

Есть же такое определение: авторская песня. Будто у других песен нет авторов...

Россия вообще страна определений. Здесь они выдаются единожды и навсегда.

Режиссер снял фильм о войне — следовательно, он военный режиссер. С ним говорят только о войне, ждут только военных фильмов. А он снимает «Три сестры», и они у него получаются по той простой причине, что он режиссер.

Но определение?.. И картину ругают за нераскрытие чеховского образа, непроживаемость, неатмосферность и еще десятки «не», которые всегда под рукой. Ругают, не забывая иронично заметить, как осязаемо вышли в картину персонажи офицеров вершининского полка. Прежде всего, Соленого, разумеется...

Так и читай между строк: тебе удаются образы военных — вот и снимай про военных, а Чехов...

Война и Чехов — темы, требующие особой цензуры. Вплоть до выдачи удостоверения на право постановки.

Вероятно, потому, что ужас войны и трагизм чеховского повествования — в обыденности происходящего. В том, что рано или поздно мы принимаем категории, которые, казалось бы, принять невозможно.

Любая тема требует от тебя максимальной отдачи, но эти... Их либо ощущаешь, либо нет.

Почти никому не удалось передать чеховскую атмосферу. Может, ее в нас и не было?..

Но тогда как же гости, пьющие чай на летней веранде, сад, река, шум поезда вдалеке? Чай с мятой, потрескивающий самовар, коньяк от Шустова, сломанная ветка рябины на столе, пошлые однообразные глупости...

И вдруг у одного из них что-то обрывается внутри — он умирает. Нет, он по-прежнему опускает сахар в блюдечко, закуривает папиросу, гаерствует, но его уже нет среди них — в глазах не заметная никому обреченность...

Как у Горького: «Ветеринар удавился».

Так и мы: жили тяжело и разное, счастливо и не очень, замечая друг в друге, казалось бы, незначительные перемены, чаще не замечая... И умирали внезапно.

Жили так. А кино не сняли.

Теперь уже не снимем. Обертону необратимо уходят в прошлое — жизнь принимает слишком конкретные материальные очертания.

Тетка моя перед смертью говорила: «Самое страшное, что там уже ничего не будет. Души нет — мы ее растратили здесь».

Тогда, семь лет назад, ее слова показались мне неправедными, от предсмертной тоски, что ли...

Что такое семь лет? Для сотворения — ничего. Для разрушения — эпоха...

Непроходящий отпечаток война оставила во мне не выматывающим свистом мин, не перепыхиваемым залповыми установками огня плацдармом земли всего в каких-то ста метрах от меня, не тяжелым ранением, не очередью из крупнокалиберного пулемета, прошивающей насквозь беззащитную обшивку вертолета, а коротким и ярким, как трассер, росчерком пущенной щелчком сигареты — ночью, за несколько минут до конца...

Помню свою неприкрытость, уязвимость, невзирая на оружие, боекомплект, дыхание товарищей рядом... Слово в чистилище — один перед Богом, одному и ответ держать.

И бросил эту сигарету тот, кто через мгновение должен был прийти и убить нас, и мы ничего не могли ему противопоставить. А вот не убил же...

Не убил. А ощущение превосходства, вседозволенности, воплотившейся в росчерке небрежно брошенной сигареты, щемящее, сосущее под ложечкой сознание своей незащищенности осталось навсегда...

Давно это было — восемь лет назад. Как вчера...

Я знал его еще с войны. Милый, симпатичный мне человек. Он жил не оглядываясь, год за годом. Пил, не вдаваясь в суть подробностей, окружая себя неумными, внутренне нечистоплотными людьми.

И вдруг инфаркт. Страшный, почти смертельный. И он, еле передвигающийся по палате. Три неуверенных шага — от больничной койки до окна. И три назад.

— Ты знаешь, — рассказывал он, — такое безумное жжение в области груди... Я думал, гастрит, может, язва, а оказался инфаркт... Надо было сразу же нитроглицерину выпить — может, и ничего бы, но это мне уже здесь объяснили...

Он замолкал, глядя себе под ноги.

— Еще бы немного, и все...

Я слушал его и думал: «Господи, о чем мы говорим. Три дня назад, когда он лежал в реанимации, умерла его мать. Где-то далеко, на Украине. Одна в нетопленной хате, на краю большого села».

Ее похоронили соседи. Но говорить ему об этом было нельзя, и мы трепались о чем угодно, лишь бы не травмировать его надорвавшееся сердце.

Мы рассказали ему о матери через месяц.

— Выпей, — ему протянули стакан коньяка. — Выпей, сейчас можно.

Он принял коньяк дрожащими руками, и я впервые услышал, как жалко дребезжит о зубы стеклянная кромка стакана.

— Я чувствовал, — говорил он, — чувствовал: что-то не так... В тот день мне снились журавли... Улетающие журавли... Уже лежит снег, холодно, и я понимаю, что они не успели улететь и могут погибнуть, и тогда одна журавлиха...

Он плакал, не чувствуя слез. И я пальцами снимал их с его впалых щек.

— Одна журавлиха опустилась на землю и оставила мне журавленка...

— Это она тебе ангела оставила, — сказал кто-то.

У нас в глазах стояли слезы. В продуваемом госпитальном парке. Под тяжелым, без журавлей небом. После войны.

— А зачем он мне теперь, ангел...

Странные эти записки. И пишу я будто для себя. А потом выясняется, что необходимо с кем-то поделиться. И чтобы было это самое сокровенное в хорошем коленкором переплете, тиражом не менее пяти тысяч...

Неожиданно, после изматывающей духоты, хлынул ливень. Машины включили ближний свет и шли по асфальту, тяжело разбрызгивая воду. Дождь, стоявший сплошной стеной, проникал в приоткрытое окно холодной летней свежестью.

И вдруг показалось, что все это как тогда — в летнем Харькове, тридцать с лишним лет назад. И расплывчатые очертания машин, и ближний свет, и проливной июльский дождь, смывающий приметы времени.

Сейчас, стаскивая на ходу трехрублевый целлофановый плащ-дождевик, я ворвусь в квартиру, и бабушка, взъерошивая волосы, будет обтирать меня сухим баннным полотенцем, а дедушка, зябко потирая руки, время от времени открывать дверцу буфета, выпивать рюмку коньяка и повторять:

— Сережке бы сейчас было кстати...

Потом меня сажали за стол, бабушка доставала из кастрюли горячую, дурмящую запахами кукурузу, смазывала ее маслом, натирала солью, и я ел, блаженствуя и глядя в окно на заливаемую дождем улицу, бегущих прохожих, падающие и разбивающиеся у земли каштаны, которые так любил собирать после дождя.

И мне совсем не хотелось взрослеть.

Еще мы бродили по лужам ночного Таллина.

Мама снимала туфли-лодочки, погружая ноги в бурлящие на узких улочках потоки воды.

— Смелее, сыночек, смелее...

И казалось, что Старый Томас смотрит в нашу сторону. А это когда было? Уже не вспомнить.

Даты не откладываются в памяти, а ощущение счастья непроходяще. Того счастья.

Помню книжку про эстонского мальчика, сына рыбака. С трудно произносимым именем, которое не мог

выговорить. И как плакал — помню. Перечитывал и плакал.

И как потом не любил Достоевского. За беспристрастие.

А еще была книжка «Катруся уже большая». Про Катрусю, которой исполнилось пять лет, мама будит ее и говорит: «Вставай, Катруся, ты уже большая».

Что-то было в этой книжке, заставлявшей меня вспоминать о ней, пока спустя много лет я не нашел и не перечитал «Катрусю».

И оказалось, что «Катруся» — самая обыкновенная детская книжка, которую невозможно снять с полки и перечитать в любом возрасте, как Киплинга или Гайдара.

Просто тогда я был таким.

Говорят, все мы вышли из гоголевской «Шинели». Возможно. Но с тех пор ушли так далеко.

Мы вырастаем из своих книжек, все ближе и ближе подбираясь к ощущению истины. И этим, прежде всего, мы обязаны книгам, из которых выросли.

Мы оставляем свои книги идущим следом, как неразрывную связь времен. Но им они оказываются не нужны. И потому мы говорим на одном наречии, совершенно не понимая друг друга...

Когда впервые прочел «Сто лет одиночества», почувствовал такое опустошение, словно из меня выпотрошили внутренности, положили на хирургический стол и сказали: «В принципе, мы можем все вернуть на место...»

И я равнодушно созерцал свое быющее, казалось, уже ненужное сердце...

После войны, в госпитале я перечитал Маркеса и не ощутил ничего.

Сто лет одиночества. Плюс сорок моих. Только и всего.

Я прожил свои сорок лет одиночества и продолжал жить дальше, все больше отдаляясь от чужих, уже не занимающих меня страстей.

Я пережил Маркеса и понял, что теперь мне необходим другой писатель — я сам. Для себя-читателя только я смогу написать то, что необходимо на этом отрезке жизни. А на следующем напишу другое...

С тех пор живут во мне писатель и читатель, изнуря друг друга повышенной требовательностью...

А дети порой оглядываются и смотрят так, что ради этого можно бросить все...

Но не бросаешь, потому что знаешь: скоро они вырастут и начнут оглядываться совсем в другую сторону...

А еще есть женщины с удивительно красивыми открытыми лицами. В рыбацких деревнях на Балтике. И дюны. И сосны, наклонившиеся от штормовых ветров. Бесконечные ряды идущих на тебя сосен...

В бою необходимо передвигаться стремительно, резко подавшись вперед. Падать, перекатываться, меняя позицию, и снова бежать, и снова падать... Тогда у тебя есть шанс уцелеть.

В тактике наступления это называется «бег короткими перебежками».

На тактических занятиях я выматывал короткими перебежками свой взвод, заставляя его падать, глотая серую пыль, перекатываться, ползти по-пластунски, вставать и снова падать по моей команде.

— Зачем это все, товарищ сержант?! — ненавидя меня, спросил один из солдат. — Какая еще, к черту, война...

Это было летом восьмидесятого года. Уже полгода шла афганская война, о которой, по большому счету, мы ничего не знали.

Пригодились ли им мои уроки выживания? Мне — нет.

Через пятнадцать лет пуля снайпера настигла меня в разбитом Грозном, где не было линии фронта, бега короткими перебежками, где свои стреляли по своим, а чужие добивали в спину. Где каждый выживал, как умел...

И это место, как и тысячи других мест, перепаханых штурмовиками и огнем тяжелой артиллерии, возможно, никогда не явит миру ничего, кроме останков сторевшей бронетехники и неразорвавшихся мин. И уж что совершенно точно: никогда на месте этих пепелищ, в память о погибших солдатах, не вырастут наклонившиеся вправо сосны. Такие как на Балтике — живыеobelisks тем, кто лег под Кенигсбергом...

Женщину звали Машей, и она улыбалась каждому движению руки. Немного скованно.

Может, потому, что работа официантки в уютном ресторанчике на балтийской косе была не ее работа. Скорее, ее место было там, на рыбацком баркасе, в просолен-

ном комбинезоне, выбирающей трал сильными, неженскими руками, но вместо этого она изо дня в день подавала на стол копченого угря, которого заказывал каждый второй посетитель, и пьяные немецкие туристы кричали ей вслед:

— Гут, фройлен! Зер гут!

Еще я подумал, что кто-нибудь всю жизнь ищет вот такую Машу-поморку и не находит, а если найдет, это уже ничего не изменит. У нее любящий крепко выпить муж, семеро по лавкам — все как у Христа за пазухой: обстираны, ухожены, накормлены...

И лишь шум моря за окном иногда напоминает о другой жизни, зовет в далекие города, но все реже и реже...

Таких женщин любил писать Ренуар. Крепких, налитых, с вызывающей жаждой жизни.

Я помню ренуаровских женщин с юности. С того момента, как я и мои сверстники, как бы помягче выразиться, начали ощущать влечение к противоположному полу. Я сознательно не использую определения «половая зрелость» — есть в нем что-то, не стыкующееся с нами тогдашними.

В сущности, мы росли аскетами.

Разумеется, нам был чужд фанатичный аскетизм Рахметова, как, собственно, и сама идея Чернышевского, изложенная вопиюще бездарным языком.

Я тогда уже начинал чувствовать литературу и, возможно, поэтому неожиданно для себя восстал против Чернышевского, оформив свой протест следующим образом:

«Роман Чернышевского “Что делать?” я не читал. Так как, при всем желании, не смог прочесть больше семнадцати страниц.

Однако считаю величайшей глупостью не пить вино и не любить женщин. Владимир Ильич Ленин, которого я очень уважаю, пил вино и был женат».

Мне вкатили двойку, невзирая на спасительное присутствие Ленина в данном опусе, раз и навсегда дав понять, что никому не позволено посягать на моральные догмы социализма.

Я и не посягал. К стыду своему, к чести ли, но это был мой единственный вызов существующей власти. И восстал я не против режима, а против того удручающе безли-

кого идеологического оружия, которым пользовался режим. Меня как будущего литератора задели за живое.

Тогда умели задеть за живое. Чернышевским, Асадовым, романами Маркова...

Мы рефлексировали, рвали на груди осыпанные пеплом рубахи:

— Какого черта! Это же примитив! Как можно было вообще написать такое?..

Сегодня «такое» пишут все. И это давно никого не задевает.

Мы возмущались Марковым и плакали, узнав о смерти Брежнева. Что ж, это было. Оглядываясь назад, многое теперь кажется нелепым и диким, но тогда это было так.

Мы не противопоставляли себя власти потому, что хорошего в ней было больше, чем плохого. Хорошее, так и не сумев оценить, мы оставили в прошлом, плохое взяли с собой.

Так и живем, словно изо дня в день просматриваем застывшую киноленту, в которой не уцелел ни один кадр с обыкновенным человеческим лицом...

И все-таки мы росли аскетами. Мучительно долго краснея, ухаживая за девочками своего, в крайнем случае, параллельного класса — дальше школы наша фантазия не простиралась. А уж представить наших девочек раздетыми, вот так, без всего — было верхом свободымыслия.

К счастью, страницы журналов тех лет еще не пестрели фотографиями обнаженных поп-див, и получить представление о красоте женского тела мы могли, лишь просматривая иллюстрации мастеров живописи, пока однажды я не ощутил, что меня зацепило что-то помимо обнаженной натуры. Так вошли в мою жизнь проливные дожди Писарро, петербургские дворы Добужинского и очарование Пиромани...

Тогда я еще не понимал, что человечество интересуется не полотном как таковым, а неординарностью образа творца, стоящего за этим полотном. Отрезанное ухо Ван Гога и хромовые сапоги Шемякина принесли им мировую известность. Полотна же тех, кто окунал кисти ради вечности, пылятся в запасниках районных музеев.

Номинальная стоимость на аукционе Сотби в конечном итоге определяет, кого из художников явить миру как не-

пререкаемый постулат, а кого, в связи с очевидной неликвидностью, предать забвению.

Немыслимые, почти мистические по своим тонам пейзажи Каспара Давида Фридриха, которые он успевал вырывать из мироздания, практически не увидены человечеством, а бредовые, как тягостный сон наркомана, воспаленные фантазии Босха вот уже не одно столетие шествуют по миру, не неся в себе ничего, кроме разрушения.

Живопись — это то, что ощущаешь каждым нервным окончанием. Размытые очертания соборов и далекие берега, на которые хочется ступить ногой, явственный шум прибоя на безмолвном полотне, люди, зовущие за собой...

На моей стене картина: «Подмосковная станция. 1959 год». Художник Н. Пауков.

Где он теперь, этот Пауков с абсолютно не соответствующей художнику фамилией? Жив ли?

А станция осталась. Обычная подмосковная станция из сотни таких же Вязем и Подлипок. Лавка с местами облупившейся краской, основательные, как сама эпоха, вокзальные часы, женщина на легкомысленных шпильках, приоткрывающая дамскую сумочку, студент, похлопывающий газетой по руке, провода электрички...

Вот, собственно, и все. Казалось бы, что мне в той станции? Какая художественная ценность?

Но нестерпимо хочется надеть пиджак с узкими лацканами, обуженные брюки до щиколоток, на фоне которых так отчетливо выделяются остроносые аспидно-черные полуботинки, начистить до блеска институтский «ромбик» и, похлопывая свежим номером «Вечерки» по ладони, выкуривая очередную папиросу-гвоздик в ожидании электрички, быть счастливым только одним: покоем и безмятежностью завтрашнего дня.

Мимо бегут электрички — ко мне сегодняшнему, — а я остаюсь.

Живопись — это и ностальгия.

Ностальгия не всегда приходит потом. Сегодня она приходит с ощущением будущего, парализующего своей неопределенностью.

Когда я укладываю своего трехлетнего сына и он обнимает меня ручонкой, глядя по бритой седой голове, — я чувствую себя защищенным его руками.

Сорок лет назад так же обнимала и гладила мать. Вероятно, обнимала бы и сейчас, да как-то нам обоим неловко — она не молода и я не мальчик... Мы и говорим-то больше иносказательно.

Мой мальчик, моя звездочка обнимает меня, крепко прижимая к своему крохотному тельцу, и улыбается во сне — ему ничего не страшно рядом с таким большим и сильным человеком, как его отец. Он пока не знает, что его отец сам нуждается в защите. В защите этих маленьких ручек с неровно подстриженными ноготками.

Он и не узнает этого никогда. Скоро наступит время, когда я перестану прижиматься к нему, потому что дети всегда должны быть уверены, что самым мужественным и справедливым человеком на свете является их отец.

А отцам... А отцам до безумия хочется нежности.

И лишь у какой-нибудь тихой заводи, допивая водку из походной фляжки и глядя на одинокий, обдуваемый теплым ветром метроном поплавок, можно отпустить себя и, уронив голову на руки, заплакать о прожитой жизни, где тебе всего хватило сполна, кроме нежности, отпускаемой такими скупыми долями, словно она покоится на дне глубокого колодца, в очереди к которому можно простоять всю жизнь.

Сколько мне осталось этой нежности? Два, ну, три года, а потом? А потом сын вырастет и с точностью до жеста повторит путь своего отца.

Сыновья обречены повторять путь своих отцов. И этот круг обреченных бесконечен.

Круг обреченных... Какие явственные очертания он принял для меня.

Я ехал по Кольцевой дороге куда-то по важному делу, и в эту минуту позвонила Вера.

— Мама умерла! — закричала она. — Сереженька! Сережа!

Утром мама пошла в сберкасса. На улице у нее остановилось сердце...

Умерла Верина мама. Но сейчас я думал не о ней. О Вере. Как она там со своей болью?

Нам было необходимо свернуть с кольца и мчаться обратно, но мы стояли. По противоположной, разделенной бетонным поребриком стороне, в сопровождении джипов охраны и эскорта мотоциклистов, шла нескончаемая ка-

валькада черных правительственных «мерседесов». Одни по совершенно пустой трассе. С включенными габаритами при свете яркого летнего дня.

«Как она со своей болью»? — под вой сирены думал я.

Как вырваться из замкнутого круга? Может, достаточно выйти из машины, перешагнуть поребрик и оказаться на той, свободной от предрассудков стороне, не ощутив ничего, кроме пустоты...

И я остался в круге обреченных. Теперь уже навсегда.

Я тискал эти записки долго. В разных местах. Дописываю сейчас, в госпитале перед очередной операцией.

Через два дня мне дадут тринадцатый по счету общий наркоз. Тринадцатый за семь лет.

Помню, как отчаянно боялся первого наркоза и, погружаясь в тягостную бездну безмолвия, думал только об одном: «А если не вернусь? Если?..»

Потом привык. Не к наркозу — к ощущению утраченной связи с окружающим миром. Что он мне? Что я ему?

Что мы друг другу?

При госпитализации попросили составить список постоянных посетителей для бюро пропусков.

— Не более десяти человек, — строго предупредили меня.

Я написал семь. Затем одного вычеркнул.

— К тебе же постоянно толпы ходят, — заметил лечащий врач.

Что я мог ему ответить? Что именно в толпе человек одинок как никогда. Что это и есть самое разрушающее, самое невыносимое одиночество — публичное.

Впрочем, это уже не мои истины.

Я бы добавил в этот список Верину маму, Володина, Глузского, Лешку Грачева, моих товарищей, разорванных полутонным фугасом у развалин Софедцанга... Но никого из них уже не было в живых.

Почему ушедшие всегда ближе живых? Потому что их уже не вернуть?

Но мы же достигли того критического перелома, когда день сегодняшний не обязательно продолжается завтрашним. И кто знает, кого мы не досчитаемся следующим утром.

В среднестатистической человеческой жизни всего два с небольшим миллиарда секунд. Ежедневно мы размени-

ваем их на склоки, ложь, сутяжничество, безвкусицу, предательство...

Нам уже не научиться любить друг друга — хотя бы не задевать локтями.

Меня вновь зовет война. Война ли? Или то самое необъяснимое, обретенное на узких тропях памирских гор, где не было ничего надежнее спины идущего впереди товарища в промокшем насквозь, белом от пота камуфляже со стертymi капитанскими звездами на мятых погонах...

Вру. Не это меня зовет. А что-то такое, совершенно детское, не поддающееся осмыслению.

Хочется одного: вернувшись после долгих скитаний, взять такси, доехать до Речного вокзала, сесть с холодным графином водки на террасе ресторана и смотреть на заходящие в гавань пароходы. И не думать ни о чем.

Конечно, это должно быть летом, где-нибудь в августе, и на одном из пароходов должна плыть мама.

Пароход зайдет в порт и будет долго пришвартовываться среди таких же неповоротливых посудин, опасно задевая их бортами. Наконец спустят трап, мама сойдет на пристань и скажет:

— Сыночек...

И это будет истина.

Ловцы жемчуга опускаются за истиной в непредсказуемую глубину коралловых островов. А истина лежит на поверхности — занесенным случайным ветром первым осенним листком на глади сонной реки. Еще не закончилось очарование лета, а первый осенний лист уже медленно плывет мимо нас по течению реки, именуемой Время...

2002

ЕВДОКИМОВ

Выходные Евдокимов проводил на кладбище. Приезжал рано утром, был дотемна и уезжал с последним рейсовым автобусом. Это в субботу.

В воскресенье Евдокимов приезжал к обеду, когда иссякали толпы родственников и крадущимися тенями вползали на кладбище злобные мародерствующие старухи, подбирающие с могил цветы и венки на продажу.

Старухи, привыкнув к Евдокимову, внимания на него не обращали: возится себе на заброшенных аллеях какой-то юродивый, и Бог с ним. Евдокимов старух тоже не трогал, понимая, что мораль здесь давно преступила грань добра и зла и все, на что он может рассчитывать, — получить выразительную, перенасыщенную проклятиями матерную отповедь.

В рюкзаке у Евдокимова лежал моток стальной проволоки, детские грабли, садовые ножницы, топор, пассатижи и купленная у подвыпившего военнослужащего саперная лопатка. Иногда к рюкзаку добавлялся мешок цемента в потертой хозяйственной сумке, мастерок и банка краски. Песка же и воды на кладбище было хоть отбавляй.

Сначала Евдокимов подправлял и увязывал проволокой развалившиеся ограды, полол сорную траву, восстанавливал цементные бордюры клумб. Затем мокрой тряпкой с песком тщательно оттирал затертые временем надписи могильных плит, покрывал краской облупившиеся поверхностиobelisks.

Особенно тщательно, предварительно ошкулив, покрывал Евдокимов краской выцветшие звезды наobelisks.

ках. Звезды после этого алели ярко и несозвучно торжественно и еще долго были видны в наступающих сумерках.

К полудню Евдокимов управлялся с делами, доставал из рюкзака чекушку, хлеб, крупную луковицу и кусок улежавшегося сала. Выпивал граненую стопку водки, закусывал круто посоленной луковицей, долго и равнодушно жевал бутерброды. Потом затыкал горлышко бутылки газетным клепом и аккуратно укладывал в рюкзак — до выходных.

Горячими настойчивыми толчками водка растекалась по телу, Евдокимов доставал папиросу, разминал сухой табак и, прислонившись к чиненной ограде, закуривал. Сделав несколько затяжек, прикрывал глаза и сидел так час-полтора — спал.

Это летом.

Зимой Евдокимов на кладбище не ходил. Он ненавидел зиму.

В декабре восемьдесят третьего Евдокимов замерз в горах Полярного Урала. Под вечер, на возвышенности, посреди голой заснеженной тундры у «КРАЗа» заклинило движок. Исправить поломку Евдокимов не смог, и спастись не представлялось никакой возможности — морозы стояли под пятьдесят.

Обнаружили его утром следующего дня водители «наливников». Обмороженного, но еще живого.

Евдокимову ампутировали обе ступни, по два пальца на каждой руке и мучительно больно лоскутами сдирали с лица обмороженную кожу.

Узнав о случившемся, жена Евдокимова сложила все сильное имущество и, забрав пятилетнего сына, ушла. Да и не жена она была Евдокимову — жили вместе, не расписываясь. И ребенок этот был ее ребенком.

Вернувшись домой, Евдокимов смастерил тележку на четырех подшипниках и, отталкиваясь деревянными чурками от разбитых мостовых, ездил по городу — искал жену. Хотел вымолить у нее мальчика в обмен на все свои северные заработки, квартиру...

Женщину эту Евдокимов так и не нашел — она уехала в другой город, никому не оставив адреса, а мальчик — тихий, больной, с худыми ключицами и лазуритовыми глазами, до боли родной и любимый — всю жизнь стоял перед глазами.

Мальчик говорил ему:

— Папонька...

— Котенок мой ненаглядный, — зацеловывал его стриженную голову Евдокимов.

Он любил мальчика, как любят сумасшедшие матери единственного, рожденного в тяжких муках ребенка. Любил до нервной дрожи, трясся над ним, бережно прижимал по ночам — плоть от плоти, кровь от крови, пусть не его.

И потому матери его — пьющей, густо крашенной, неверной — все прощал.

Родителей Евдокимов не помнил. Вероятно, они погибли в войну, о которой у него остались самые обрывочные воспоминания. Память выхватывала только низко идущие над землей самолеты и удушливое тепло женского тела, подмявшего его под себя. И как мучительно тяжело, задыхаясь, выбирался он из-под этого уже мертвого тела. Наверное, женщина, закрывшая Евдокимова своим телом, и была его матерью.

Мальчика — плачущего, замерзшего, прижавшегося к телу убитой женщины, — подобрали беженцы и сдали в приют ближайшего тылового города. В приюте ему дали фамилию Евдокимов.

А может, родители Евдокимова были живы и много лет искали его, пока не смирились с необратимостью утраты. Так же, как много лет искал своего приемного сына Евдокимов.

Найти — не нашел, а думал о нем постоянно. И хотя понимал, что мальчик давно вырос и, скорее всего, забыл отца, с которым прожил чуть больше двух лет, по-прежнему вспоминал его маленьким, у себя на коленях, обнимающим теплыми ручками, нежно и беззащитно выдыхающим:

— Папонька...

И деньги со своей мизерной пенсии откладывал ему каждый месяц: на пальто, коньки, велосипед... Так и лежали десятками разных купюр, пока не уничтожила их реформа.

Семью Евдокимов, конечно, мог завести. Протезы ему делал великолепный мастер — ходил так, что не сразу и догадаешься. Да и отсутствие пальцев на руках — не такое уж уродство. Но как представлял себя в квартире чужой женщины, снимающего протезы и ползущего на коленях до постели, где она в несвежем белье, густо крашенная, нетрезвая, так похожая на ту, отобравшую у него все...

Да и не представлял он другого ребенка, и боялся: вдруг опять отнимут так же больно, подло, невосполнимо...

На кладбище у Евдокимова никого не было. Как-то забрел случайно, посидел на колченогой скамье в тени понеземному раскидистых крон, послушал умиротворенное пение птиц и на следующий день пришел вновь.

С тех пор ходил каждые выходные. То ли примерял себя к другой жизни, то ли хотел постичь что-то через вечность. А скорее потому, что кладбище оказалось единственным местом на земле, где было Евдокимову спокойно и не одиноко.

За могилами ухаживал. Сначала мимоходом поправил что-то, сорняк выдернул, пустую бутылку подобрал... Однажды подумал: а вдруг под этими покосившимися обелисками отец и мать лежат. А если не мои, то чьи-то. Такие же осиротевшие.

Еще думалось: умру, один, никому не нужный, похоронят за счет домоуправления на самой дальней аллее, воткнут табличку, и никогда, никто... Может, когда ухаживал за могилами, и о себе думал.

И еще верилось — ничего не мог с собой поделаться, верилось, и всё, — что однажды придет на кладбище мужчина, опустится на колени у его могилы, прикоснется к влажной земле и тихо позовет:

— Папа... Папонька...

Было это по-детски глупо и наивно, а думалось неотступно. И не вера это была — мечта. Евдокимов стыдился этой мечты, гнал ее от себя как несбыточную, никому и никогда не посмел бы признаться в своих мыслях, да и себе не всегда... И продолжал надеяться. Ведь может же такое случиться. Когда-нибудь. Может.

Проснувшись, Евдокимов собирал инструмент, убирал за собой и шел домой.

Звали его Павлом Петровичем. Он умер через семь лет.

2004

Розовый язык алабая

Когда Евгению Николаевну спрашивали, что было в ее жизни, она вымученно, словно по прейскуранту, отвечала:

— Роли были. В кино и в театре. Особенно в БДТ у Товстоногова. Правда, всего два сезона... В кино около сорока ролей. Правда, удачных всего семь. Вру, восемь. Дочь выросла, Катя. Как-то сама по себе. Ей уже девятнадцать... Детство было счастливое. В Киеве. С отцом и матерью. Отец военный...

— Ну, а ваш курс, — подсказывала докучливая корреспондентка, — в институте театра, музыки и кино. Студенты...

— Курс, — повторяла за корреспонденткой Евгения Николаевна, — студенты. Способные ребята...

Корреспондентка выключала диктофон.

— Вы меня извините, Евгения Николаевна, но с вами невозможно разговаривать. Вы заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств — неужели вам нечего рассказать о своей жизни?

— Нечего, — бесстрастно отвечала Евгения Николаевна.

— Но как же так... — растерянно говорила корреспондентка.

Евгения Николаевна доставала из буфета бутылку вина, стаканы, вазочку с конфетами.

— Давайте лучше выпьем, — предлагала она. — А интервью возьмете у кого-нибудь другого. Я — персонаж довольно скучный и однообразный. Да и популярность моя, скорее, история.

Она откупоривала бутылку.

— Конфеты московские. Я знаю один магазин, где всегда есть московские конфеты...

— Можно, я включу диктофон? — спрашивала корреспондентка.

— Ради бога... Не знаю почему, обожаю московские конфеты. Большую часть жизни прожила в Питере, а конфеты люблю московские. Странно, правда?

— Да нет, почему... — теряясь, отвечала корреспондентка. — Скажите, а ваша дочь...

— Она учится на юридическом. Сейчас все непременно хотят быть юристами... А вы давно в журналистике?

— Три года. После университета.

— Нравится?

— Как когда...

— Как когда — это про меня, верно? Да вы не смущайтесь. Давайте еще по стаканчику...

Она разливала остатки вина.

— Евгения Николаевна, вы замужем? — хмелея, спрашивала корреспондентка.

— Да.

— А ваш муж...

— Мой муж — профессор нашего института.

Потом она провожала корреспондентку до лифта, и та, остановившись в дверном проеме, запинаясь и теребя сумочку, говорила:

— Ой, Евгения Николаевна, вы такая славная! Мне у вас так понравилось. Я, как материал подготовлю, сразу же вам позвоню...

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо говорила Евгения Николаевна, прикрывая за ней дверь.

Она выходила на балкон, смотрела, как, отчаянно жестикулируя, ловит такси смешная угловатая девочка — корреспондент городской газеты.

За балконом был город, Исаакий, Петропавловская крепость. Город такой же грязный и неухоженный, как и десять, и двадцать лет назад. Такой же величественный и одинаковый. И всегда чужой...

Город, в котором негде преклонить голову. Где нет ни одного человека, кому бы она могла рассказать о своем счастье. Коротком, как раскат грома, и долгом, как дождь, который шел всю последующую жизнь...

Ей впервые захотелось рассказать о своем счастье. Совершенно чужому человеку. Например, этой девочке-

корреспондентке. Для этого надо было выключить диктофон и достать из буфета еще одну бутылку вина...

Но, опомнившись, она подумала: зачем? В строгой последовательности ее жизни было невозможно предположить встречу, изменившую ее внешне благополучную судьбу. Встречу, постоянно возвращавшую ее в тот теплый июльский вечер с его удушьем перед надвигающейся грозой, цирком Чинизелли, напротив которого она остановила машину, и привязанному к водосточной трубе, вывалившему огромный розовый язык алабаю...

Он приехал на три дня. Сказал, что в командировку. Она полагала, что они будут встречаться урывками, а он провел с ней все эти дни, был у них дома, обедал, играл с маленькой Катей в дурацкую игру «Пардон, мадам» — они бросали карты и били себя по лбу, картам, рукам, перекивая друг друга, кричали: «Пардон, мадам» и «ку-ка-реку», и Катерина была совершенно счастлива.

На второй день они поехали на кладбище в Комарово, долго бродили по аллеям, останавливаясь у каждого надгробия, пили на могиле Ахматовой и вернулись в город поздно вечером.

Он затащил ее в уже закрывавшийся ресторан. Их не хотели пускать, но он договорился, и они сидели в пустом зале под звон убираемой со столов посуды, пили холодное сухое вино и ели сваленные в одну тарелку остатки банкетных блюд.

Когда он рассчитывался с официантом, выпала из буфетника и легла на пол фотография. Она нагнулась, подобрала фотографию и, коротко взглянув на нее, смутившись, вернула ему.

На снятой в ателье фотографии, застыв перед камерой и напряженно прислонившись друг к другу, были запечатлены женщина лет тридцати пяти с безучастными серо-водянистыми глазами и неопределенного возраста девица с таким же отсутствующим взглядом и такими же противоестественно выразительными формами. Их сходство было настолько очевидным, что она невольно отшатнулась.

— Это моя семья. Жена и ее дочь. Акселератка четырнадцати лет... — с глухим раздражением сказал он.

— Мне нет никакого дела до твоей семьи, — неожиданно зло сказала она и, увидев, как он потемнел лицом, на-

крыв ладонью его руку, раскаянно произнесла: — Прости...

Она задержала его руку чуть больше дозволенного их дружескими отношениями и, потянувшись за сигаретами, словно опомнившись, увидела возвышающегося над столом официанта со счетом в руках. Официант молча наблюдал всю сцену с фотографией. При этом у него было такое томительно-глупое выражение лица, а глаза настолько откровенно устремлены в пространство, что она не выдержала и рассмеялась.

— Спасибо, — сказал он официанту, что означало: сдачи не нужно.

Официант вежливо поклонился.

В день его отъезда она допоздна пробыла на озвучании и заехала за ним в гостиницу около семи вечера. До отхода поезда оставалось несколько часов, и они катались по городу в поисках места, где можно было посидеть. При тормаживая возле очередного ресторана, она спрашивала:

— Может, здесь?

— Как скажешь... — бесцельно глядя в окно, отвечал он, и они ехали дальше.

Возле цирка Чинизелли он попросил ее остановиться. Она припарковалась у огромной сваренной из металлических прутьев корзины для хранения арбузов. Корзина была выкрашена в темно-зеленый цвет и сама напоминала гигантский арбуз. Сейчас корзина пустовала.

— Если бы меня посадили в подобную резервацию, — грустно сказал он, — я был бы самым счастливым человеком на свете. Днем я наблюдал бы течение жизни, а по ночам выл на луну... И никакой сопричастности.

— Мальчишки забросали бы тебя камнями, — отстраненно произнесла она.

— Меня так и так рано или поздно забросают...

Она резко повернулась к нему, собираясь что-то возразить, и тут увидела собаку. Собака сидела у входа в магазин, вывалив шершавый розовый язык и тяжело дыша мощными ребрами. Она была огромная, палевая, с подрезанными ушами и удивительно человеческими глазами на иссеченной шрамами морде. Собака смотрела в их сторону.

— Боже, какая собака! — испуганно и одновременно восторженно произнесла она.

— Это алабай — среднеазиатская овчарка, — объяснил он. — Одна из самых сильных собак в мире.

— А он привязан?

— Привязан. Но если он надумает освободиться, то вырвет эту трубу к чертовой матери! Со всеми ее креплениями...

— Представляю себе эту картину, — улыбнулась она, — алабай с водосточной трубой на Фонтанке... Ты знаешь, я не смогу проводить тебя до поезда, — внезапно раздражаясь, сказала она, — у мамы опять подскочило давление, и еще надо успеть в аптеку...

— Это не страшно, — перебил ее он, — высади меня у какого-нибудь метро. Я доберусь.

Она включила зажигание.

— Выключи, — попросил он.

Она покорно выключила.

Он долго напряженно молчал, и в этой неожиданно охватившей город тишине она явственно слышала свое сердце и тяжелое дыхание алабая за спиной.

Наконец он сказал:

— Ты прости, но если я этого не сделаю, то буду жалеть всю жизнь...

Повернулся к ней, обнял, прижал к себе, целуя виски, волосы, нечаянно касаясь губ.

Сколько это длилось? Минуту, две, пять? Ей показалось — вечность. Она интуитивно почувствовала, что сейчас он уберет руки, отпустит ее, и поняла, что хочет только одного: пусть это будет всегда, на всю недолгую оставшуюся жизнь. Его губы, дыхание, руки на ее плечах.

Она хотела сказать ему: милый, любимый, забери меня. Забери со всей моей пропащей жизнью. Я пойду за тобой куда угодно. Я буду жить только тобой, мой уставший, мой родной, мой единственный...

Он отпустил ее.

— Поехали, — сказал чужим далеким голосом.

У входа в метро, прощаясь с ним, она спросила:

— Ты будешь мне звонить?

— Конечно, — легко ответил он и, наклонившись, сдержанно поцеловал ее в щеку.

Он давно растворился в провале метро, а ее красная «семерка» одиноко стояла у обочины. Гасли витрины магази-

зинов, редели прохожие, а она по-прежнему сидела в салоне, неподвижно облокотившись на руль, и думала о нем.

Потом завела машину и поехала в сторону дежурной аптеки за лекарством для матери.

Ей предложили небольшую роль в одном из обретающих популярность сериалов, завалили работой на дуближе. Она возвращалась поздно, стирала, готовила, отпаивала лекарствами заранее вычислявшую нашествие магнитных бурь мать, полуживая, занималась с дочерью, играла в «Гардон, мадам»...

Ей был необходим его голос. Пусть на расстоянии, за тысячу километров, всего лишь несколько дежурных фраз: «Привет! Как дела? Это я, Андрей...»

Он не звонил.

Не выдержав, она позвонила ему на службу.

— Полковник Болдырев в командировке, — лаконично ответили ей. На большее она и не рассчитывала.

Из-за болезни Катя отстала от школы. По вечерам, когда она возвращалась домой, они занимались математикой, решая чудовищно запутанные задачи, которые самой Евгении Николаевне давались с невероятным трудом. Раздражаясь и злясь от собственной беспомощности, она срывалась на дочь, ломала в бессилии карандаши, часто курила на кухне.

— Неужели ты не можешь решить этой пустяковой задачи?! — теряя выдержку, кричала она.

— Не могу, мам, — кусая губы, отвечала Катя.

В коридоре зазвонил телефон.

— Но ведь это так просто! Надо всего лишь подумать!..

— Телефон, мам, — осторожно напомнила Катя.

— Слышу, не глухая... — Она стремительно встала, опрокинула стул, прошла в коридор, по пути бросив матери:

— Конечно, кроме меня в этом доме больше никому подойти к телефону!

Резко сняла трубку, продолжая кричать матери:

— Она меня в гроб загонит своей математикой! Она математикой, а ты несуществующими болезнями!.. Слушаю вас! — отрывисто сказала в трубку.

— Евгения Николаевна?

— Да, я, — привычной скороговоркой ответила она.

— Подполковник Кузнецов из Москвы... Евгения Николаевна... Тут такое дело... Андрей убит. Две недели назад...

— Как? — глупо спросила она.

— Убит. В одной ближневосточной стране... Больше я ничего не могу вам сказать. Извините...

Через несколько лет она вышла замуж, выпустила первый театральный курс и в том же году набрала следующий. Отпраздновав сорокапятилетие, она как-то в одночасье сдала, состарилась, перестала следить за собой, тратясь без остатка на нищих, вечно голодных студентов, приглашая их домой для дополнительных занятий, подкармливая и незаметно опуская деньги в карманы пижонских курточек.

Студенты считали ее немного блаженной и ласково-снисходительно называли Женевьевой. Восторгаясь ее былой популярностью, рассматривая фотографии первых ролей, где она была необычайно, вызывающе хороша собой, они не находили оправдания ее нынешнему образу жизни. По-юношески жестокие и тщеславные, они не понимали, как можно довести себя до такого запустения, и были уверены, что сами проживут до конца яркую и насыщенную событиями жизнь.

Смирясь с отношением к себе окружающих, она не обижалась и ничего не пыталась противопоставить, искренне полагая прожитую жизнь ровной и обыкновенной.

Что было в ее жизни? Кино, театр, роли. Удачные и неудачные. Чаще никакие. Ежегодные фестивали в Гатчине, которые бесценно открывала и закрывала она одна. Муж, второй, третий. Дочь. Детство с купанием в Днепре, гидрорпарком, отцом, затянутым в портупею, серьезным и трогательным одновременно. Студенты...

В ее жизни было все. И ничего.

Она познала славу и успех, была боготворима, никогда не испытывала нужды. Но ее жизнь была лишена взлетов и падений, она не плакала над ролями, не бродила ночами по пустынным улицам. Неприкаянно, куда глаза глядят...

Она была настолько равнодушна к собственной жизни, до такой степени избыла себя в ней, что могла с легкостью сбросить одежду, надеть глухое черное платье и уйти в монастырь. Могла прийти на кладбище, опуститься между могил и остаться среди них навсегда.

Она могла как угодно распорядиться своей жизнью, если бы не обдуваемый ветрами пятачок у цирка Чинизелли, возле которого она несколько раз в году останавливала

машину и часами сидела в салоне, вспоминая тот смиренный июльский вечер с удушьем перед надвигающейся грозой, его руки, которыми он обнял и прижал ее к себе, горячее прикосновение губ.

Вспоминала свою скованность, и отчаяние, и ощущение обрывающего сердце полета, и твердь земли под ногами.

Сколько это длилось? Минуту, две, пять. Теперь она знала: всю жизнь. Потому что больше ничего не было в ее жизни.

И вот еще в чем она никогда и никому не решилась бы признаться: каждый раз, останавливаясь у цирка Чинизелли, она издали высматривала фасад дома напротив и сталактиты водосточных труб на фасаде, втайне надеясь увидеть привязанного к трубе и вывалившегося огромный розовый язык алабая — единственного свидетеля ее счастья...

2006

Тысяча тысяч нас

Из парка Горького поехали домой. Остановили красную «девятку» с аспидно-черным негром за рулем.

— С праздником! — безбожно коверкая слова, негр обнажил арктической белизны зубы.

А может, зубы у него были как зубы и только казались ослепительными на антрацитовом фоне немного обезьяньего лица. Негра звали Зеф. Несколько лет назад он приехал с Кубы учиться на инженера... Хотя какое это имело значение.

Поговорили о кубинской революции, жизнестойкости Фиделя...

Зеф уважительно покосился на мой китель с наградами.

— Воеваль? — спросил он.

— Немного, — отвернувшись к окну, сказал я.

Мне почему-то стало неловко. Сегодня был День Победы. При чем здесь я? При чем здесь мы?

Да и не воевал я. Мотался по роду службы в командировки, тянул солдатскую лямку. Опять же потому, что работа была такая. Несколько раз стрелял наугад. Чаше стреляли в меня.

Валялся в госпиталях с ранением, с контузией, с последствиями того и другого. Мог погибнуть. Но не погиб же...

Просто день был сегодня такой. Святой. Один на всех. Единственный.

Плакать все время хотелось. И плакалось. И не стыдно было слез.

И старики эти — как дети. Великие, отчаянные и наивные одновременно. Поднимающие стопку за стопкой... Им по-прежнему кажется, что после такой войны их никогда и ничто не сломит. А пустота за их спинами с каждым годом становится неотвратимее.

Я кожей ощущаю эту пустоту. Звенящую, оглушительную... Пустота переполнена звуками. И звуки эти: одиночество, забвение, жестокость...

Дома расстелили на полу скатерть, завели патефон. А праздник таял на глазах. Пили, пели военные песни, с надрывом кричали «ура», поддерживая залпы салюта, который так и не увидели из-за высоких крон деревьев.

А праздник избывал себя. Заговорили о предстоящих отпусках, море, юге, о чем-то суетном, житейском...

Мы с Геркой молчали. Сидели рядом, подливая водку в стаканы, и молчали. Все было ясно без слов.

Потом он встал и вышел в коридор.

— Герка... — остановил его я.

— А... — Он махнул рукой и вышел, не простившись.

В его глазах стояли слезы.

Я знал: теперь мы увидимся через год. В лучшем случае мимоходом пересечемся где-нибудь. «Как дела?» — «Нормально. А у тебя?»

Мне нужно было догнать его...

Он хотел остаться один. Я тоже. Вдвоем мы не мешали друг другу.

Я вернулся в комнату, остановился в дверном проеме и... в который раз ощутил свою чужеродность.

— Какой-то он странный, — убирая грязную посуду, осторожно заметила она.

Все разошлись. В углу на кровати, трогательно укрывшись моим кителем, спал сын. Праздник кончился. Мы остались втроем.

— Кто?

— Гера... Весь вечер молчал, ушел не попрощавшись...

Я на мгновение задумался. Почему на мгновение? Потому что это мгновение и есть жизнь. Во всяком случае, там, откуда мы вернулись. Вернулись ли?

Мгновение, разделяющее нас на живых и мертвых. Цвирк пули, осколок фугаса, стальная нить растяжки — как граница между двумя измерениями...

Что всколыхнулось во мне? Обида за старого товарища, вызванная ее легкомысленной фразой? А в чем обида? В том, что он странный? Но это так. Он странный, я странный, и еще тысячи нас...

Это мы, Господи!

— Знаешь... — сказал я и вдруг понял, что еще никогда и ни с кем не говорил о том, что много лет жило и болело во мне. Когда перехватывает дыхание и не хватает слов, а может, их еще не придумали, эти слова. — Конечно, мы производим впечатление нормальных людей... Встретились — поговорили. Чего там... Но война... Ее же нельзя пережить и отрезать. Она сидит вот здесь. И здесь. И эта необъяснимая дрожь в руках. Вдруг, ни с того, ни с сего... Сколько их было — этих засад, подрывов... Сколько раз по нам били и свои и чужие. И какая, к черту, разница, чья пуля раскроит тебе башку...

Из меня словно выпустили воздух. Я сел к столу, достал из пачки сигарету.

Мне казалось, что это все. Но это было не все. Я должен был договорить. И для себя. И для нее.

Мы пропустили войну через себя. Я там, она здесь. Когда ждала, когда три месяца выволакивала из-под меня судно в заштатном ростовском госпитале, прижимала к себе мою контуженную голову по ночам и, склоняясь, шептала что-то терпеливо и нежно, как мать.

А потом, как-то сама по себе, война стала привычной частью нашей жизни, как рано или поздно привычным становится все. Я уезжал и возвращался, мы накрывали праздничный стол, уставляли его закусками, настраивали популярную радиоволну...

И почти перестали брать аккорды на той струне, от прикосновения к которой когда-то обжигало пальцы...

— Сколько мы потеряли за эти годы. И не обязательно друзей. А просто был человек, ел с тобой кашу из одного котелка. И вот его нет, а ты живой... Я всех их помню. И тех, кого знал, и тех, кого не знал, — почему-то еще больше... Может, потому, что мог узнать и не узнал, и теперь уже не узнаю...

Я пытался говорить проще, обыденнее. Не получалось.

Я не раз, так или иначе, касался темы войны. Но раньше это было вскользь, обрывочно, за дружеским столом. Да и кому нам было рассказывать? Друг другу?

Но именно сегодня, сейчас я ощутил, какой глубокой, болезненной раной живет во мне война. Это был мой мир,

и Геркин, и еще тысяч нас. Мир обугленных нервных окончаний, который не дано постичь непосвященным.

Я вспомнил Грозный девяносто пятого года, консервный завод и хлюпающее под ногами, раскатанное траками месиво грязи, вязко просачивающейся за голенища ботинок. И как, выматывая душу коротким погибельным свистом, поднимали фонтаны перемешанной с осколками грязи одиночные мины. И как надо было бросаться на землю, закрывая голову руками. И никто не бросался. Стояли, испуганно всматриваясь в темнеющее небо, словно расступившаяся увидеть предназначенную именно тебе мину...

Так я впервые узнал, что чувство брезгливости выше чувства страха.

Но, узнав и пережив это лично, я понимал, что вряд ли смогу объяснить это другим.

Как можно поверить в то, что перед лицом смерти человек думает не о спасении, а о том, как падать в эту грязь в прожженном, рваном, но местами еще чистром бушлате, о сухости ватных брюк, о том, как лежать, уткнувшись лицом в это месиво снега, земли, автоматных гильз, отодранных с кровью бинтов...

А то, что мылись перемешанным с пороховой гарью снегом, гнили от фурункулеза, пили этот же растопленный в котелке снег, — об этом кому? И зачем?

— Я ведь все понимаю... Но вы всегда смеялись, говорили об этом так буднично... — растерянно, словно оправдываясь, произнесла она.

Буднично. Конечно, буднично. Буднично убили, буднично составили похоронку... Там к этому привыкаешь быстро.

А потом? В мгновения внезапного осмысления? Когда понимаешь, что остался жив вопреки всему. А как и какие боги отвели от тебя смерть — не дано понять никому.

Через два месяца я уезжал в командировку. И никакая сила на свете не могла отменить ее. Как не могла отменить войны в трех часах лета от Москвы.

Я вспомнил прошлую командировку, инженерный дозор на Пригородное, засаду, одиночный трассер над БТРом: над тем самым местом, где еще несколько секунд назад сидел я...

Они подорвали и зажали нас между двух «зеленок». Мимо с обманчивым спокойствием проследовали несколько легковушек, автобус с рабочими, груженный сеном «зи-

лок». До конечной точки маршрута оставалось пройти четыреста метров. И вдруг подрыв, и падающий с пробитой гортанью мальчишка-сапер, и кровь на асфальте...

Они обстреливали нас справа, из укрытых сплошным зеленым массивом брошенных дач. Они знали, что мы не сможем подойти к ним сквозь непроходимые минные поля, и потому стреляли не прицельно, с лентой, больше забавляясь паникой и замешательством в наших рядах.

Башнер развернул КПВТ и бил наугад по кустам, деревьям, еле различимым в зарослях домам. Его поддерживали автоматами.

— Уходим! — крикнул командир группы.

Погрузив, почти забросив в кузов «Урала» раненного сапера, прикрывая друг друга, заскакивали в люки БТРов бойцы. Матерясь и разбивая в кровь руки, разворачивали жала пулеметов башнеры.

Мы с Еремой прикрывали отход с противоположной части «зеленки». Заметив дрогнувшую ветку, я резко повернулся и выпустил несколько коротких очередей. Перевел ствол автомата левее и вновь нажал на спусковой крючок: автомат молчал.

«Неужели расстрелял магазин?!»

— Патрон перекосило, Серега! — крикнул Ерема.

Вскинув автомат, я увидел затворную раму с перекосившимся патроном и подумал: «Как это могло случиться?» И еще я подумал: «Конец!»

— Прыгай в люк! — дико заорал Ерема, стреляя на ходу.

Я вскочил в люк ужедвигающегося БТРа и увидел, как странно, боком заваливается на асфальт Ерема...

Четыре месяца спустя я был с сыном на новогодней елке. Сын хохотал, бегал вокруг елки, дергал меня за рукав:

— Ты видел, пап, видел?

Он был счастлив.

Я смотрел на его бесконечно любимую и дорогую мордашу, в широко распахнутые шальные глаза и думал о Ереме. У Еремы тоже был сын...

Ночью мне снилась первая любовь. Мы сидели в спальне ее огромной квартиры на фоне разобранной смятой постели и пили кофе. Она что-то оживленно рассказывала, водила пальцем по столу, и с каждым ее жестом нарастала во мне необъяснимая тревога.

В этот момент в квартиру ворвался ее муж. Он кричал, ожесточенно размахивал руками, хватал меня за отвороты рубашки, и тогда я сказал ему:

— Почему вы так волнуетесь? Ведь Алла давно умерла...

Я проснулся подавленный: по преданию, покойники снятся к смерти.

По преданию, нельзя мыться и бриться перед боевым выходом, фотографироваться перед полетом. Мы не брились, не фотографировались — и умирали каждый день.

По преданию, черная кошка — к беде, покойники — к смерти, собака — к другу.

Алла обнимала меня во сне, горячо шептала что-то смешное, глупое, из нашей юности, но так и не позвала с собой...

А если бы позвала?

У меня перед глазами стоит Ерема. И те, кто были «до». И те, кто «после». Я их еще не знаю. Вероятно, узнаю, когда прикоснусь пальцами к безжизненной сонной артерии. Узнаю и буду помнить всю жизнь: бесфамильных, безымянных, моих несбывшихся друзей. Ведь Алла позвала не меня...

Я вышел на кухню, сел к столу.

Она мыла посуду. Работал телевизор. Невероятно пышногрудая девица бодрым, вселяющим оптимизм голосом объясняла, как правильно отличить настоящую тефлоновую сковороду от подделки.

— Привет, — сказал я.

Она повернулась ко мне:

— Полчаса назад передали: в Веденском ущелье попали в засаду «уазик» и БТР. Шестнадцать человек погибло...

И, уткнувшись лицом в полотенце, заплакала.

МИНИАТЮРЫ

Предисловие

Миниатюра никогда не воспринималась в качестве самостоятельного литературного жанра. Считалось, что это предтеча к чему-то главному, эпохальному... Третий план большой литературы, падчерица, которой не суждено стать Золушкой...

Но миниатюра — сама по себе. Далеко не каждое наблюдение впоследствии становится рассказом, повестью или романом. Мысль, история, сюжет могут быть настолько емкими и выразительными, что уже не требуют дальнейшего повествования. Так родился жанр миниатюры.

Стихи в прозе, записки на манжетах, ощущение истины...

Я пишу миниатюры всю жизнь. С них я начинал, ими, вероятно, и закончу — то, что я скажу, в конце вряд ли будет претендовать больше чем на миниатюру.

Перед вами книжка моего взросления. Развернутая биография. То, что написано, — мне уже не принадлежит. Я за последней страницей этой рукописи, перед огромным, как стена, чистым листом.

Исписанный лист — ответственность писателя. Чистый — совесть. Лист длиною в жизнь. Жизнь — миниатюра в масштабах Вселенной...

От шестнадцати до двадцати

Сигаретный дым занимает мое воображение.

Выпусти колечко дыма в закрытой комнате — оно белое. В окно, на улицу — голубоватое. Так же и многое другое, немножко посерьезней...

Он сошел на остановке и канул, пропал в людском потоке.

Еще недавно в полупустом трамвае, прислонившись к окну, он о чем-то сосредоточенно думал, а я был не в силах отвести от него глаз — в его лице, напряжении взгляда было столько необыкновенного...

Но вот он побежал, засуетился, обгоняя одних, уступая другим, — и я его уже не вижу.

Однако скоро и моя остановка...

Каждый из нас знает, что такое счастье. Только нужно подгадать время, чтобы спросить об этом.

Старая, беспомощная, слепая, одиноко стучит клюкой, натываясь на прохожих, задевая грязным эмалированным ведром:

— Христа ради, детки, помогите водички набрать...
Христа ради, милые...

— Ну, а потом и полы тебе помыть...

— Отвяжись ты, бога ради...

— Ладно, бабка, не скули, давай свое ведро...

Обычно. Все давно привыкли к этому. А вот взбрело же написать. Зачем? Для кого? В пустоту...

Одна из причин отличия дурака от умного в том, что он высказывает любые свои мысли вслух, — не хватает ума промолчать.

Но как было бы хорошо, если бы все высказывали свои мысли вслух, — тогда наверняка не было бы плохих и позлых мыслей.

Но, рискнув высказаться вслух, мы отчасти становимся дураками. Поди разберись...

Человек решил добраться до Полярной звезды. Он больше не мог смотреть на нее спокойно — свет далекой звезды не оставлял его ни на мгновение...

Он добирался до нее много лет. Труден, бесконечен был его путь, но достигнув Полярной звезды, он увидел, что на ней не может существовать ничего живого.

На обратную дорогу ему не хватило жизни.

Он — человек, у которого все сложилось плохо. Я — человек, у которого все сложилось хорошо.

И потому вечерами я удобно устраиваюсь в кресле, включаю музыку, закуриваю и начинаю думать о своей неудавшейся жизни. Как выясняется, моя скупая биография переполнена трагическими событиями. Меня бросали, отвечали неблагодарностью на мои юношеские порывы, били за справедливость...

И вообще, я начинаю сознавать, что единственный выход из создавшегося положения — самоубийство. Но повеситься не хватает мужества, сброситься с крыши дома — страшно, утопиться — тем более.

Я тушу сигарету и выхожу на улицу. Там я встречаюсь с ним — человеком, у которого все плохо.

С ним как-то сразу становится легко и безмятежно. Он болтает о всякой чепухе, заговаривает на тему любви в творчестве Блока или о кибернетике, которая, прежде всего, непостижима для него самого. Он улыбается каждому, превращая серьезное в простое, разрешая легкомысленными советами казалось бы неразрешимые проблемы. Он подходит ко мне, улыбается, протягивает руку, и я не могу не улыбнуться в ответ.

Я — человек, у которого все сложилось хорошо. Он — человек, у которого все сложилось плохо.

К одиночеству я отношусь хорошо. Я люблю быть в одиночестве и всегда нахожу себе работу. И потому они смотрят на меня как на чудака, а я смотрю на них с той же точки зрения.

Кто из нас прав, рассудит только одиночество.

Убил змею. В узком кругу дачников числился решительным человеком, да и сам был не против — змея скользкая, омерзительная.

А недавно подступило: вспомнил, как извивалась, билась в предсмертной агонии, хотела жить... А ее топором по голове, на куски, на атомы... Только за то, что проползала мимо...

И больше не могу испытывать к этой змее неприязни — я испытываю неприязнь к себе.

В небольшом краеведческом музее, среди немногочисленных и однообразных его экспонатов, кинжал офицера вермахта вызывает повышенный интерес.

— Да, симпатичная игрушка...

— Интересно, им убивали?..

Но почему никогда не возникает вопрос: если убивали, то кого?

Или, может, я не прав. Но мне постоянно кажется, что именно этим кинжалом был убит мой дед, умерший через несколько лет после войны...

Как хочется, чтобы судьба зашвырнула меня в какой-нибудь город, и, улетаая оттуда в ожидании бесконечно откладывающегося рейса, я бы сидел в аэропортовском буфете, потягивал дешевый портвейн, основательно раздумывая о своей жизни и о жизни вообще, вспоминая прошлое, мечтая о будущем...

Но каждый раз, когда я оказываюсь в другом городе и мой вылет задерживается, я думаю только о том, что наш аэрофлот работает еще плохо и вряд ли мне скоро улететь отсюда.

В нашем дворе он поселился недавно. Приехал откуда-то издалека, из глубинки, и получил маленькую полуподвальную квартирку в ветхом доме напротив.

Большой неторопливый мужик — он едва умещался в своей квартире да и в самом городе, к ритму которого приспособивался с необычайным трудом.

Как-то он принес домой доски, хорошие доски, видимо, необходимые по хозяйству. Он не стал заносить доски внутрь, аккуратно сложил около входной двери, покурил в темноте и ушел в дом. Нас, ребят, тогда поразила его наивность, уверенность в том, что доски останутся нетронутыми, и вечером мы утащили их, тут же распилив на самопалы, сабли и мечи.

А наутро я видел, как он вышел во двор и, не обнаружив досок, долго беспомощно стоял, растерянно оглядываясь по сторонам...

Я-то думал, что украл у него только доски...

Раньше безумно злили светофоры — они останавливали меня в самую неподходящую минуту, заставляя нетерпеливо ожидать зеленого света.

И только теперь я стал относиться к ним с бесконечным уважением — потому что пока еще в их власти регулировать движение жизни на земле.

Но светофоры стоят не везде, да и там, где они есть, мы спешим побыстрее перейти улицу. Зеленый свет недолог...

В токарном цеху среди старых, изрядно поработавших станков возвышается один — новый, никелированный, усовершенствованный по последнему слову техники. Заботливо протертый ветошью, он стоит во всем своем величии и только сам не ощущает величия...

Так бы да среди людей.

Человек любил книги. Да что сказать, любил — жил ими.

И еще он думал, что когда в его доме случится пожар, то сначала он спасет все книги. Он даже отобрал те, которые будут спасены первыми.

И пожар действительно произошел, и он, не думая, схватил шкатулку, в которой хранились семейные реликвии, фотографии, письма близких.

А книги что? Книги так и сгорели, хотя многие из них были еще не прочитаны.

Удивительно разнообразна наша планета.

Она бывает серьезной, когда заключаются договоры о торговых отношениях или проходят конгрессы и симпозиумы физиков.

Потерянной и печальной, когда на ней сталкиваются с несправедливостью.

Счастливой и беззаботной во время карнавалов и праздников воды.

Взбаламученной, когда открыто и резко не согласна с чем-то.

Злой и жестокой на полях войны.

На сумасбродной и захмелевшей планете пьют, кричат и обнимают красивых женщин.

Но есть у нее еще одно, неизвестное нам состояние: стоит подвергнуть планету нейтронной бомбардировке, и тогда кто-нибудь последний, задыхающийся увидит, что еще она бывает равнодушной...

Мне всегда жаль уходящей зимы. Зимой все укрыто снегом, и потому не знаешь, что хорошо, что плохо.

Весной иначе. Весной сходят снега, и крыши за моим окном обнаруживают свою железно-ржавую наготу.

Зимой проще. Постоишь с кем-нибудь белым на остановке, покуришь, и каждый уедет на своем трамвае. Так и не знаешь: с хорошим человеком поговорил или с плохим.

Сядешь в белый трамвай и поедешь по белому маршруту. Будешь ехать и думать: вечно бы она длилась — зима. Вдруг повернешь голову и увидишь: за окном-то уже март...

Что-то знакомое ощущается в звонке будильника.

Зазвенел во всю глотку, всех всполошил и еще долго звенит с повышенной требовательностью. Затем, лишь отдавая долг времени, все тише, тише и тише...

Во всем художественный беспорядок: разбросанные кисти, почерневшая джезва на залитой кофейной гущей плите, спутанная борода, пачка папирос, сохранившая отпечаток небрежного броска, безумный взгляд ваятеля...

За дверью ровная четкость линий, соответствующая правилам технического мастерства, — безучастная живопись в густо позолоченном багете...

По моей жизни бегают бездомные собаки.

Одни трутся у моих ног, другие, завидев, бегут прочь. Каждая категория собак воспринимает меня по-своему, и я ничего не могу с этим поделать.

Они навязывают мне подсознательное ощущение двойственности, и потому время от времени я пересматриваю свой характер.

Врезалось ощущение смерти: огромные комнаты неслучайно пусты, тусклый свет лампы, мозолящая сырость в углах и срывающийся шепот: «Господи!..»

Приснился странный несвязный сон: мы большой компанией малознакомых людей сидим в сквере и как-то очень уж зло и неумно пытаемся обидеть девушек с противоположной скамейки. Но они почему-то не уходят, а встает и уходит девушка из нашего круга. И я прекрасно понимаю ее: она так же некрасива, как и те — напротив.

Я встаю и иду за ней следом — извиниться. Мы идем какой-то неестественной улицей, и по мере моего приближения девушка все дальше и дальше удаляется от меня. Я не знаю, что делать, останавливаюсь, беспомощно оглядываюсь по сторонам и вижу, что нигде нет мамы, совсем нет...

Мне вдруг становится страшно и хочется плакать...

По скоростному шоссе сумасшедший поток машин, поток мгновений... Пренебрегая ограничениями, они, не задумываясь, обгоняют время и вдруг останавливаются, замирают...

Лениво помахивая хвостом, пересекает дорогу корова, вековую мудрость земли неся на рогах. Остановила время! Все вышли из машин и пошли за коровой...

Проснулся и рассмеялся в подушку: как избавиться от детской наивности снов?

Маленький невзрачный человек идет пустынным городом.

Поздний вечер. Продувающий насквозь, порывистый ветер...

Человек есть на улице, человека нет на улице — он совершенно незаметен, впрочем, как и всю свою жизнь... Об этом он думает. Еще он думает о том, что никто и никогда не ощущал в нем необходимости.

Через некоторое время его находят убитым ножевым ударом. Кому и зачем понадобилось убивать этого беззащитного человека?

На месте убийства милиция, экспертиза, «скорая помощь». И люди. Необыкновенно много людей. И, конечно, искренние, полные негодования и сочувствия возгласы окружающих.

Еще никогда не уделяли ему столько внимания.

Гуси рождаются на свет и живут исключительно для того, чтобы быть убитыми.

Я не первый подумал об этом — просто однажды стало невыносимо смотреть, как добро и беспомощно глядят два глупых глаза-горошинки на покачивающийся топор в руке хозяина...

И все-таки октябрьский снег и дождь совершенно не похожи друг на друга.

Дождь — хлесткий и неминуемый — стремится вниз сплошным отвесным потоком. Он проносится мимо, разбивается о землю, и я тут же забываю про него.

Снег совсем иной. Он падает невесомыми судьбами, успевая побродить между потускневшими домами и мокрыми, почерневшими от дождей деревьями, поболтать с до сих пор не опавшими листьями, может рассказать им пару небесных новостей. Он еще успевает заглянуть в мое окно, и мы улыбаемся друг другу одной нам ведомой улыбкой...

Он еще хочет побыть кем-то на этой земле...

Морозным вечером встали друг против друга трамваи.

Я протер рукой морозную наледь и посмотрел в окошечко. В трамвае напротив она тоже протерла окошечко и посмотрела на меня. Так и смотрели: я на нее, она на меня...

Подумали, что это, наверное, судьба, и разъехались — каждый своей дорогой...

Замкнутый прямоугольник моей жизни: дом, работа, случайные приятели, чужая женщина...

Я замкнут в этом прямоугольнике и даже не могу сменить чередование сторон. Нет, я еще живу мыслью, что когда-то смогу бродить по мокрым аллеям Михайловского, и однажды начинаю всерьез обдумывать эту поездку, но в самый последний момент выясняется, что одна из сторон дала трещину. Я бросаю все и спешу заделать эту трещину.

Все-таки это прямоугольник моей жизни.

Пожалуй, самое удивительное в нашей жизни — сны.

Сны всегда разные и всегда не похожие на действительность. И все же бывают сны, которые заставляют просыпаться и задыхаться от боли. От того, что так есть или будет. От того, что уже ничего не изменить.

Я помню сон. Сон-одиночество. Помню, как посреди сна я встаю и в каком-то головокружении иду за почтой. Почему-то без ключа открываю ящик. В нем газеты, журналы и письма. Пять, десять, двадцать, больше писем... Я с жадностью хватаю их, прижимаю к себе — они выскальзывают из рук, падают на пол: пять, десять, двадцать... Я нагибаюсь, собираю их, а собрав, внезапно, но совершенно отчетливо вижу, что открыл не свой ящик.

В жизни непременно случается погода, которая не говорит ни о чем. В это время можно сидеть на лавочке и грызть семечки, безучастно созерцая окружающее.

В такую погоду в человеке зарождается равнодушие и уже остается в нем навсегда.

В моей жизни было много счастья, но чаще бывает трудно, тяготит и подавляет что-то неопределенное, становится страшно. В эти часы отчаяния я думаю, что в жизни будет еще много счастья, и этим живу.

Часто у печки-буржуйки, где здоровая атмосфера духа и ведутся неумные разговоры о том, что где-то, когда-то — меня непреодолимо тянет в звенящую, нарушаемую размеренным боем часов тишину родительского дома, где милая, славная моя мама, паровое отопление и те немногие люди, которым я нужен.

Но мое возвращение невозможно. Холодно. Одиноко. И руки тянутся к огню...

Расплывчато... Где-то за околицей настойчиво кричат петухи, наверное, уже третьи, и я, заспанный, совсем мальчишка, лениво сползаю с печки. Сыро, по полю стелется утренний туман, и, перебирая озябшими ногами в росной траве, я смотрю, как в алюминиевую кружку косо брызжут муаровые струйки парного молока...

Невыносимый крик: «Рота! Подъем!» выдергивает меня из сна, в считанные секунды поднимает, одевает, строит и дальше руководит мной весь день.

Весь день в механическом исполнении приказов меня догоняет и бьет этот изматывающий крик. И лишь остановившись на мгновение, я пытаюсь вспомнить: а было ли в моей строгой размеренной жизни взрослого человека то летнее детское утро? И не могу вспомнить...

Стоптанные мои, с еле уловимым скрипом сапоги бредут по дороге. Еще ночь или уже утро — непонятно.

В небе размытые скобки месяца, многоточие звезд...

Я уткнулся в чьи-то сапоги, сзади кто-то смотрит в мои. Я не знаю — кто. У меня нет сил обернуться. Идем усталым, сбивчивым шагом, молчим. Стылый туман по полю... Хочется апельсинов и уюта.

Бряцает за спиной карабин...

Мы сидим в одной из казарменных комнат. Где-то там вечер, мартовский, еще холодный. Уже без уходящего солнца, еще без звезд. Так себе, полувечер какой-то.

Мы — это он и я, солдаты второго года службы, знающие душную пыль дорог и ожесточенность, прерывистое дыхание, вязкий снег, поднимающихся из него людей и неровное «ура» на дулах автоматов.

В комнате тускло и непривычно тихо. Полумрак, полувечер, полуотчаяние...

На столе отсветом письмо.

— Мама болеет... — говорит он.

Мы молчим. Далеко в сумерках проступают первые звезды. Скоро их станет много, и вместе с луной или месяцем, бог знает, что там сегодня, они образуют знакомое вечернее небо.

Я чувствую, что он плачет. И еще чувствую, что плачу сам...

Мы ни о чем не спрашиваем друг друга — просто у него болеет мама.

Сидим в темноте и плачем. Мы, познавшие ожесточенность.

Она встает, когда я еще сплю, и сквозь легкий утренний сон я чувствую, как лишаюсь чего-то необыкновенно теплого и родного.

Начало мая. После ночной грозы истомно пахнет сирень в саду и безнаказанно врывается в комнату холодное майское солнце. Я бы давно встал, но беспечная воскресная лень опутывает тело, заставляя еще глубже зарываться в подушку.

Она приводит себя в порядок: это отнимает у нее гораздо меньше времени, чем у всех женщин на свете, — она боится, что, проснувшись, я увижу ее не готовой к нашей любви.

Она совсем взрослая женщина с устоявшейся красотой и образом мыслей и в то же время совсем девочка: она восторгается своей самостоятельностью, все, не связанное с нами, находит бессмысленным и то, что мы вместе, считает единственно оправданным состоянием.

— Сережка, мой хороший, вставай.

— На каком основании... Тут и так каждый день...

Чувствуя, как утрачиваю последние секунды сна, я еще пытаюсь сопротивляться и бормочу что-то маловразумительное.

Это нисколько не умаляет ее решимости разбудить меня — мы так давно не виделись, что позволить мне спать — верх безрассудства.

Понимая, что все потеряно, я поворачиваюсь и долго смотрю в уголки ее губ. В них что-то грустное и смешное. Наверное, так: один уголок грустный, другой смешной.

С асимметрии губ начинается ее неповторимость. И не заканчивается никогда...

Она склоняется ко мне.

— Господи, наконец-то... Это какая-то попытка — будить тебя. Ты забыл? Сегодня праздник. Я купила тебе рубашку, ее надо померить... И, вообще, надо вставать, куда-то идти, что-то делать... Сегодня праздник...

Позже мы завтракаем на веранде за покрытым крахмальной скатертью колченогим столом. Из сада тянет дождливой сыростью и прохладой, но все-таки чувствуется, что скоро лето, беззаботность...

По радио передают утренние новости, мы пьем чай из электрического самовара и говорим о всякой чепухе. Я смотрю на нее и неожиданно для самого себя говорю:

— Знаешь, а ведь мне, наверное, придется терпеть тебя всю жизнь...

Она на мгновение теряет ее, опускает глаза — к уголкам ее губ катятся две слезы: одна смешная, другая грустная...

— Я согласна...

Где-то далеко неустойчивые дрожки и разбитая дорога ждут нас, но сейчас не об этом...

С двадцати до войны

Она давно легла.

А он по-прежнему сидел за письменным столом, на котором, как пасьянс, были разложены листы бумаги. Пустые и перечеркнутые. Он смотрел на бумагу и понимал, что ничего не может, совсем ничего...

Потом разделся и лег. Она потянулась к нему.

— Ты не можешь без этого? — он убрал ее руку.

— Что с тобой? — отстранилась она.

— Так, ерунда... — И как можно мягче, как иногда умеют мужчины, добавил: — Спи, малыш, спи.

Она уснула. Доверчивым и безмятежным сном, каким умеют спать только женщины.

Он лежал и курил. В душном мраке комнаты нервным пунктиром вспыхивал огонек его папиросы...

Так он встретил первый проникший в комнату луч солнца. С первым лучом проснулась она. Посмотрела в его напряженное лицо и заплакала.

— Ты что? — он прижал ее к себе.

— Я знаю, — сквозь слезы говорила она, — ты не спал всю ночь. Я глупая, пустая... Я чувствую, что тебя мучает, но ничем, ничем не могу тебе помочь. Я бессильна. Прости меня. Я бессильна...

Тогда он сел за стол и написал о ней. И это было совсем не то, о чем он думал всю ночь, но это было настоящее.

— Полгода я здесь в Москве, в сержантской школе служил. И вот утром поднимают роту, бежим по плацу злые, невыспавшиеся, а за частью — дома, жизнь идет своя,

привычная, нерасторопная... Постепенно зажигаются окна, еще разобрана постель, вечно подгорающая яичница... А перед глазами уставшие спины товарищей и окрики эти, которые, наверно, всю жизнь помнить буду: «Подтянись! Дистанцию держать!»

— Ну и что?..

— Так, ничего... Но, знаешь, странно — думал о домах, о незнакомых окнах, а хотелось почему-то только одного: наконец сесть в метро и услышать, вот как сейчас: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — “Маяковская”». Такое вот было представление о счастье...

— Бред какой-то...

— Да, наверное... Конечно. Бред, что еще...

Я устал ждать тебя. Но иногда вечерами мне кажется, что сейчас раздастся звонок в дверь... и войдешь ты. Озябшая и раскрасневшаяся с мороза.

Ты будешь необычайно собранна и скажешь как бы между делом:

— Мне, собственно, нужно поговорить с тобой.

— Раздевайся, — я возьму из твоих рук сумочку

— Не стоит, — ответишь ты, — я буквально на минуту.

В этот момент у меня, вероятно, что-то оборвется внутри.

— Почему же ты не хочешь раздеться? — с унижительной поспешностью спрошу я, но, взяв себя в руки, добавлю с максимально возможным безразличием: — Впрочем, как знаешь...

Тогда ты разденешься и пройдешь в комнату. Мы будем сидеть друг против друга и молчать. Эта пауза затянется надолго, но ни мне, ни тебе она не покажется утомительной. И в этой напряженной тишине ты, наконец, произнесешь:

— Прости меня. Прости...

Я, наверное, ничего не смогу ответить. И немного удивленно, может, испуганно, ты спросишь:

— Почему ты молчишь?

— Ты же знаешь, что я могу тебе сказать...

И ты действительно знаешь все, что я могу тебе сказать.

И опять наступит тишина, но это уже будет тишина для двоих.

Потом... Но что будет потом, я не знаю, да и какое это имеет значение.

В моем воображении давно разыграна наша встреча, даже если она будет немного иной. И не хватает всего-то пустяка — чтобы ты пришла.

Все, что вы хотите сказать, должно быть криком.

Криком отчаянья и счастья. Криком любви. Криком мысли. Криком несправедливости.

Пусть непродолжительным, но криком...

Пусть ваш крик растревожит, разорвет душу, выведет ее из привычного равновесия. Пусть ваш крик заставит задуматься, заплакать или засмеяться до слез. Пусть в глухой темноте ночи кто-нибудь, разбуженный вашим криком, встанет, зажжет свет и попробует начать все сызнова. Пусть ваш крик переживет вас и, вырвавшись из вашего сердца, останется в сердцах других.

Пусть будет только так! А иначе зачем?

Как небольшая воинская часть представляется мне наша литература.

На трибуне генералы: Пушкин, Чехов, Блок, Гроссман, Пастернак...

В строю рядовые: честные, одержимые, талантливые. Неталантливых здесь нет, и потому эта часть небольшая.

Вглядываюсь и пытаюсь хотя бы в крайней шеренге отыскать себя, но тщетно. Я еще допризывник.

Как хочется заплакать. От самого себя.

Но меня так долго приучали к благоразумию, что в конце концов я научился плакать. Зато теперь, кроме черного и белого, я различаю очень много цветов и даже оттенков. Я затрудняюсь поставить точку, все чаще останавливаясь на многоточии и давно могу найти среднее между «да» и «нет», например, ответив так: «Видите ли, дело в том... И вообще, это довольно спорный вопрос...» Я могу повернуться и уйти, но уходя, обязательно оглянусь. Я ничего не делаю, но твердо уверен, что все еще впереди и позади немало.

Но однажды я оглянусь и увижу, что за мной ничего, кроме длинного шлейфа упорядоченных отношений, заглаженных ссор, гладко исписанных листков... Может, тогда я заплачу.

Вернись же ко мне, время моего максимализма.

Представьте себе, как чудно утонуть в пуховой перине, окунуться в огромную пуховую подушку и увидеть сон. В это время в доме должна быть хорошо протоплена и чуть потрескивать печка, и тогда вам приснится...

...Жаркий июльский день. Поле, непременно васильковое, с хоралами кузнечиков в примятой траве. Облака в заводи тихой реки...

...Или дом, где так давно не был. С домашними пирогами, вишневым вареньем и еще тысячей невообразимых вкусов. И, конечно же, мама — единственная женщина...

...Или женщина, которая, как ни странно, вас понимает. Красивая и добрая...

И вообще, вам приснится так много хорошего, что совсем не захочется просыпаться.

А проснувшись...

За окном то ли зима, то ли весна: черный грязный снег, стаи воронья на полях и такая же грязная, вечно разбитая дорога...

За дорогой неумные разговоры, дразги, бесконечные споры, недомолвки, тоска...

А вы говорите: обломовщина...

— Нет, — сказали ему в редакции. — Хотя, впрочем, мы могли бы перевести несколько ваших вещей на татарский и попробовать в одном из местных журналов.

— На татарский? — Он услышал, как сломался и застыл голос.

— В принципе, это может пройти, — мягко улыбнулись в ответ. — Да и переводчик есть неплохой...

— Значит, на русском нельзя... — Он тоже заставил себя улыбнуться. — А на татарском пройдет?..

Сейчас он еще отчетливее услышал, как стыло прозвучал его голос. Все. Точка. Если не остановиться — он сорвется, ударит этого человека. И он остановился.

— Я думаю, это можно попробовать, — по-прежнему доброжелательно ответил редактор — он не услышал его голоса. — Специфика такая, знаете ли...

— А может, на язык племени мапуту? Или еще на какой-нибудь диалект? — спросил он, пытаясь говорить как можно спокойнее, и неожиданно увидел, как жалко и стыдно трясутся руки.

Он шел по длинному коридору редакции. И вдруг резко развернулся, точно и коротко ударил по оконному стеклу. Звон, осколки разбитого стекла и, словно по цепной реакции, шум открывающихся дверей — из кабинетов на него глядели ничего не понимающие сотрудники издательства.

А он уже шел мимо них, опустив окровавленную руку и закусив губы от боли...

Зачем он это сделал?

Но все-таки на какое-то время физическая боль поглотила боль и унижение, которые он пережил за той дверью, теперь оставшейся позади...

Его глаза никогда не смеялись.

Он был спокойный, непринужденный в общении, в чем-то даже нелепый человек. С ним было на удивление легко и просто.

Только вот глаза, которые никогда не смеялись. Но, с другой стороны, кто в них всматривается? Ну, глаза и глаза. Бог с ними, с глазами.

Вечером, в шумном кругу знакомых, он умер, видимо, что-то не преодолев в самом себе, не сумев улыбнуться в нужную минуту...

— Какое недоразумение! — воскликнули окружающие. — Ведь он жил так легко...

Его фотография, оттененная черным гранитом, казалась совершенно неуместной на заброшенной аллее старого кладбища.

— Всего двадцать девять... — сокрушались проходящие мимо. — Совсем мальчик. И какое, обратите внимание, беспечное лицо...

И никто не замечал его глаз, которые никогда не смеялись.

В этой стране суждено родиться. Суждено умереть. Жить суждено ли?

За столиком театрального кафе «юноша пылкий со взором горящим» декламирует свои стихи. И чем хуже стихи, тем эпатажнее, с опереточными фиоритурами в голосе он их подает.

В одежде — искусственный беспорядок, в глазах — предубеждение, скандальный есенинский блеск...

Может, и хорошо, что не всех нас пускают в литературу.

В поэзии слово «ведь» — признак стихотворной немощности.

Русские художники — счастливый народ.

На западе пишут на компьютерах. Но о чем? Кругом достаток и стопроцентное счастье.

Нам же стоит отдернуть занавеску — и уже рассказ: нищета, безверие, хамство, попранные идеалы, фальшивые истины... Только пиши.

Что-то не пишется — есть хочется.

И открылись врата в рай.

Две девственные нимфы под руки усадили на лужайку, поднесли белоснежную хламиду, дали вкусить наливного яблочка.

Вокруг благообразие: арфистки, перебирающие золотые струны утонченными руками, божественные клавиры, разящие стрелы амуров, Господь — величественный и вполне доступный, неслышная поступь святых на небесах... И так вечно. Вечно!

Взвыл и... проснулся. Побродил по квартире, подошел к окну. За окном парк, липовый медонос, сонные утки в пруду...

Под окном разгорающийся скандал у пункта приема стеклотары, чей-то надсадно заводящийся автомобиль...

Закурил в раскрытое настежь окно и подумал: как же хорошо быть материалистом.

Петродворец. Дама в пышном платье восемнадцатого века, в парике-буклях фотографируется с изможденными от жары туристами. Несвежее бутафорское платье подчеркивает возраст его хозяйки: на лице испарина, вялая грудь, под неряшливым слоем макияжа немолодое, утомленное лицо.

Театрально улыбается очередным ценителям старины, поддерживает под липкий локоток их разомлевших жен...

И развозятся по стране ее фотографии, занимая строго отведенное место в толстом семейном альбоме с виньетками. И по семейным праздникам, оторвавшись от куриной ножки, хозяин вынимает альбом и, тыча пальцем в фотографию, комментирует пьяным гостям:

— Это мы в Петродворце... Во подруга — целый день в объективе. Ничего работенка, а?

Гости дружно поддерживают:

— Да уж, не слабо...

— Мне бы такую. Ходи с утра до вечера — запечи... запечтляйся с кем попало...

Она и ходит с утра до вечера, и снова с утра. Вышедшая в тираж актриса.

Вечером в кабаке пьет коньяк, курит, матерится, хохочет над пошлыми шутками, набирается под завязку. И чем больше пьянеет, тем выразительнее тоска и одиночество в ее глазах.

Все ее знают, со всеми она спала, всем на нее плевать...

Вот и дождя Каганович до девяносто шести.

Как-то попытались взять у него интервью. Приехали на Фрунзенскую набережную, позвонили в дверь.

Долгие старческие шаги в прихожей, надсадный кашель, напряженно-придушенный голос:

— Кто?

— С телевидения, Лазарь Моисеевич. Хотели бы взять у вас интервью.

Изматывающая пауза. Проворачивание бесконечных замков и открывающаяся на ширину цепочки дверь.

В дверном проеме дряблая, твердо сжимающая кукиш рука. Вот вам! Вот!

В полумраке коридора детская блаженная улыбка обезумевшего палача.

Как называлась та деревня? Не вспомню. И уже никогда не найду.

Туманная, пустынная, на берегу спокойной, величественной Камы.

Я ловил рыбу с перевернутой, разбитой, тысячу лет не смоленной лодки. Не клевало. Да и трудно было представить, что на такой величественной реке без заводи и запруд может быть клев.

Наконец попался рак. Мудрый старый рак, флегматично перебиравший клешнями. Он знал, что я отпущу его. И я отпустил.

Заброшенная, покосившаяся деревня с равнодушными ко всему, доживающими свой век старухами.

Было мне тогда двенадцать лет. И этот первый, исполненный душевного равновесия день...

Но уже тогда вошел в мою душу покой и остался навсегда.

И теперь он тревожит, зовет меня — этот покой. И дали его безграничны. А я все чего-то жду...

Ветра гонят по земле пустые консервные банки, вздымают в небо смерчи неликвидных денежных знаков. Снега на голых прилавках магазинов, в глазах — одержимость хлебом насущным, безнадежность — эпоха гиперинфляции...

А человек с безнадежными глазами строил себя всю жизнь.

С тщательностью великого зодчего он проектировал себя из самых разнородных материалов, где-то ломал, что-то перестраивал, писал акварелью голубые города, возводил мосты, бережно укладывал янтарные россыпи канифоли в скрипичный футляр.

Из космоса он, замирая, смотрел на Землю — единственную планету в бесконечном океане Галактики, расщеплял атом и любил одну единственную женщину.

Он всю жизнь лепил руки Венере Милосской. Их уничтожила гиперинфляция.

Гиперинфляция наших душ.

Сколько мы переврали за эти годы, как исковеркали себя, свою историю, какими благими лозунгами прикрывались и, наконец, вывели абсолютную величину: достаток!

И сразу стало предельно ясно и осязаемо то, ради чего требовалось прожить целую жизнь и умереть, так и не получив ответа.

Человек ущербен изначально. Попробуйте назвать кого-то, хотя бы раз не совершившего подлость. Не предавшего...

Дистанция между порядочным человеком и отъявленным негодяем настолько ничтожна и иллюзорна, что, по большому счету, ее определяет ощущение гадливости, которое мы испытываем от совершенной подлости. Или не испытываем.

Плоть человека — грех. Дух — Бог. Все уравновешено на незримой чаше весов, и нравственная чистоплотность, в конце концов, зависит от того, сколько шагов сделано в ту или иную сторону.

И потому есть вера и церковь. И Библия — зеркало, в котором никогда не отразиться. И потому есть Дьявол и его цепное порождение на земле.

У входа в метро старик продавал готовальню.

Гудящий, облепивший станцию блошиный рынок поигрывал перламутровым фарфором, холодным очаковским пивом, китайскими лифчиками и пуховиками, величественными мясорубками...

Здесь можно было продать и купить валюту, газовый пистолет, средство от тараканов, очередное сенсационное разоблачение «Московского комсомольца»... Здесь можно было продать и купить все что угодно, только не готовальню.

Старик продавал готовальню. Старую, с вытертыми краями и потускневшим циркулем на пыльном бархате, — он так и не понял, что прошли времена чертежников и конструкторов и люди давно конструируют только свое малогабаритное счастье.

Появился милиционер. Бодрый, недавно похмелившийся, с заломленной на затылок шапкой и небрежно перекинутым через плечо укороченным «калашниковым», и старика не стало — у него не было лицензии на право уличной торговли, разрешающей продать последнее — старую готовальню.

Дома старика ждала собака. Третий день она провожала его до дверей в надежде увидеть без готовальни, а та все возвращалась и возвращалась.

— Странно, — говорил старик, снимая галоши и выкладывая готовальню, — а в наше время была вещь...

Его квартира хранила тот особый отпечаток, который бывает в домах, где не с чего стирать пыль, где она уже не поднимается лишними вещами, а отвалившийся кафель в ванной давно не меняет ее внешнего вида.

— Ну вот, — рассуждал старик, перелистывая календарь, — через пять дней пенсия. Я отдам долг Майе Ильиничне в тридцать пятую квартиру, Петровичу, и мы наконец поужинаем по-человечески.

Потом он разваривал бульонный кубик, крошил хлеб, кормил собаку.

— Ты ешь, ешь. Завтра будет день — будет пища. Продам я эту готовальню. Мне и сегодня за нее давали, только мало. Завтра продам. А ты ешь, малыш, не бойся, что я какую-то чертову готовальню не продам...

Всю жизнь он был для людей, а теперь вот для этой палевой дворняги, которую когда-то подобрал щенком, пережил с ней всех близких и теперь был ответственен только перед ней одной.

Он верил, что продаст готовальню.

Есть какое-то неясное очарование в словах: новостройка, новоселье...

И вот пустынная новостройка за моим окном зажигается близким светом лампочек-временок. Еще не распакованы вещи, что-то доделывается за строителями, хозяева сидят за столом, стряхивая пепел в жестяную баночку из-под консервов, не спеша пьют чай, хозяин очищает прилипшую к ладони краску, и она, уже немолодая, уставшая ждать, обводит счастливыми глазами девятиметровую кухню...

Еще не прибиты гардины, и не повешены шторы, и звезды заглядывают в окна, и мы заглядываем.

А она трет и трет окна мокрой газетой, скребет бритвочкой — глядите, глядите, запомните нас счастливыми...

О чем думает одинокая брошенная собака с грязными подпалинами на боку?

На улице то ли дождь, то ли снег, и последняя, схваченная заморозком осенняя грязь являет собой всю нашу жизнь — с вмерзшими багровыми листьями, клочком газеты, окурком дорогой сигареты, шкуркой останкинской колбасы...

О чем думает собака, перебегая улицу и дрожа косо обрубленным хвостом, выковыривая корочку хлеба или обрывок шелковой ленты забытого оранжевого цвета... Не знаю.

Я знаю, о чем думает одинокий человек в городе, еще не укрытом первым снегом, улицы которого — пустынные и однообразные — уходят в бесконечность, пересекают экватор и вновь возвращаются в грязную, ненавистную, позднюю осень, и по ним нужно идти, идти и идти...

Он думает о собаке с косо обрубленным хвостом.

Предо мной привезенная из Иерусалима святая белая книга — мой дневник.

Интересно, когда я допишу последнюю страницу этой книги — она потемнеет?

А если записывать в эту книгу только хорошее, то ее с избытком хватит на три таких жизни, как моя. Или ваша.

Часто отсутствие глубины в прозе Довлатова — прежде всего, сведение бесконечных счетов с режимом. Вряд ли его прельщал ореол диссидента, узника мысли. Скорее всего, это была та планка, которую он так и не сумел преодолеть, подняться выше и осмыслить пройденный путь не только с позиции корреспондента местной газеты.

Все это как-то мелко и недостойно его таланта. Может, потому его проза воспринимается как нечто спрессованное, единое целое — трудно выделить любимое, особенно близкое.

Сколько нас, не пришедшихся ко двору, не вписавшихся в формат того времени. У каждого — свои личные счета, но страшно представить, что могло случиться, если бы все мы растратили себя только на сведение этих счетов. Вероятно, умерла бы литература.

Цыпленок бегал по комнате и стучал клювом в закрытую дверь.

Он родился четыре дня назад, ему мелко-мелко крошили вареное яйцо, и хозяйка поила его со своих губ.

Вообще же он доставлял массу хлопот, бегая следом и норовя вскочить на тапочки проходящих. Его боялись задавить, а он умер сам три дня спустя.

Его похоронили во дворе, выкопав ямку детской пластмассовой лопаткой. К нему не успели ни привыкнуть, ни полюбить — жизнь, едва забившаяся в этом желтом комочке, оборвалась на стадии праздного любопытства — кем он вырастет: петухом или курицей?

Я вспомнил его через год. Он усаживался на мои тапочки, вопросительно вскидывал головку, и мы вполне понимали друг друга.

Не верьте, тысячу раз не верьте в дневники писателей.

Дневники писателей — химера. Мы очень хорошо знаем себе цену и очень точно просчитываем посмертную значимость. Эти сокровенные записки для вас, дорогие потомки.

Это будет написано небрежно, но разборчиво, перечеркнуто, но прочитываемо, спрятано, но не искусно. Дневники писателей дышат грядущей публикацией.

После того как гроб внесли за церковную ограду и началось отпевание, из церковного двора выкатил мальчик на трехколесном велосипеде. Мальчику было четыре года, и он улыбался. Он посмотрел на стоящие у ворот автобусы, приставленные к автобусам траурные венки и спросил: «А почему когда человек умирает — ему нужно столько автобусов?»

Ах, малыш, все мы когда-то задавались подобным вопросом, а вот повзрослели и все чаще встречаемся на похоронах близких и давно забытых людей. Поднимаем поминальные тосты, едим кутью и уже ни о чем не спрашиваем друг друга.

Каждую зиму я собираюсь купить себе кроссовки — в магазинах они бывают преимущественно зимой. Но обычно как-то жаль денег, да и думаешь: что там будет летом, доживешь ли...

Но к лету кроссовки разбирают, и в них ходят совсем другие люди.

И недавно я понял: кроссовки покупают те, кто верит в будущее.

Но вот наступает состояние отрешенности. Оно приходит из ниоткуда, у него нет слагаемых. Был улыбающийся, обремененный заботами человек, кому-то сопереживал, в чем-то принимал участие — и вдруг остановился...

Ему не хочется ходить, но и сидеть в кресле тоже не хочется. Не хочется смотреть телевизор, но и тишина невыносима. Не хочется работать, читать, писать, говорить...

Обычно в такие минуты окружающие начинают с настойчивой маниакальностью осведомляться состоянием его дел и здоровья. «У тебя что, неприятности?» — с участливой требовательностью спрашивают его.

А у человека ничего, ровным счетом ничего не случилось — он всего лишь остановился и сосредоточился на себе. Этого-то ему и не прощают.

Жить бы около вокзала, железнодорожной станции...

Жить долго. Слушать в стывом морозном воздухе приглушенные голоса диспетчеров, объявляющих отправление поездов дальнего следования. Комната в эту пору погружена в полумрак, отдернуты шторы, и бледные блики тепловозных прожекторов проходят сквозь стены, тебя,

твои мысли и мечты, увозя к станции несбыточного назначения.

Поезда уходят, а ты остаешься, зная до минуты расписание следующего поезда. Остаешься и думаешь о скором отъезде. В конце концов, еще неизвестно, что важнее: отъезд или его предчувствие...

Но однажды ты берешь дорожную сумку с нехитрой поклажей и, не простившись, садишься в тот самый поезд, в котором мысленно уезжал не раз. И едешь в город, где никогда не был, в город у самой кромки Баренцева моря.

Живешь у подножия старого маяка, по вечерам сидишь на перевернутом днище рыбацкого баркаса, смотришь на огни далекого сейнера, падающие звезды...

Где-то там Земля Франца-Иосифа, Северный Ледовитый океан... Где-то там тишина, в которую уже не ворвутся поезда дальнего следования.

Я стоял на пороге чужой беды. Я переступил этот порог и вошел в комнаты, исполненные дыханием смерти.

В этом доме я вырос. Сюда я приходил, когда некуда было идти. Его больше нет.

Уходят не просто близкие — уходит послевоенное поколение, на которое мы так рассчитывали. Поколение самых счастливых — оно вдруг стало уходить раньше и чаще военного. Что это? Незащищенность нервной системы? Смятение перед надвигающейся эрой равнодушия?..

Мне трудно жить настоящим, вряд ли ужиться в будущем, а прошлое покидает меня...

Пустота. Чудовищная, обволакивающая пустота. Словно опоздал к началу спектакля, наступая на ноги, пробрался на отведенное тебе место в зрительном зале, поднес к глазам бинокль...

А пьеса бездарная и актеры невозможно фальшивят, истекая безвкусно положенным гримом, но зрители хлопают — они все это принимают, зрители.

И ты понимаешь, что надо уходить, сейчас, немедленно, пока не поздно, пока остались силы...

Но двери заперты. Тебя заперли снаружи вместе с теми, среди которых ты наивно полагал себя посторонним. Думал, сочту нужным — выйду...

Думаешь так, аловишь себя на том, что, заглядывая через плечо соседа, пытаешься прочесть фамилии исполнителей главных ролей...

В детстве мы с мамой ходили в сад «Черное озеро». Сад начинался аркой-полусводом с углублением внутри. Мы расходились по разные стороны арки, и я тихо произносил: «Мама...» И еще что-нибудь. И мама отвечала мне: «Сынонька...» И еще что-нибудь.

И словно через загадочный усилитель доносила арка наши голоса.

Арка та цела. Мы далеко. Говорим по телефону, что-то кричим друг другу. Дальше-то что будет?

Литература не терпит поверхностности и назидательности — отношения с читателем могут строиться только на равных. Проникновенно и терпеливо.

Писатель открывает дверь читателя своим ключом, вешает промокший плащ на вешалку, наливает чай в фарфоровую чашку и не спешит уходить...

Потому-то Толстой проходит через нашу жизнь, а Чехов остается.

После...

Безжалостный закон войны — в числе ее калек.

Убить могут сразу, в первую минуту боя. Можно погибнуть иначе. На разрушение человека, превращение его в калеку война отпускает себе паузу длиною в жизнь.

Сначала тебя калечат психически, заставляя бить ножом, стрелять на поражение, вжиматься в землю при разрыве стодвадцатимиллиметровой мины и хоронить, хоронить... И вот, когда ты уже находишься у черты здравого смысла, — тебя добивают физически.

И вдруг декорации стремительно меняются: мимо тебя спортивные «феррари», женщины на умопомрачительных каблуках, шлейф дорогого парфюма... Мимо тебя здоровые, предприимчивые, непроницаемые...

И ты на обочине: опирающийся на костыли, хрипящий простреленными легкими, чужеродный...

В добрый путь, сынок.

После выхода фильма «Прокляты и забыты» нам говорили: эти ваши раскатанные гусеницами тела, убитые, раненые с оторванными ногами — безвкусица, дурная эстетика...

Что ж, значит, и все мы, искалеченные, убитые войной — кто физически, кто нравственно, — тоже дурная эстетика.

Я вдруг стал стесняться третьего тоста. Третий поднимают стоя и молча. За не вернувшихся.

Я стал стесняться своих погибших. Они не нужны этой стране. Может, потому что погибли просто и обыденно, приняв пулю на вздохе, подорвавшись на противопехот-

ной mine, явив миру перекореженные обрубки тел и простреленные навывлет черепа.

Я стал чаще задумываться об эстетике, не замечая, как они бесприютно смотрят на меня с небес...

Ночью, за городом, при свете яркой настольной лампы наблюдал, как умирают, слетаясь на ее погибельный свет, комары, прерывая безумный полет, бьются крыльями ночные бабочки, падают на спину и замирают летающие жуки...

В дальнем углу комнаты, слабо мерцая, работал фумигатор — новейшее изобретение человечества по уничтожению насекомых. И тот, кто изобрел его, — одновременно придумал средство спасения и уничтожения. И я, пользующийся этим изобретением, спасаясь от навязчивого зудения и укусов, одновременно истреблял все живое вокруг себя. И не было в этом ничего особенного...

А была лишь настольная лампа и мертвые перламутровые крылья ночной бабочки в ее свете...

Она вошла в мою комнату — прекрасная, недостижимая, поднебесная. Села к столу, привычно закинула ногу на ногу, спросила:

— Ну что, опять попробуем быть вместе?

— Попробуем, — отвечал я, — теперь я успокоился надолго.

— Учти, — предупредила она, — в следующий раз я могу оставить тебя навсегда...

Я понимал: это не каприз. Сейчас мне хотелось только одного — подчиняться ей во всем.

— Я буду предвзята и непреклонна, — еще сказала она.

— Конечно, конечно, — лихорадочно повторял я, усаживая ее к столу и доставая лист бумаги...

Великая женщина. Клеопатра-литература. Многие из нас были готовы отдать жизнь за бессонную ночь подле нее...

Я знал, нам никогда не стать мужем и женой. Мы навсегда останемся любовниками. Восторженными и равнодушными одновременно.

Я мечтал, бредил о ней по ночам, единственной женщине — литературе. Но изматывая себя томительным недосыпанием, беспомощно царапая бумагу в замкнутом круге настольной лампы, я по-прежнему не хотел быть ей мужем, потому что тогда бы из наших отношений исчез момент Откровения...

С утра было безнадежно испорчено настроение, все валилось из рук, не надевался протез — и я в сотый раз проклинал свою собачью жизнь, снайпера, лишившего меня ноги, и ненавистный пейзаж за окном. В эти минуты весь мир был против меня и, словно перед концом, я вспоминал пройденный путь, совершенные на этом пути ошибки, отчаянные попытки стать счастливым...

Мне было очень жаль себя: немолодого, неудачливого, покалеченного...

Вечером этого дня у Женьки умер сын. Единственный. Умер четырнадцати лет, так и не придя в себя после двухнедельной комы, и даже вскрытие не обнаружило причин внезапно наступившей смерти.

А мы, катастрофически опаздывая на деловую встречу, стояли в душегубке Садового кольца, проклиная московские пробки, июльскую жару, городские власти и преследовавшее нас невезение. Эта встреча казалась нам судьбоносной...

Способные и усидчивые надолго пережили талантливых и одержимых. Количество подавило качество.

Смотрю на чьи-то дома, окна... Ждет ли за ними она — единственная? Думает ли обо мне?

На этих окнах легкомысленные занавески, за теми слишком ярко бьет в глаза пятирожковая лампа... Где же оно — мое окно? Где он — свет горний?

А свет в тех, кто рядом. В тех, кого ты сочинишь сам, — со всеми их достоинствами и недостатками. В тех, кто дарит тебе сыновей и незаметно сопровождает всю жизнь.

Котенок только приоткрыл глаза, едва перебирал лапками, и сами лапки были девственно пушисты и белоснежны, как выпавший ночью снег.

В серых настойчивых его глазах не было ни страха, ни растерянности перед открывшимся миром. В этом мире все было так огромно, велико и неподвластно его детскому осмыслению, вызывало такое искреннее любопытство, изумление и восторг, что к котенку приходили даже отдыхающие соседних корпусов — вероятно, им тоже хотелось посмотреть на мир его глазами.

А через несколько дней я увидел его с перебитым позвоночником — он полз, опираясь на передние лапы, а задние беспомощно волочились следом...

И уже никто не мог помочь ему. И умертвить его ни у кого не поднялась рука.

Потом он умер, так и не поняв, что его убили, не разделив участь тысяч бездомных котов, умер в простой уверенности, что отпущенные ему несколько дней и есть та жизнь, ради которой он появился на свет.

Умер, не узнав, что мир, казавшийся ему прекрасным и неповторимым, раздирают ненависть, и жестокость, и ежедневная борьба за эту самую жизнь. И хотя бы в этом он был благословен.

И вдруг такие разные и непохожие краски земли сменились одним серо-песчаным цветом: начался Афганистан.

В вертолете напротив меня сидел немолодой, с рубленными морщинами лицом, афганец и улыбался. Он летел на свою грязную, убогую, нищую, истерзанную двадцатилетней войной родину и был счастлив.

Он летел домой.

Штурмовик «альфа-джет» заходил со стороны солнца. Судя по всему, среди выжженной равнины и разбитого кшлага у него не было другого объекта, кроме обрабатывающего талибские высоты реактивного миномета и нашей группы, стоящей рядом с минометом.

— Сейчас будет бомбить, — перевел Ильхом предупреждение моджахедов. — Если что — воронка сзади.

Но талибский штурмовик неожиданно изменил курс, лег на боевой разворот и ушел в глубь территории.

Впервые я не испытал чувства облегчения от миновавшей опасности. Там, куда заходил «альфа-джет», не было иных целей, кроме соломенных крыш домов и грязных «боча», возившихся в пыли дворов...

Странная пара, как будто вырванная из небытия и перенесенная в этот жаркий июньский день на площадь Киевского вокзала, где люди, люди, люди, чемоданы, бляхи носильщиков, лязг буферов, маревс табачного дыма...

Старик с орденом Красной Звезды на лацкане вытертого пиджака и серый, неряшливо стриженный пудель на коротком поводке.

Пудель скулит, нетерпеливо перебирает лапами, рвется с поводка — так ему необходимо, так интересен этот светлый мир вокруг.

Старик безучастен. Сколько ему осталось? Год, может два. Что ему осталось? Тихая заводь квартиры, размытые временем военные фотографии, смешной глупый пудель, которому, к счастью, не суждено помудреть.

— С Новым годом! С новым счастьем!

— А старое куда?..

Как неправильно мы исчисляем возраст. Человек только родился, мы хлопчем возле него, суем в рот пустышку, говорим: «Сашеньке две недели, месяц и десять дней, полгодика, год, три с половиной...»

Хотя для Сашеньки такая арифметическая точность не имеет ровным счетом никакого значения.

И через десятилетия: «Александру Петровичу?.. Что-то около семидесяти...»

А он, Александр Петрович, именно сейчас готов разделить с вами мудрость прожитой жизни, предостеречь от возможных ошибок. Теперь-то и должен быть дорог каждый его год, месяц, если хотите, день.

Все наоборот.

— Витька Ланской где лежит?

— На Донском.

— В земле или в урне?..

Вот, собственно, и все. Для чего же мы проживаем такую долгую сложную жизнь?

Дождь начался при отпевании, лил во время прощания и закончился с последней брошенной на крышку гроба горстью земли.

Всего лишь стечение обстоятельств. А человек запомнится таким: небо прощалось с ним.

Суждена ли нам жизнь после смерти — не знает никто.

Так пусть же сам уход с внезапным дождем и солнцем продолжает нас на земле.

Рост у нее метр восемьдесят, лицо мадонны, руки альтистки... А содержание?

— Содержание?

Она удивленно вскидывает бровь, раскрывает дамское портмоне:

— На неделю активного отдыха...

Мир погружен в ритмы ударных...

Далеко в прошлом яблоневый сад, почти неслышные доносящиеся из дома звуки рояля, щемящие басы аккордеона, легкие гитарные переборы...

Гибель Помпеи под грохот осыпающихся камней...

Погребение душ под какофонию ударных...

Это не нарастающий темп века. Это опустошение.

В Подмоскowie на обочине скоростной трассы одноэтажный сруб с крестом и надписью «Церковь христиан, ожидающих второго пришествия Христа».

Мимо рефрижераторы, спортивные «мерседесы», чрева переполненных электричек...

Если Христос сегодня явится миру — его просто не заметят.

Казалось, на берегу океана можно жить вечно: легкий морской бриз, шум прибоя, по вечерам на террасе, кутаясь в длинную вязаную шаль с кистями, ты пьешь холодное красное вино, куришь, молчишь, распятая величественностью окружающего мира, россыпью звезд на небосклоне...

Все так. И не так. Мешает офорт на стене.

На офорте — средняя полоса России: голые мокрые сучья берез, черные сжатые поля до горизонта, воронье над полями...

Безвкусный кустарный лубок, сунутый при отъезде в чемодан, видимо, по недоразумению, и сейчас закрывающий пятно на обоях. Потом обои поменяют, а офорт выбросят за ненадобностью. Водрузят на его место виноградную лозу или что-нибудь из эпохи раннего Возрождения в густо позолоченном багете.

А где-нибудь в осенних лесах под Смоленском, кутаясь в воротник бушлата в предрассветном тумане, можно слушать поднимающихся из кустов вальдшнепов, ощущать под ногами тяжесть высокой, пересыпанной багровыми листьями росной травы и думать о сотворении мира.

Ружье в этот момент должно быть опущено стволами вниз — зачем тебе ружье, ты ни в кого не собираешься стрелять. Ты пришел сюда побыть один на один с самим

собой или со старинным верным другом, которой сам не терпит суеты...

В рюкзаке за твоей спиной переспелые антоновские яблоки, круг полтавской колбасы, початая бутылка водки, россыпь позвякивающих о граненые стаканы патронов. Это очень важно, где и из чего ты пьешь, кто сидит напротив тебя на поваленной осине и помешивает угли в догорающем костре.

И, раскуривая отсыревшую папиросу от дымящихся углей, ты как никогда остро понимаешь, что по-настоящему был не так уж часто счастлив в этой жизни. Может быть, только сегодня...

На берегу Атлантического океана, под мерный шум прибоя я пью виски двенадцатилетней выдержки и думаю об осенних лесах.

Уезжая, я забираю офорт с собой.

— Зачем тебе эта безвкусица? — спрашивают меня.

Что я могу ответить? В прожитой жизни было всякое, и плохое и хорошее, а остались только осенние леса, стук молотка путевого обходчика в стылом тумане на забытом богом полустанке и ощущение нищей, истерзанной переборами хмельного баяниста, сиротливой моей родины, которую уже ни на что не суждено променять.

Я провожал сына в детский сад. Когда мы пришли, группа пустовала, и только в одном из шкафчиков висели вещи Насти Королевой.

— Тебе надо на работу, пап, — сказал мой рассудительный сын. — Я пойду в пятую группу — там Людмила Николаевна Настю с утра причесывает...

— Почему в пятую? — спросил я.

— Людмила Николаевна — воспитательница в пятой группе. Как ты не понимаешь, пап?

Его искренне удивляла моя неосведомленность в таких элементарных вопросах.

Мы спустились на первый этаж. Я поцеловал его в васьмиковые глазки, нос-кнопочку.

— Ты помаша мне из группы, ладно, — попросил я.

И он помчался по коридору, смешно закидывая ножки.

В гулкой, еще не заполненной детским гвалтом тишине коридора было слышно:

— Настя! Настя! — кричал сын.

— Вася! — отвечала Настя.

Они дружили не первый год, и когда жена задерживалась на работе, Людмила Николаевна — мама Насти — забирала сына к ним домой.

Я знал, что сын не появится в конце коридора и не махнет мне рукой, — он тотчас забыл про меня. Знал, но по-прежнему сидел на дерматиновой тумбе при входе и ждал... Немолодой, бритый, седой, примостив тяжелую трость у ног...

Чего я ждал?

Что он прибежит, бросится ко мне, обнимет тонкими ручками, выдохнет:

— Папочка, миленький...

Так он говорил, когда я целовал его крохотные розовые пяточки, а они с каждым разом становились все больше и больше. Так он скажет не раз. Но мне это было необходимо сейчас. Он еще не понимал, а я не мог ему объяснить, что для меня нет ничего на свете дороже его любви. Что у меня замирает сердце при виде этого маленького человечка с васильковыми глазками. Что...

Мимо проходили воспитательницы, смотрели недоуменно: чего он ждет здесь — немолодой, бритый, седой?

Я боялся этого вопроса. Тогда мне пришлось бы соврать. Потому что больше всего на свете мы стесняемся признаться в неистовой любви к своим сыновьям. Потому что нет для нас ничего важнее образа защитника, воина, охотника...

Мы живем ощущением свободной охоты, не замечая, как сыновья вырастают и уходят от нас... Их еще можно догнать, обнять за плечи, тихо произнести: «Сыночек...»

Но на пропыленных камуфляжах их плеч уже висят опущенные стволами вниз автоматы Калашникова, и спаренные магазины не оставляют сомнений в том, что они стали безнадежно взрослыми — наши сыновья...

Город-призрак. Город, которого нет. Грозный.

В первую войну испуганно смотрел, как досылаются в ствол снаряды и резко бросает руку охрипший, с перемотанным полотенцем горлом старший лейтенант:

— Батарея! Беглым — огонь!

А с неба, ложась на боевой разворот, заходила четверка штурмовиков...

Так убивали город.

В этом городе выросли дети, которые никогда не видели других городов. И этого не видели. Дети, выросшие в руинах...

Потом городу дали передышку. На три года. От войны до войны. Вернулись и уничтожили окончательно.

Я вновь в этом городе со свежескрашенными табличками на несуществующих улицах... Меня привела сюда война. Из этого города она когда-то отправила меня в надежное плавание по медсанбатам и госпиталям. Я выжил и вернулся. Для чего?

Еду на броне, настороженно прощупывая взглядом зияющие дыры чердаков, входные отверстия тяжелых гаубиц, обвалившиеся перекрытия... Я здесь чужой. Мой автомат снят с предохранителя.

Иногда на домах попадаются надписи: «Здесь живут люди». Это неправда. Здесь, за разрушенными заборами, под пробитыми снарядами крышами давно никто не живет. Живут за теми обтянутыми полиэтиленом окнами под нависающими с верхних этажей обломками стеновых панелей... Сколько их — этих окон? Пять, шесть, десять. На квартал.

Останавливаемся на перекрестке, пропуская колонну бронетехники соседнего полка.

На выгоревших зеленых воротах нетвердой детской рукой написано: «Это мой дом. Все будет хорошо. Света».

В нескольких местах безжалостно рвут буквы пулевые отверстия...

Стоим долго. Наконец трогаемся, едем дорогами Чечни, стреляем, умираем, возвращаемся домой. Дома все близко и по-особому дорого после долгих скитаний. Привычная чашка, пепельница, складки от утюга...

Ночью в окне висит луна, я лежу, положив руки за голову, не сплю. Не хватает привычного эха канонады вдалеке. И еще что-то все время тревожит меня...

Я думаю о Свете. Где она? Жива ли? Все ли у нее хорошо?

Так проходят несколько дней и ночей. Я думаю о Свете. О ее отчаянной попытке быть счастливой, выраженной в одновременно вызывающей и беспомощной надписи на воротах. О том, сколько горя принесла война. И ей и мне. И еще тысячам таких как мы.

Перед сном я сижу у постели своих сыновей. Они уже спят, и потому я могу сидеть возле них долго, не стесняясь

своей любви. Я поправляю на них одеяла и думаю о Свете. Мне кажется, что она тоже моя дочь, с которой нас временно разлучила война.

Я так часто думаю о ней, так одержимо желаю ей счастья, что уверен — моя энергия добра не могла не воплотиться во что-то осязаемое: у нее дом с настоящей, выложенной изразцами печкой, и в этом доме хорошо и уютно. Хотя бы потому, что он далеко от войны. Я так настойчиво убеждаю себя в ее счастье, что впервые за эти дни прихожу к согласию с самим собой.

Засыпаю успокоенный. Ненадолго...

Я лежу под пологом брезентовой палатки и слушаю ночное пение птиц. Иногда они залетают и сюда, на высоту 148, 2, и убивают моих товарищей.

Крыша палатки безбожно течет — ее искевали ночные птицы. «Блям-блям», — с граничащей с помешательством однотонностью капает в расставленные на полу банки вода.

— Может, заделаем? — предлагаю я.

— А, — вяло машет рукой Игорь, — сколько можно заделывать...

И поворачивается на другой бок.

С тяжелым уханьем филина шелестит над палаткой снаряд двадцатимиллиметровой пушки. В селе под нами дробностью обезумевших дятлов взрываются автоматы. И, словно стремительно взлетающая стая воронья, — отвечает крупнокалиберный пулемет.

Но все это там, далеко. И только резкий свист стрижа над головой напоминает о том, что из ближайшей «зеленки» в прицел ночного видения за тобой наблюдает снайпер, слишком торопливо нажавший спусковой крючок...

Восемь лет назад одна из таких птиц задела своим крылом и меня. С тех пор меня сводят с ума боли в ампутированной ноге, и кажется, что кто-то вбивает в голову раскаленные гвозди...

Мне известно объяснение боли в отсутствующей ноге — это фантомная боль. Я примирился с обжигающей частотой вбиваемых гвоздей — это контузия. Мне непонятно, почему до сих пор обрывается казалось бы ко всему привыкшее сердце...

Я сижу в курилке, облокотившись на рукоятку палки, и думаю о птицах среднерусской полосы, девственных озе-

рах, шуме корабельных сосен за окном егерской сторожки, шмате улежавшегося сала под стакан теплого мутного самогона на поскрипывающем крыльце...

— Собирайся, — говорит Игорь, — «броня» на подходе...

Сегодня нам предстоит провести колонну центроподвоза через укрытое непроходимым зеленым массивом Ведынское ущелье.

Мы рассаживаемся на броне, досылаем патроны в патронники, снимаем автоматы с предохранителей. Настороженно вглядывается в сопки смертоносное жало КПВТ.

Наши птицы рвутся в полет. Навстречу им со стороны чужих, молчаливо-тревожных гор рвутся такие же птицы смерти... Возможно, сегодня они сойдутся иступленным криком альбатросов в прореженном автоматными очередями воздухе, и тогда...

Мы стараемся не думать об этом. Кочуем дорогами войны — не поэты, не романтики — смертельно уставшие, пропыленные, земные: никто из нас не хочет слышать пения птиц...

Всю жизнь необходимо было рано вставать, бежать куда-то... На работу, к прибытию поезда, в отпуске приятель тормозил: «Вставай, пойдем к морю, пока там никого...»

На войне поднимались ни свет ни заря, словно боялись, что войны на наш век не хватит. А ее хватило на всех. И на тех, кто был до, и на тех, кто после. И на нас — с лихвой.

Всю жизнь хотелось выспаться. Где-нибудь в деревне, на сеновале, под крики петухов, размеренный стук топора во дворе, суетливые хлопоты хозяйки.

Проснуться к обеду, накрытому столу с чугуном разваристых щей, огурцам и помидорам с грядки, перламутровым головкам чеснока, стопке холодного, как родниковая вода, самогона, под немудреные житейские пересуды...

А потом сидеть с хозяином на крыльце и, потягивая крепкий самосад, в который раз слушать бесхитростную повесть его жизни.

Слушать и думать о своем, наслаждаясь дурманящим запахом скошенного сена, тишиной и покоем закатного дня...

Всю жизнь хотелось отоспаться. Вот так, разом, за все.

Всю жизнь, взбадривая себя утренним кофе, повторял одну и ту же брошенную кем-то идиотскую фразу: «На том свете отоспимся».

Тот свет не за горами. И по-прежнему не ясно, можно там отоспаться или нет...

— Прикрой нас! — резко обернувшись ко мне, горячо выдохнул Жорка. — Мы к первой «броне»! У башнера пулемет переклинило!

До первой «брони» было чуть больше тридцати метров. Подавшись вперед, как перед броском на короткую дистанцию, они рванули к бронетранспортеру. По открытой, лежащей как на ладони дороге. И тут же сзади них высекло автоматной очередью каменную крошку...

Тридцать метров. Их еще надо было преодолеть...

Стремительно переместившись к люку механика-водителя, я дал несколько длинных очередей по склону. Выше, ниже, левее: из-за плотных зарослей «зеленки» было невозможно определить, откуда велся огонь.

Присев поменять опустошенный рожок, я краем глаза увидел ожесточенные сигналы Жорки: они успели добежать и укрыться за первой «броней».

Я бросил взгляд на часы: было семь тридцать шесть утра...

У гранитного парапета Москвы-реки пустые бутылки, мятые жестяные банки, окурки дорогих и дешевых сигарет. За гранитным парапетом Москвы-реки в темных маслянистых водах бутылки, банки, окурки...

Что-то оседает на изуродованном отходами дне, что-то впадает в Оку. Из Оки в Волгу. Из Волги в Каспийское море...

Вдоль парапета — группами по несколько человек — пьяные, обкуренные, отвязанные...

Конец мая. Последний звонок.

У обочины в ряд — патрульные машины, снятые с маршрутов «икаруссы» — сегодня они предоставлены выпускникам.

На задних стеклах автобусов знаки: «Осторожно, дети!» На знаках два малыша, испуганно перебегающих дорогу...

Водитель, будь предельно внимателен: на дороге дети!

Водители останавливаются, откинувшись на сиденье, ждут терпеливо и по-отцовски трогательно: дорогу переходят дети...

По дороге на кладбище — склады, ангары, ржавые стрелы башенных кранов у недостроенных заводских корпусов, полинявшие от дождей слоганы рекламных щитов:

«Любые запчасти для японских автомобилей», «Блок-хаусы. Евровагонка», «Ощути мир с ЛД»...

Над дорогой — низкие рваные облака, выцветший аэростат с рекламой давно прошедшего сериала на спущенных боках...

Сколько ненужных подробностей сопровождает нас на пути в вечность...

Я сидел у постели умирающего товарища и думал о цинизме писателя.

Параллельно в повести, которую я писал, умирал военный корреспондент. Умирал от рака, мужественно и возвышенно, щедро расточая последнюю мудрость на отводящих заплаканные глаза близких.

И мучаясь над этой главой, понимая, насколько не вписывается в конструкцию повести искусственно-претенциозный эпизод смерти, пытаясь сделать его проще и достовернее, я окончательно потерял связующую нить между литературой и действительностью.

Я давно ни с кем не прощался вот так: в течение нескольких дней, недель, месяцев. Не помнил, как ведут себя люди, чей конец предначертан и неизбежен, но лишь один Бог ведает, когда он наступит.

Те, кого я терял, посеченные осколками, хрипящие простреленными легкими, умирали у меня на руках. Умирали мучительно, в последнем тяжелом бреду, давясь кровавой рвотой и судорожно царапая землю слабеющими руками...

И вот теперь, в сумраке наглухо зашторенной комнаты, на мятой серой постели, среди склянок с лекарствами, умирал мой товарищ — настоящий военный корреспондент, во многом послуживший прообразом тому, литературному герою.

Умирал скупно и неприглядно, не растрчивая себя на прощальные фразы и не подводя итог сложной, насыщенной событиями и теперь уже прожитой жизни.

Умирал не от ран, полученных на войне, где он провел большую часть жизни, а от истерзавших его тело метастазов, перед которыми по-прежнему было бессильно человечество.

И глядя на огромный, разбухший, как спрут, лимон в стакане остывшего чая, я подумал, что метастазы, наверное, выглядят так же: всепожирающе, давяще, захватнически...

Изредка перехватывая потускневший отсутствующий взгляд товарища и слушая короткие, с трудом дававшиеся ему фразы, я наконец понял, как описать смерть литературного героя.

Это был момент откровения. Почти не слыша, отвечая невпопад, я размышлял о повести, и только повесть была для меня главным событием этого дня.

Но, думая о повести, я впервые поймал себя на мысли о том, до какой степени нашему стремлению сделать мир лучше и чище неразрывно сопутствуют профессиональные жестокость и цинизм по отношению к людям, живущим рядом с нами и все чаще уходящим от нас...

Сейчас мне было необходимо одно: запереться на несколько часов и записать новый вариант главы.

Для этого я должен был уйти.

Я ушел, сославшись на непредвиденные обстоятельства, мелко и стыдно разыграв телефонный звонок несуществующему абоненту. Ушел, так и не заметив неприютного взгляда, которым он простился со мной...

Я успел, записал. Оторвавшись с мертвой точки, повесть поплыла по течению, и несколько дней я парил в поднебесной высоте от сознания талантливо выполненной работы.

В среду утром позвонила его жена.

— Юра умер, — сказала она. — Три часа назад...

Степень безнравственности общества легко проследить по пунктам обмена валюты — неотъемлемой примете нашего времени.

На центральных улицах городов, в местах оживленных и беспокойных, курсы обмена почти не отличаются друг от друга, но стоит вам оказаться в аэропорту за час до отправления рейса или в глухом «медвежьем углу», где один-единственный «обменник» на десятки километров вокруг, как вы с изумлением увидите: курс занижен до такой степени, что продать валюту можно только в состоянии полной безысходности.

Ваше отчаяние — наша прибыль. В конечном счете, можно сформулировать и так.

Пункты обмена, театры, сапожные мастерские, больницы, школы, суды, магазины — каждый на своем месте мы извлекаем пользу, прок, выгоду.

Стараемся сделать небрежнее, но дороже, бесплатно, но больнее, бездарнее, но претенциознее.

Сапожник — учителю, акушерка — роженице, художник — непосвященному, судья — безвинному, равнодушный — равнодушному...

И каждый день с маниакальной настойчивостью мы повторяем одно и то же: правительство не любит свой народ, не доплачивает, не предоставляет, не бережет...

И впервые от имени правительства мне захотелось спросить: а за что нас любить?

Как прекрасен скрип уключин в предрассветном тумане, как созвучен он тихому плеску воды о борт рыбацкой лодки, как безмятежен мир на рассвете...

Как глубоко спят кричавший всю ночь малыш и рядом, уронив голову на руки, измученная его криками мать.

С иступленным карканьем поднимаются с веток стаи воронья, уступая рассвет благовестным птицам и, обдуваемая теплым ветром, шелестит листва за окном.

На столе переполненная окурками пепельница, недопитая водка в стаканах, вчерашние непримиримые оппоненты спокойно и ровно дышат во сне и так встречают рассвет, стирающий следы казалось бы неразрешимого конфликта...

Где-то далеко дребезжит на мостовых дежурный трамвай, увозя неприкаянных влюбленных и проспавшего свою остановку нетрезвого отца семейства с заранее виноватым лицом.

Завернувшись в одеяло, курит у окна немолодая женщина с темными провалами бессонницы под глазами, и первый коснувшийся подоконника луч солнца примиряет ее с еще одной ночью, теперь оставшейся позади...

На рассвете начинаются войны.

Почему благополучному с его именьями, угожьями, престольными обедами Толстому было необходимо море с балкона особняка в Гаспре, а мятежный болезненный Чехов довольствовался низкими плетеными заборами пыльной татарской слободы, за которыми ругань возчих, бабы с бельем, обреченно бредущие овцы...

Потому что море было в нем самом? Или потому что он боялся перенасытиться им, как рано или поздно перенасыщаются морем все живущие возле него? И тогда бы шум прибоя и магическая непостижимость стихии, сливающейся со Вселенной у горизонта, перестали быть для него Откровением.

И лишь изредка у самой кромки воды в бухточке Гурзуфа одинокий, чахоточный, брошенный в Крыму женой, которую любил и ненавидел одновременно, он думал о Москве, осенних лесах Мелихово, о провалившейся «Чайке» и длинно-назидательной «Дуэли», о том, что так ни черта и не успел в этой жизни, оставшиеся годы которой теперь мог безошибочно предсказать как врач...

Думал о том, что он — автор нескольких посредственных рассказов и большинству непонятных пьес, средней руки доктор, в сущности, никем и никогда не любимый, — так жалок и ничтожен на фоне беспокойной и необъятной стихии, что не стань его завтра — на это никто не обратит внимания.

Так же будет безучастно море и грозовые облака над ним, скучны склонившиеся над гробом лица и гонимы ветром перемешанные с мусором земли обрывки театральных афиш...

Сидя у моря и кутаясь в воротник пальто, он не мог знать, что для многих именно с него начнется русская литература, что тысячи писателей будут безбожно красть его запахи, интонации, настроение, предопределенность судеб его героев, что режиссеры всего мира будут ломать головы над не вписывающимся в привычную схему алгоритмом его пьес.

Что и через сто лет дядя Ваня будет стрелять в Серебрякова, а Треплев задыхаться от непонимания окружающего мира...

А кованые ступени дома Толстого туда, наверх, по винтовой лестнице вели к огромному балкону, где за кипарисовыми рощами открывалось бесконечное пространство воды без запаха и звука, шума волн и крика обезумевших чаек...

И над всем этим он: создатель, небожитель, хранитель основ и законодатель холщовых рубах у подножия горы Ай-Петри. Между морем и небесами. А следовательно, пока еще земной, доступный, иногда позволяющий себе принимать за обедом Чехова...

Сыну было четыре года, он сидел на подоконнике и, свесив ножки вниз, напевал:

Ночью за твоим окном
Ходит сон да бродит сон.
По земле холодной
Ходит сон негодный...

— Сыночек, — тихо позвал я.

Он обернулся.

— Да, пап...

Под ним была пропасть в пять этажей.

«Пять этажей вниз... — загнанно подумал я. — Пять этажей... Почему не вверх?..»

— Жарко сегодня, правда... — Я осторожно, шаг за шагом приближался к нему. От двери к окну. Каких-то полтора метра.

Когда-то я уже шел так. По минному проходу. Невесомо ступая след в след за теми, кто шел впереди.

— Напечет тебе головку...

— Да ерунда, пап, — улыбнулся он и отвернулся к окну.

В это мгновение я успел схватить его за руку и рвануть к себе...

В соседней комнате отмечали чей-то день рождения, сын бегал по офису, баловался, хватал со стола то помидор, то огурчик — его невозможно было заставить поест по-человечески, собственно, как и усидеть на одном месте больше десяти минут. Взрослые называли его «ртутный шарик». На какое-то время я потерял его из поля зрения...

И вот он на подоконнике моего кабинета, свесив ножки над пропастью...

— Папочка, не плачь, — просил он и плакал сам.

Меня трясло.

— Ты думал, я упаду, да? Прости меня, папочка, прости меня...

Губки его дрожали, он стискивал меня своими крохотными ручками, а я целовал его глаза, плечи, стриженую макушку... и уже не мог отпустить от себя...

Иногда по обоюдному согласию вместо садика я брал его с собой на работу. Тогда мне казалось, что на свете не существует более безопасного места, чем эти три просторные комнаты с рабочими столами, компьютерами и приветливыми к нему взрослыми...

А за первым да за сном,
За твоим да за окном
По свежей пороше
Ходит сон хороший...

И вот уже шесть лет я держу его на руках, зацеловываю его макушку, ощущаю биение его сердечка...

Из того лобастого смешного «ртутного шарика» он вырос в долговязого, порой не по-детски рассудительного мальчугана, а мне по-прежнему необходимо время от времени прижимать его к себе, ощущать, что он здесь, рядом, что так будет всегда, какие бы года и расстояния не легли между нами...

И чем дальше мы идем этой лунной дорожкой — я старею, он взрослеет, — тем смиреннее я принимаю свой уход: и то, что когда-нибудь померкнет свет, и что уже не будет моря и шума дождя за окном, и что я не успею проститься и простить, а кто-то не успеет простить меня...

Я могу представить себя бестелесной, расплывчатой субстанцией другого измерения. Его — взрослым, мужественным, ощущающим твердь земли под ногами...

Я не могу представить одного — что он больше не бросится ко мне от двери, не повиснет у меня на плечах, не выдохнет заветное:

— Папочка...

Как я буду без него? Без ощущения этих маленьких беззащитных ручек на своих плечах. Что я буду без него?

Я мог и не осознать этого, если бы тогда, шесть лет назад не рванул его с подоконника и не прижал к себе на всю оставшуюся жизнь.

Первый сон я прогоню.
А второй я заманю.
Чтоб плохой не снился,
А хороший сбылся...

«Иди. Кто тебя держит?..»

Эта фраза ударила внезапно, наотмашь, куда-то туда, где прерывается дыхание и становится нечем и не для кого жить...

И ты вдруг явственно ощущаешь свою беспомощность, ненужность, неприкрытую, почти детскую беззащитность, когда надо зарыться в мамино плечо, а мамы нигде нет.

Словно ты и не рождался вовсе, не любил, не страдал, не пытался что-то изменить в себе и вокруг себя...

И вот стал не нужен одному человеку. Всего лишь одному...

Но, постигая смысл этой беспощадной фразы, ты замечаешь, что, оказывается, не нужен и другим. Что ты слишком негибок, докучлив, что тебя терпят из жалости, а если

быть честным до конца, — из снисхождения к вечности, возрасту...

И тогда ты закуливаешь, поднимаешь воротник пальто и уходишь в ночь, в день — все равно в какое время суток с одинаково бесстрастными красками вокруг. И чем дальше ты уходишь, тем отчетливее понимаешь, что никто не глядит тебе вслед...

Когда мчишься по центральному проспекту и солнце, хлынувшее на город, бьет тебе в глаза через боковое стекло, достаточно свернуть влево от солнца в какой-нибудь тихий, неприметный переулок, и тогда оно станет светить тебе в спину.

Не такая уж она огромная — Вселенная...

А боль бывает такой, что кажется, проще умереть. Правда, бывает. Такая, что не пережить...

Когда пуля пробивает сосудисто-нервный пучок и выходит навывлет, ломая в щепки бортовые доски машины (словно не ты, а именно этот кусок дерева был ее целью), и возникает ощущение, что кто-то незримо-беспощадный, каменно-непроницаемый наматывает твои нервы на стальной кулак...

И тогда, как перед последним броском, ты набираешь воздух в хрипящие легкие и кричишь сопровождающим тебя до медсанбата автоматчикам:

— Пристрелите меня! Не могу больше...

Только не кричишь ты, а молишь, воешь, скребешь руками по днищу крытого простреленным брезентом «Урала»...

И уже никогда не забудешь выражения неподвластного детского испуга на обожженных, обветренных войной мальчишеских лицах: они не могли поверить, что подобное может быть правдой.

А так бывает. Со мной — было.

Наверное, так же и с жизнью. Когда до такой степени надорван, иезуитски и безжалостно намотан на оголенные жернова, что уже физически не можешь, и самое страшное — не хочешь сопротивляться ее огневому валу.

Такого со мной не было. Пока не было.

ПОВЕСТИ

Мутный Материк

...Старший лейтенант обмакнул валик в пасте, аккуратно раскатал на резиновой пластине и принял палец. Тщательно оттиснув палец, он перенес его на чистую карточку, где было выведено: «Комаров Алексей Юрьевич» и данные преступника.

Сделав отпечаток, старлей полюбовался своей работой и сказал:

— Вот так, Удмурт, теперь ты в нашей картотеке навечно. И что ты не натвори, — старлей любовно оттискивал пальчики, — мы тебя всегда найдем. Из-под земли достанем.

— Я же не вор, начальник, — возразил Леха.

— Не вор — станешь вором, такая уж у вас, уголовного элемента, планида. Повезло тебе с отсрочкой от приговора — не я судья...

— Не мне одному, — сказал Леха, — не ты судья...

Старлей смерил Леху тяжелым взглядом, но промолчал.

Погас свет. Лишь рассеянный отблеск уличного фонаря пробивался через зарешеченные окна.

— Опять подстанция! — возмутился старлей. — Чем они там занимаются, сукины дети? Так что смотри, Комаров.

— Впередсмотрящий смотрит только вперед.

— Что? — не понял старлей.

— Я свободен?

— Как птица.

Леха открыл дверь...

...Олени бежали по склону, накрывая рогами белые северные горы и задевая первые проступающие звезды.

— Тормозни, — попросил Леха и, выдавив дверцу, на ходу спрыгнул в снег. «Урал»-бензовоз пронзительно закрипел тормозами и остановился. Водила — немолодой, тощий — тоже вылез из машины.

— Жаль, оленей распугали, — расстроился он, — так и не посмотрел.

Леха примостился на бампере, закурил, спросил:

— Ты первый сезон?

— Первый.

— Еще насмотришься.

Олени пропадали в горах, только слабый перезвон консервных банок доносился в окоченелой тишине. «Блямблям» — отстукивала баночка о спиленный олений рог. И это такое привычное легкое звучание сейчас наполняло душу смутной необъяснимой тоской.

— А чего ночью не поехали? — поинтересовался водила.

— Волки здесь, — неопределенно ответил Леха.

— Волки?

— Олени телятся... — Очень хотелось помолчать. — Когда олениха телится — она отходит от стада и рождает в одиночестве. Следом идут волки, ну и... Короче, опасно ночью, неужели непонятно?

— Откуда ты все знаешь, Удмурт?

— Живу давно. Помолчи, а...

Водила обиженно засопел, влез на подножку.

— Поехали.

Леха сплюнул окурок, затоптал в снег, залез в кабину.

Поехали.

По селектору на всю станцию неслось:

— Валь... Валя... Соловьева!

— Ну...

— Там у нас маневровый на каком пути?

— Откуда я знаю?

— А кто знает, твою-то мать! Сидишь там, веники вяжешь... Быстро посмотри и доложи.

— Ага, щас! Спешу и падаю, — огрызнулся селектор, но уже тише.

Показался поезд.

В селекторе что-то зашипело, заклокотало и, когда установился состав, сообщило голосом диспетчера Соловьевой:

— На первый путь прибывает... пардон, прибыл пассажирский поезд № 180 Воркута—Москва. Повторяем: на первый путь прибыл пассажирский поезд № 180 Воркута—Москва. Просьба пассажирам побыстрее занять свои места. Поторапливайтесь, граждане...

Леха ступил на подножку, показал билет заспанной, прикрывающейся от ветра колючим воротником шинели проводнице, прошел в вагон.

Вагон был плацкартным, зябким и почти пустым. В одном из купе, кутаясь в платок, сидела молодая женщина и смотрела в окно отсутствующим взглядом. Здесь он и установился.

— Позвольте быть попутчиком?

— Вы уверены, что у вас именно это место? — спросила женщина.

— Абсолютно.

— Ради бога.

И отвернулась к окну.

Леха разделся, достал из сумки шоколадку:

— Вам.

— Мне? — женщина удивленно вскинула бровь.

— А что вас в этом удивляет?

— Скореестораживает. Приставать будете?

— Непременно.

Он достал еще одну плитку, прошел к проводнице:

— Я только из тайги и сразу на поезд. Как бы помыться?

Проводница достала чистое полотенце, налила в чайник горячей воды из титана.

Мылся он долго. Тер сильное тело, смывал, фыркал, и снова тер, и снова смывал.

Проводница смотрела на него и думала, что если бы не вся ее собачья жизнь с грязными вагонами, водкой, пьяными мужиками в прокуренной клетушке служебного купе, — и у нее мог быть такой же сын. Он так же бы возвращался из тайги, и она долго обмывала из чайника его худое знакомое тело.

Расчесывая влажные волосы, Леха вернулся в купе.

— Ну что, давайте знакомиться. Алексей.

— Тамара, — безучастно произнесла она.

— Коньяку выпьем, Тамара?

— Какой вы, однако, предусмотрительный, — она впервые повернулась к нему. — Свежевымытый, напичканный шоколадом и коньяком. И лимон у вас есть?

— Лимона нет, — он беспомощно развел руками.

— Что ж, давайте выпьем...

Пила она медленно, без удовольствия.

— Куда едете? — спросил он.

— Никуда, — не сразу ответила она. — Бегу от мужа...

История скучная и, в общем, обыкновенная.

— С офицером?

— С дорожным чемоданом.

— А муж?

— Муж одержим одной идеей — заработать все деньги и отгрохать дом где-нибудь на теплом побережье. Бассейн, зеркальные карпы, голубая норка...

— Не такая уж плохая идея. А вы, разумеется, птица иного полета.

— Какая из меня птица...

— Ну-ну. Еще?

— Можно и еще.

Выпили.

Она сказала:

— Да не смотрите вы все время на часы. Я уже обратила внимание на ваш сногшибательный «Ориент».

— Грешен: хвастлив. Где-то я вычитал, что у мужчины должны быть безупречными часы, галстук, обувь и зажигалка. У меня в наличии только часы. Приходится подчеркивать.

Часы и вправду были потрясающие: большие, с хрустальным стеклом, каким-то фантастическим светящимся циферблатом.

— А я где-то читала, что мужчина должен пройти войну, любовь и тюрьму. С этим у вас как?

— С этим сложнее.

Он достал сигареты.

— Курите?

— Увы.

— Почему «увы»?

— Потому что когда женщина пьет, курит, да еще разыскивается собственным мужем — к ней уже трудно относиться как к женщине...

— Вы очень этим огорчены?

— Я огорчена тем, что все надо начинать сначала. А я... Я к этому не готова.

В тамбуре было холодно и грязно. Тамара прислонилась к стене, затянулась, прикрыла глаза. У нее была неброская, обманчивая на первый взгляд внешность, но она принадлежала к тому редкому числу женщин, в лица которых можно вглядываться всю жизнь.

— Куда же ты все-таки?

— Действительно никуда. Сойду где-нибудь, устроюсь...

— У тебя что ж, никого нет?

— У-у, — она покачала головой. — В ряду вещей, о которых мечтал мой муж, я оказалась самой доступной.

— Поедем со мной в Москву, — неожиданно предложил Леха. — У меня комната с видом на набережную. Будем чай пить с малиной, на реку смотреть. Ну, еще театр, саляут, зоопарк.

— Поедем, — безразлично согласилась она.

Он бросил сигарету, наклонился и поцеловал ее в губы. Можно сказать, символически. Она не оттолкнула его, только спросила:

— Зачем?

— Хотел убедиться в твоей доступности...

— Убедился?

— Пока неясно...

— Тогда разреши, это сделаю я.

Она обняла его, поцеловала долго и пронзительно, как целуют первый и последний раз.

— И что теперь? — задохнувшись, спросил он.

— Теперь мы вернемся в купе, а завтра разойдемся... Каждый на своей станции...

Утром он тронул ее за плечо.

— Тома, вставай, нам скоро выходить.

Она и не спала. Повернулась к нему.

— Ты серьезно?

Он не ответил. Стоя у зеркала, расчесывал влажные волосы.

Тома села на постели, прижав одеяло к груди. Растерянная, верящая и не верящая...

— Я нужна тебе?

Леха сел напротив нее, засмеялся и воткнул свою расческу в ее спутанные волосы.

— Если б ты знала, на кого ты сейчас похожа...

Леха зашел в здание с вывеской «Производственное объединение «Уралзолото»».

— Здорово, Удмурт!

— В отпуск?

— Да, да...

Улыбались, жали руки, были действительно рады друг другу.

— Ну, как вы там, на Крайнем Севере? Задыхаетесь от нехватки витаминов?

— Задыхаемся, но по-прежнему самоотреченно строим социализм с человеческим лицом...

— Это с твоим-то...

— А что, лицо как лицо, — серьезно ответил Леха. — Ему бы еще хоть какое-нибудь выражение придать...

Бухгалтер — молодой парень, Лехин ровесник, — сверяясь по ведомости, набирал на калькуляторе.

— Итого: сто сорок восемь, будем считать, сто пятьдесят трудодней. По червонцу на день — тысяча пятьсот рублей.

— Две с половиной, — с нажимом сказал Леха.

— Паниковский, зачем вам деньги — у вас же нет вкуса.

— Это у тебя нет вкуса, если ты считаешь, что старатель может прожить на полторы штуки в месяц.

— Ладно, уговорил. Две.

— Ладно.

Хлопнули по рукам.

— Чего ты в отпуск-то? — отсчитывая деньги, спросил бухгалтер. — Вроде не сезон.

— Устал, — односложно ответил Леха.

— Устал... Сейчас самая работа — не бей лежачего.

— Устают по-разному, Эдик...

Бухгалтер внимательно посмотрел на него.

— Добавить тебе еще полштуки?

— Добавь.

Пробивались в вечернем небе габаритные огни самолета. Дремали пассажиры. По проходу, настойчиво предлагая воду и леденцы, шла длинноногая хозяйка салона.

Тома спала, положив Лехе голову на плечо, и в том, как невесомо прислонилась она к нему, во всей ее угловатой позе ощущались неуверенность и настороженность. Темно-фиолетовые облака лежали за окнами иллюминаторов.

Леха что-то записывал в блокнот, перечеркивал, записывал вновь. Мучительно тяжело давались слова.

«Душа обязана трудиться: и день и ночь, и день и ночь...»

Она и трудилась: с восьми утра до восьми вечера, промывая ненавистный золотой песок, стиралась, мылась, тайком пила водку, нарушая непреложный сухой закон, ложилась спать. И не могла растратить себя даже на письмо — потому как писать ей, в сущности, было некому.

И теперь ей было необходимо вернуть созерцание и покой с помощью таинственных неподвластных знаков, именуемых словами, и женщины, так неожиданно прибившейся к оскудевшему берегу.

Он вырвал исписанный листок, скомкал, бросил на пол. Повернулся к Томе и осторожно коснулся губами ее волос.

Она улыбнулась скованно.

Ресторан был закрыт на обед. В полумраке застилались чистые скатерти, расставлялись приборы и неизменные таблички «Стол заказан».

Леха постучал. За дверью возникло недовольное лицо швейцара.

— Не видишь: обед.

— Раю позови.

— Какую?

— Любую.

Лицо швейцара приобрело еще более кислый оттенок, но пошел — рискни, не позови официантку.

Показалась Рая. Немолодая, сдобная, жеманная.

— Здравствуй, Лешенька. Где пропадал?

— В командировке.

— Что это за командировки такие по полгода?

— Бывают и такие. Нам бы посидеть.

— Так обед.

— Ну придумай что-нибудь.

Рая на секунду задумалась, поднимая себе цену в глазах Тамары.

— Пойдемте.

Сидели в дальнем углу ресторана. За тяжелыми пыльными гардинами шумела улица Горького. Гремела кухня. Носила и носила заказы Рая.

— А почему мы не пришли вечером? — спросила Тома.

— О, вечером здесь такая свалка: пьяные актеры, мат, дым коромыслом. В общем, праздник жизни, к которому мы не имеем никакого отношения.

— А какое ты вообще имеешь отношение к Дому актера?

— Самое далекое. Когда-то закончил литературный институт. Написал три пьесы.

— Идут?

— Идут. Вот здесь, — он постучал пальцем по лбу. — Но зато как идут. Поставлены и разыграны мною до мельчайших мизансцен. Под занавес, конечно, шквал аплодисментов, особо слабонервные зрители рыдают, кричат «браво», вызывают автора.

— И ты выходишь...

— И я выхожу... Простой, доступный, в джинсах, свитере грубой вязки...

— А в твоей голове уже рождаются новые замыслы, ты весь охвачен ими, тебе претят эти аплодисменты, скорее бы домой, сесть за стол...

— Откуда ты знаешь? — удивился он.

— Я актриса. Правда, бывшая.

— Что значит бывшая?

— Бывшая, Леша, это когда все в прошлом... Закончила училище — вызвали в какой-то Заступинск, я не поехала. Показалась в один театр, в другой... Где-то не подошла внешне — я же не красотка, сама это знаю, — где-то надо было переспать — я не смогла. Со всех дел вышла замуж, уехала на Север. Вела народный театр. Один шахтер, молодой парень, как он играл Гамлета... Отыграли премьеру, собрались отметить, зашли в гримерку, а он... — Она отвернулась. — Повесился на батарее парового отопления. На столе записка: «Быть или не быть? Быть и давать стране угля».

Леха наполнил рюмку.

— Налей и мне, — попросила Тома.

Леха налил, поднял рюмку.

— Давай попробуем показаться в Москве. Все-таки есть какие-то знакомства.

— Давай, — безразлично согласилась она.

— Тебе что, все равно, что ли? — разозлился он.

— А тебе?

В раскрытое окно свежестью чистых облаков врвался первый мартовский дождь, сливался с темной рябью кана-

ла, смывал с улиц черные, изуродованные мусором снега...

В комнате тяжелый застоявшийся запах табака, пыльная лепнина на потолке, колченогий заваленный бумагами стол, афиши чужих спектаклей, закрывающие выцветшие обои...

И они, не раздеваясь, на подоконнике — посередине такого противоречивого мира.

...Откуда приходит смятение души? Из мутного облака, пролившегося дождем.

Из так надоевшего и вдруг замолчавшего телефона или женщины, что была здесь только сейчас, ушла минуту назад и вот-вот должна вернуться, а ее все нет и нет.

Из так ровно и тщательно уложенного паркета, в котором все же нашлась одна щелочка, и в нее закатился нечаянно сброшенный со стола гривенник и торчит тусклым сиротливым боком. В комнате сумрачно, где-то за окном шумит бульдозер, и эта щель, и гривенник в ней, и почему-то хочется плакать, и все время гаснет сигарета.

Откуда приходит смятение души?

Из пары пустяков.

Стука поезда, за окнами которого в вечернем безмолвии видны белые северные горы, ложка дребезжит о чайный стакан и женщина через три купе от тебя в пустом, зябком плацкартном вагоне, закутавшись в одеяло, смотрит в окно уставшими глазами.

Из заправленного в машинку чистого листа, что так и останется чистым день, два, три, десять, напоминая тебе о скудности и нерастраченности души.

Из алюминиевой клетки с канарейками, которые суетно щебечут на плече однорукого солдата Отечественной войны и стоят десять рублей пара.

Откуда приходит смятение души?

Из долгих часов бессонницы, где ты, один на один с собою, совершаешь так много прекрасных дел, так бескорыстно прост и смел, так талантлив кажется завтрашний день. А завтра застает тебя врасплох и обезоруживает действительностью и обычным светом своих красок. Ты ешь яичницу, пьешь горячий кофе на салфеточке и думаешь о другом.

Откуда приходит смятение души?

Из того, что утро вечера мудренее.

Из того, что завтра будет иначе...

Слеза побежала по лицу. Она тронула его за рукав:

— Что ты?

— Не знаю... — Он достал из кармана пальто коньяк. —

Допьем.

— Мы много пьем.

— Разве?

Тома подняла рюмку.

— Я не вправе вмешиваться в твою жизнь, но я прошу тебя: успокойся со мной. За это я выпью.

— Хорошо, что мы встретились, Тома...

— «Вот и встретились два одиночества...»

— Что?

— Песенка такая есть. «...Развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется...»

— Слышал. Грустная песенка.

— Грустная. А как ты оказался на Севере?..

— Почему у вас новый паспорт? — заинтересовалась женщина в строгом костюме.

Она была еще молода, еще хороша собой, но так тщательно и добросовестно пыталась соответствовать занимаемой должности, была до такой степени околдована сводом законов и постановлений, что больше походила на механический циркуляр с непроницаемыми красивыми глазами.

— Потерял я старый по рассеянности, — Леха старался держаться непринужденно.

— По рассеянности или умышленно?

— Это что, допрос?

— Практически... Куда и кем устраиваетесь?

— В «Мосстрой-28». Сварщиком.

— Разведены? Холосты?

— Холост.

— Если разведены, укажите сразу. Узнаем — выпишем.

— Разве это имеет принципиальное значение?

— Безусловно. Если разведены, то при получении постоянной прописки можете снова зарегистрироваться, и таким образом будет на одного иногороднего больше. А на иногородних у нас лимит. Это понятно?

— Это понятно. А вы не допускаете мысли, что я просто могу предложить руку и сердце иногородней?

Тень человеческого промелькнула на лице женщины.

— Ну, это менее вероятно. — И прежним тоном: — Есть положение, молодой человек, на основании которого я задаю вопросы. Судимы?

Леха отрицательно и убежденно покачал головой.

— Вас пропишут на три месяца и за это время сделают запрос по прежнему месту жительства. Если вы окажетесь судимы — вас выпишут. Это однозначно.

— Почему? Разве судимые не имеют права жить в Москве?

— Разумеется. Это столица!

— Получается, что убивать, грабить, насиловать можно где угодно, только не в Москве. Так что ли?

— Так, так, молодой человек.

— А что, в столице живет народ особой пробы?

Женщина на секунду задумалась, словно оценивая свою пробу...

Дальше проходной их не пустили.

— По какому вопросу? — спросила вахтерша.

— К главному режиссеру — по вопросу показа.

— Сейчас узнаю, — вахтерша крутанула диск телефона. — Юрий Дмитрич, тут пришли двое по вопросу показа.

На том конце что-то объясняли.

Вахтерша, глядя на Леху, отрицательно качала головой.

— Подождите! — Леха шагнул к вахтерше, вырвал трубку. — А у вас не хватило бы такта спуститься и самому нам все объяснить? — Подержал трубку на весу, бросил на рычаг, повернулся к вахтерше. — Чувство такта в вашем театре — понятие абстрактное.

Вахтерша пожала плечами:

— Если бы только в нашем.

В следующем театре к ним спустились. Главный был невысок, благообразен и располагал к себе. Тома ему понравилась.

— Я согласен вас посмотреть, — сказал он, закуривая, — готовьте показ.

— К какому числу?

— Не суть важно. Повторяю, это больше для вашего успокоения — свободных ставок все равно нет.

— Какой же тогда смысл? — спросил Леха.

Он уже был «на взводе», и главный почувствовал это.

— Если ваша жена понравится худсовету, мы, может, возьмем ее на договор. Хотя все это маловероятно. Даже с учетом звонка Роман Сергеича... Прописка, я надеюсь, у вас московская?

— Нет, — растерянно ответила Тома.

Главный печально усмехнулся:

— Что же вы, молодые люди?.. Без прописки и разговора быть не может.

Леха натянуто улыбнулся.

— А вы не допускаете, что перед вами вторая Сара Бернар?

— Допускаю. Но и Саре Бернар тоже понадобилась бы прописка.

Главный сделал несколько шагов в сторону лестницы.

— Эти законы придумал не я, ребята. В рамках этих законов я пытаюсь оставаться художником.

Чем прекрасны московские театры? Расположением. Стройной цепочкой протянулись они вдоль улицы Горького, а если иногда отстоят в стороне, то очень незначительно. В перерывах между несостоявшимися показами можно зайти в Дом актера, пообедать или поужинать, посмотреть на живых актеров. Вот сидит Любшин, вот Збруев. Кого вы ищите? Янковского? Он ужинает в Доме кино.

Леха с Томой сидели за тем же столиком на двоих.

— Ты хотела побывать здесь вечером.

Тома огляделась.

— А что, вполне пристойно.

— Все еще впереди.

Проходили разные люди, здоровались, рассаживались за столики.

— Ты многих знаешь?

— Где-то, когда-то... — Леха махнул рукой. — Мне на них наплевать, им — на меня. Ты очень расстроилась, Том?

Тома пожала плечами.

— Я была к этому готова.

— И что теперь?

— Не знаю... — Она жалко улыбнулась и, отвернувшись, попросила: — Ты только не бросай меня, а...

— Дура, — как можно мягче сказал он.

— Леш, а что ты будешь делать, когда промотаешь все деньги?

— Поеду восвояси.

— А я?

— А ты останешься. Будешь писать мне нежные письма: люблю, жду, Тома.

— Я без работы пропаду...

— Мы побывали всего в двух театрах, Тома. А еще есть студии, лаборатории...

— Парикмахерские, общественные туалеты... И везде будут спрашивать московскую прописку...

— Поживем — увидим.

Подошла пьяная рыжая баба, плюхнулась Лехе на колени, обняла за шею.

— Великие кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим перед ними на коленях.

— Это обо мне? — тяжело вздохнул Леха.

— А то! — Рыжая закатила глаза. — Ты отвезешь меня домой?

— Разумеется. Но тебе придется подождать полчаса. Договорились?

Рыжая сосредоточенно кивнула, перешла к соседнему столику, села на свободный стул и налила себе из чужой бутылки.

— Она вернется? — испуганно спросила Тома.

— Она уже забыла о нас.

Рыжая фланировала между столиками, удаляясь вглубь зала.

Леха налил себе рюмку.

— Ты собирался сегодня работать, — напомнила Тома.

— Собирался — значит, буду.

— После этого? — она кивнула на коньяк.

— После этого, — раздраженно ответил он.

— Послушай, — напряженно произнесла она, — месяцами ты мотаешься по Северу, потом возвращаешься в Москву и не вылазишь из ресторанов... Но ведь господь не отмерил тебе триста лет жизни, которыми ты можешь распорядиться как угодно... И если то, что ты пишешь сегодня, не востребовано — это еще не значит, что ты имеешь право не писать...

— Чего ты от меня хочешь, Тома?

— Тебя.

Он отодвинул рюмку. Долго подавленно молчал.

— Знаешь, иногда я напоминаю себе каменщика, выкладывающего дом... Вот он выложил первый этаж, десятый, сотый, и ему, наконец, хочется увидеть крышу над до-

мом, людей, живущих в нем. Люди трогают стены руками и говорят: «Как хорошо, как добросовестно сложил каменщик дом. Как тепло в нашем доме». Он хочет увидеть результат своего труда, но вместо этого кладет и кладет бесконечные этажи... Я тоже хочу увидеть результат своего труда. Поставленную пьесу, изданную книгу. А без этого... Без этого опускаются руки.

— Но как-то надо жить...

— Надо...

...Туман лежал на реке, острове, тайге, деревне. Покачивался бакен, скрипели уключины. Старик-бакенщик, положив на колени худые, пахнувшие рыбой руки, дымил самокруткой, и дым тяжелого табака растворялся в тумане. Пахло прелой травой и хлебом. Потеряно мычали в тумане коровы, разматывалась колодезная цепь, где-то стучал топор.

И сквозь грязное, размытое дождем стекло виднелись закопаченные мхом бревна, старые фотографии на почерневших стенах, выскобленный стеклом стол в паутине изломанных трещин, тяжелая бронзовая лампа на столе, бумага, чернильница, перо...

Чьи-то руки закрыли его глаза. Он подержал их в ладонях, наткнулся на старинный перстень с камеей.

— Женька!

Руки порхнули вверх. Перед ним была Женька — его однокурсница, интересная, цыганово-смуглая, стриженная под пацана.

— Женька...

— Вдруг откуда ни возьмись маленький комарик... — Она прижалась к нему, затаенно ткнулась в плечо: — Где же ты пропадал?..

Он молчал, поглаживая ее вызывающе стриженную голову нежно и терпеливо, как гладят расплакавшихся детей.

— Садись на мое место, я принесу стул, — он встал, представил женщин: — Тома, актриса. Женька, бывшая однокурсница. Самая талантливая из всей нашей институтской когорты...

Из-за Женькиной спины показался невысокий мужчина лет сорока в дорогом, безупречно сидящем костюме.

— Митя Семенов, — представила Женька, — муж. Работник министерства... Забыла, Мить...

— Топливной энергетике... — кашлянул Семенов. — Впрочем, это неважно.

Вяло пожали друг другу руки. Леха ушел в подсобку, вернулся с двумя стульями.

— Как ты, Комарик?

— Без изменений, Жень...

— Ставишься, печатаешься?

— А ты?

Женька засмеялась.

— И я! Просто не схожу с подмостков... Ну что, выпьем по старой памяти. Помнишь, как бывало...

— Я помню, как ты меня за шампанским отправила... Она, видите ли, Митя, была у нас существом неземным, элгическим. И это в конце сессии, среди озверевших от нехватки алкоголя заочников... Денег-то ни у кого ни копейки... Ну, думаю, чтобы я на червонец две бутылки шампанского купил — меня свои же растерзают. В общем, купил шесть бутылок «Агдама» по ноль-восемь, сырков плавленных — не дал людям умереть в мучительной трезвости... И Женечка наша пила — куда денешься...

— Не волнуйся, Митя, это в прошлом, — успокоила Женька мужа.

— Я что-то не так сказал? — обеспокоился Леха.

— Боже упаси, — вежливо улыбнулся Семенов, — как-никак, я тоже был студентом.

И хотя Семенов не сказал ничего особенного, за столом возникла произвольная и от того неловкая пауза.

— Ну что, ребята, — суетливо предложил Леха, — выпьем за знакомство, встречу и все такое прочее...

— Я за рулем, — отказался Семенов.

Леха покосился на него.

— Так можно бросить машину...

— Такую машину нельзя бросить, — спокойно возразил Семенов.

— Ну, тогда мы без вас...

Выпили, звонко и строенно чокнувшись.

— Что, Женька, совсем ничего? — спросил Леха.

— Ничего, Комарик, ничегошеньки. Да, по-моему, все наши в таком положении.

— Да-а... А, помнишь, какие были надежды? Бегали с какими-то фиговыми пьесами, обивали пороги редакций. Казалось, вот-вот...

— Не помню, — отрезала Женька. — А вы, Тома, у кого работаете?

— Леша преувеличил. Я занимаюсь в драмкружке при заводе Ильича.

— Да-а, — озадаченно протянула Женька, но улыбнулась на всякий случай как шутке. — А поедем к нам. У нас роскошная квартира в центре, роскошный стол... Мить, ты как?

— Конечно.

— Леш? Тома?

— Наверное, надо что-то прикупить? — спросил Леха.

— Не надо...

Квартира оказалась действительно роскошной — двухкомнатная «сталинка» с эркером и окнами на Садовое кольцо, — видимо, Семенов на своих топливно-энергетических просторах был не последним человеком.

Поражала хронологическая последовательность и симметричность, с какой были расставлены мебель в квартире, книги и безделушки на полках, — ничто не говорило о присутствии в доме художника. И нигде не было письменного стола. Совсем не было.

Сидели в гостиной под несозвучным общему интерьеру, будто вырванным из другой жизни старинным абажуром.

— Мы, ребята, существуем в разных социальных измерениях, — говорил Леха, поддевая ломтик севрюги.

— Вы ешьте, не обращайтесь внимания, — не смутился Семенов.

— Митя работает на перспективном направлении, — вымученно пояснила Женька, — в последнее время мы можем себе позволить...

— Понимаю, — Леха переключился на икру. — Что-нибудь связанное с распределением ресурсов...

— В этом роде, — согласился Семенов.

Удивительные были у него глаза — пресно-голубые, как вода. Такие глаза не отражают окружающий мир и самопроизвольно закрываются навстречу чужому горю.

— А гитара в доме есть? — спросила Тома.

Семенов поднялся.

— Секундочку.

Он ушел в соседнюю комнату и вернулся с гитарой в красивом кожаном чехле. Передав Томе гитару, подбросил на ладони револьвер и протянул Лехе.

— Раритет. От деда остался. Еще бельгийский, одинарного действия.

— Боевой? — спросил Леха, поглаживая револьвер.

— Да.

— А как же разрешение? — спросила Тома, чтобы поддержать мужской разговор.

— Разрешение, — усмехнулся Семенов. — Он наградной. Передается по наследству... Наши купили лицензию у братьев Наганов в 1895 году и сначала попросили не переделывать механизм, поэтому надо было каждый раз взводить курок.

— Зачем? — удивился Леха.

— Для экономии патронов и кучности стрельбы. И барабан разряжался вручную...

— Упаси господи, — сказал Леха. — У меня, по счастью, в танке «стечкин» был. Я в танковых войсках служил...

— Начинается! — не выдержала Женя. — Скучно, мальчишки!

— Это сейчас «стечкин», — не обращая внимания, продолжал Семенов, — а в Отечественную танкистов вооружали именно наганом, чтобы его можно было в прорезь просунуть и гильзы не летели...

Тома расстегнула чехол, аккуратно достала гитару и, перебирая струны, еле уловимым движением подтягивала колки.

— А дед ваш с войны вернулся? — спросила она.

— Дед в войсках НКВД служил, отец — во внутренних, — спокойно ответил Семенов, взял у Лехи наган, крутанул барабан и нажал контрольный спуск. — Там где-то, на Севере...

Тома внимательно посмотрела на Семенова и неожиданно запела, резко перейдя из настройки в аккорд. Запела грустную песенку про Север, с которым, как ей казалось, порвала навсегда.

Проклятый Север не дает
Спокойно спать, привычно мыслить —
Проклятый Север вновь зовет
Пожаром облетевших листьев.

А за окном — все те же крыши.
На крышах — те же облака.
И у соседа слева — грыжа.
Внизу — цыпленок табака.

А облака, а облака
Над городами пролетают.
Куда — пока еще не знают.
Дожди их ватные бока
Слезой на землю проливают.

С утра кочуем в поездах,
Вам на Таганке пересадка.
А в море Лаптевых касатка
Кричит на разных языках.

Привычно тащат электрички
Обеды, пудреницы, спички.
Увозят в общем направленьи
Несхожие мировоззренья.

А облака, а облака
Опять куда-то улетают.
Куда — пока еще не знают.
Ветра их ватные бока
Безжалостно разъединяют.

А мы друг друга по плечу,
А мы друг другу о вчерашнем.
И к участковому врачу
Стоим, как в скорбном списке павших.

Но суета сует, час пик,
Тоска, удушье, недомолвки.
А где-то Мутный Материк
Прекрасен в утренней помолвке.

А облака, а облака
Бесповоротно улетают.
Куда — по-прежнему не знают.
Года их ветхие бока
Перебирают. Тают. Тают...

Тома допела, положила гитару на колени.

— Я не совсем понял, — сказал Семенов, — вот это, про скорбный список павших, кажется... По-моему, как-то, м-м... Хотя пока до наших врачей достоишься — еще десятком болезней заболеешь. Факт. — Он приглашающе за-

смеялся, но увидев, что его никто не поддержал, закончил скомканно: — У нас, в ведомственной поликлинике, в этом смысле, конечно...

Леха увидел, как заливается краской Женькино лицо.

— Это так, — поспешил сказать он, — для рифмы. Эти самодеятельные поэты понапишут черт-те чего, а мы — ломай голову. Ты нам, Томка, больше таких песен не пой.

Грустно улыбнулась Тома.

Леха срочно «залатывал» паузу.

— Анекдот вчера рассказали... Жена возвращается домой и застаёт своего немолодого, обрюзгшего, плешивого мужа в постели с очаровательной юной любовницей. Она останавливается посреди комнаты и спрашивает у любовницы: «Ну ладно, я — жена. Но тебе-то зачем это нужно?..»

Леха коротко хохотнул.

Дробно посмеялся Семенов.

Женька встала и вышла на кухню.

— Это глупо, Комарик.

— Ну, глупо.

— Тогда зачем?

— Он же ортодокс, Женька...

— Я знаю, — спокойно согласилась она.

Леха подошел к окну, ткнулся лбом в стекло. Обволакивала Садовое кольцо ночная сырость.

— Как ты могла, Женька?

— Зато я бесконечно могла жить по чужим углам, без прописки, без работы... Могла по утрам высчитывать полтинник — ехать мне сегодня на метро или на автобусе, которым хоть и дольше, но можно проехать «зайцем», сэкономить пятак и купить рогалик, а на два — сдобную булочку...

— Но мы сами выбрали такой путь.

— Неправда. Мы выбрали трудный путь, но не такой. Ах, как мы были молоды, талантливы и глупы. Казалось, будет диплом — и откроются ворота в рай. Вот диплом, вот ворота, а вот привратники, которые по-прежнему пропускают только своих...

В комнате Тома сказала Семенову:

— Хотите, что-нибудь еще спою?

— Конечно.

Тома запела щемящую песенку на стихи поэта Заболоцкого про город Тарусу, про прачку, муж которой пошел за водкой, а она стирает и стирает, про петухов и гусей, которые так опротивели девочке Марусе, что глаза бы не глядели, про всю нашу скотскую жизнь.

— Хорошая песенка, — сказал Семенов, — без претензий.

— Леш, Леша... Господи, зачем я тебя встретила.

Он так и стоял, уткнувшись в окно, и она не могла видеть его слез, сползающих по стеклу.

— Он не знает, что у меня есть сын. Правда, Леш, не знает. А я не могу ему сказать. Каждый месяц к маме мотаюсь под предлогом тяжелой болезни... Я привыкла, понимаешь, привыкла есть, пить, спать... Иногда мне кажется, что вот-вот наступит разжижение мозга, но вернуться в ту жизнь...

— Господи, — сказал он, — как хочется умереть.

В дверях появилась Тома.

— Пойдем. Скоро утро, — сказала она.

— А где Митя? — спросила Женька.

— Спит.

— Сломался, — неестественно улыбнулась Женька.

В дверях, прислонившись к косяку, Женька сказала:

— Я так привыкла к этой жизни, что кажется, улыбнись мне сейчас счастье — я не буду знать, что с ним делать. Да и есть ли оно — счастье?..

Она вернулась в комнату. Убирая со стола, застыла с подносом в руках. В слабом свете торшера плыло липкое лицо мужа — он спал, спал, спал.

Ненависть, тоска, безумие рождались в ней и уже не могли умереть.

Они шли пустынным ночным городом. Чистопрудным бульваром, Покровским, Яузским. Молчали.

Вдалеке задрезжали буфера дежурного трамвая.

Лицо вагоновожатой было уставшим и безразличным ко всему на свете.

— Остановки объявлять? — взяв микрофон, спросила она.

Леха кивнул в сторону одинокого пьяного, сжимавшего тугой портфель. Пьяный спал безмятежно, уткнувшись шапкой в стекло и приоткрыв рот.

Вагоновожатая махнула рукой, и трамвай тронулся. На светофоре трамвай резко затормозил, пьяный открыл глаза, строго спросил:

— Ваши билеты?

И снова завалился на шапку.

Трамвай въехал на Устьинский мост.

— Вагоновожатая, — попросил Леха, — останови нам на середине моста.

— Ничего проще, — ответила женщина и потянула тормоз.

И пока Леха с Томой шли по мосту и горланили песни, трамвай тихо следовал за ними.

Над лодкой белый парус распушу,

Пока не знаю, с кем,

А если я по дому загрузу —

Фиалку я под снегом отыщу...¹

— Ну и слух у тебя! — поражалась Тома фальшивости его голоса.

— Ничего, Томка, у нас все будет иначе. «А я иду, шагаю по Москве...»

— Ну и слух!

У подъезда сидела дворняга с большими бродяжьими глазами.

— Что, пес, — сказала Тома, — совсем ты один. Давай покормим его — нам ведь назаворачивали чего-то...

Собака потянулась к ее руке.

— Ешь. Это утка по-пражски, это бастурма, это буженина...

— Ты его прикормишь, — недовольно сказал Леха, — он пойдет за нами. А куда мы его?

— Не, собаки умеют отличать каприз великодушия от настоящего.

— А люди?

— А люди живы надеждой.

— Ты очень умная, Тома.

— Ага. Очень умная круглая дура.

Пронизывающий апрельский ветер раскачивал темные волны канала, и они с тихим шелестом бились о гранитные

¹ Г. Шпаликов. «Бывает все на свете хорошо...». (Здесь и далее прим. автора.)

берега, гулко капала в расставленные на полу банки вода — текла крыша, и где-то в глубине улицы надсадно елозил метлой похмельный дворник. Город отсчитывал последние ночные минуты.

В наброшенных на плечи пальто, примостившись на подоконнике, они пили чай. Тот самый, с малиной.

Сиротливо поскрипывало раскрытое настежь окно.

— «Что происходит с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой...»¹

— Может, откровение, — сказала Тома.

Они склонились друг к другу. Стаканы, задетые полками пальто, качнулись и звонко хлопнули вниз.

Потом они спали, небрежно задернув шторы.

За дверью ворчала, шаркала, ругалась коммунальная квартира.

За окнами набирал утренний ритм город.

А они спали — они были счастливы.

В это утро никто не разбудил Семенова.

Проснувшись и взглянув на часы, он понял, что опоздал, и чувство злости охватило его.

— Женя! — раздраженно крикнул он, стягивая через голову пижаму.

Неуклюже подвернув под себя ногу, отбросив руку, Женя спала на диване в большой комнате, и, глядя на ее выражение лица, могло показаться, что она засыпала счастливой.

— Женя! — еще более зло крикнул Семенов, выходя из спальни.

На журнальном столике в изголовье дивана он увидел стакан воды и несколько упаковок таблеток. Пустых.

— Женя...

В коммунальной ванной, опасно балансируя на стремянке, Леха развешивал соседские простыни. Сама соседка, полная пожилая еврейка, вносила снизу коррективы:

¹ Ю. Трифонов. «Путешествие».

— Наволочку сюда, так... пододеяльник... Разгладьте, Леша, разгладьте, не ленитесь.

Мелькала в простынях Лехина голова.

Наконец все было развешено и расправлено. Леха присел на стремянку.

— С вас папироска.

Соседка порылась в объемистом фартуке, протянула Лехе папиросу, закурила сама.

— Почему вы не носите белье в прачечную?

— Я им не доверяю.

— А мне?

— Вам всецело.

На кухне робко и застенчиво готовила Тома.

Она подходила к плите, снимала крышку с кастрюли, осторожно помешивала ложкой, пробовала на вкус.

— Извините, у вас не найдется черного перца? — обращалась она к одной из соседок.

И та, отдавая перец и презирая Тому за непрактичность, елейно отвечала:

— Пожалуйста, пожалуйста.

И гадко-многозначительно переглядывалась с другой соседкой.

На кухне появился пьяный сосед-молдаванин. Пьян он был всегда, даже в часы непродолжительного отрезвления в нем непостижимым образом сохранялись остаточные явления алкоголя.

— Развеселые цыгане по Молдавии гуляли... — фальцетом пропел он и ущипнул соседку, ту, что помоложе.

— Дегенерат! Питекантроп! — завизжала соседка.

— Мишель, — представился он Томе. — Как сами?

— Нормально, — удивилась Тома.

— Да-а... — протянул Мишель, сел на табурет посреди кухни и задымил.

— Может, вы не будете курить на кухне? — брезгливо заметила вторая соседка.

— Угу! — отозвался Мишель. — Все брошу и не буду.

Кухня тяжело вздохнула.

Шипели кастрюли.

И где-то вдалеке, в мутном окне кухни были едва различимы купола Кремля. Золотые, величественные и недоступные.

Соседка в ванной спросила:

— Вы, кажется, закончили литературный институт?

— Кажется, — ответил Леха.

— Отчего же вы не сидите и не пишете? Мотаетесь по Северу, ищете какое-то золото, пропадаете месяцами.

— Так получилось.

— Не морочьте мне голову — я пожилой человек. Затащили деньги, привычка к хорошей жизни.

— Хорошая жизнь — не так уж мало.

— Так вы можете иметь эту жизнь, занимаясь своим прямым делом.

— То есть?

— Публиковаться, ставиться, что там еще...

— Вы уверены, что это кого-то заинтересует?

— Разумеется, если это талантливо.

— А кто определяет меру таланта?

Соседка посмотрела на него жалостливо, как на недоумка.

— Компетентные организации.

Она ушла, считая свою нравственную миссию законченной.

Леха закрыл глаза...

...Туман лежал на реке, острове, тайге, деревне. Покачивался бакен, скрипели уключины. Старик-бакенщик, положив на колени худые, пахнувшие рыбой руки, дымя самокруткой, и дым тяжелого табака растворялся в тумане. Пахло прелой травой и хлебом. Потерянно мычали в тумане коровы, разматывалась колодезная цепь, где-то стучал топор.

И сквозь грязное, размытое дождем стекло виднелись закопаченные мхом бревна, старые фотографии на почерневших стенах, выскобленный стеклом стол в паутине изломанных трещин, тяжелая бронзовая лампа на столе, бумага, чернильница, перо...

Двери в редакцию, тяжелые, с фигурными бронзовыми ручками, поддались на удивление легко.

— К кому? — спросили на вахте.

— К Андрианову, — легко соврал Леха.

Он долго плутал по лабиринтам редакции, пока не нашел нужный отдел.

Мужчина в черной рубашке взглянул на него вопросительно.

— Я хотел бы показать два рассказа, — сказал Леха.

— Вы член Союза писателей? — спросил мужчина.

— Нет.

— Тогда вам на шестой этаж к Вере Николаевне.

Леха поднялся на шестой этаж — последний в редакции. Там располагались архивы, фотолаборатории и другие технические отделы. Ничто не говорило о присутствии здесь редакторских служб.

В угловой комнате, заставленной стеллажами, несколько женщин пили чай. Здесь Леха и спросил Веру Николаевну.

— Подождите, — с набитым ртом ответила одна из редактрис, толкая дверь.

Дверь поехала, пронзительно заскрипев, и хлопнула перед носом.

Леха присел у журнального столика с пепельницей, закурил в ожидании.

Наконец отворилась дверь и вышла немолодая литературная дама в спортивном трико, заправленном в резиновые боты. Бросила на столик пачку «Астры» и, сев на свободный стул, произнесла привычно и скучно:

— Я Вера Николаевна. Что у вас?

— Я хотел бы показать два рассказа, — повторил Леха. — Меня переадресовали из отдела литературы.

Вера Николаевна стряхнула с ладоней липкие крошки пирожного, взяла рассказы.

— До этого печатались?

— Немного, — опять соврал Леха.

Она закурила, поднесла к глазам висевшие на цепочке очки. Задерживаясь на каждой странице по несколько секунд, она через две-три минуты положила на стол первый рассказ и через тот же интервал — второй.

— Ну, первый — это вообще какие-то литературные сентенции, во втором, в принципе, неплохое вступление и концовка хорошая, но в середине — явный провал...

— То есть, как я понимаю, — перебил Леха, — печатать вы это не будете?

Вера Николаевна снисходительно улыбнулась, подавляя страдальческую гримасу.

— Вы член Союза писателей?

— Нет.

— Наша газета печатает только членов Союза.

— Зачем же вы взялись читать?

— Я полагала, что вы нуждаетесь в теоретическом разборе.

— Теоретическому разбору я шесть лет подвергался в институте. А потом, как вы собирались все это разбирать, если даже не дали себе труда вчитаться...

— Вы что, молодой человек, оскорблять меня пришли?

— Нет, — голос Лехи зазвенел, — это вы позволяете себе хлопнуть дверью, выйти перед автором в трико и галошах, но это дело привычное. Кто я для вас? Смешно и время тратить.

С Веры Николаевны постепенно слетал литературный лоск.

— Я вас не звала, — взвизгнула она, окончательно теряя в себе редактрису.

На этот визг распахнулась дверь, и несколько любопытных сотрудниц выглянули в коридор.

— Я к вам тоже не на крыльях летел, — устало сказал Леха. — Вершители судеб! Представляю, сколько надежд разбилось о ваши желудки, набитые пирожными...

— Да он просто хам! — взвилась одна из сотрудниц.

Он спускался этажом ниже, к лифту, а вслед ему, стараясь перекричать друг друга, голосили редакторши:

— Писатель!

— Кто его вообще пустил?!

Леха вошел в лифт и, когда закрылись двери, развернулся, коротко и сильно ударил в переборку дверей. Пластиковая стенка треснула, лифт дернулся и остановился.

— Большой литературный бомонд закончен, — сказал он, сел на пол и захохотал.

Вызвали Леху дежурные слесари.

Когда они открыли двери лифта, Леха спал, сидя на полу и положив голову на руки.

— Эй, — позвали его, — приехали.

Леха открыл глаза.

— Как сладко спалось. Впервые за все время.

Он поднялся, вышел из лифта, оглядел сумрачные, недовольные лица слесарей.

— А не карябнуть ли нам по этому поводу? — и, приоткрыв сумку, показал горлышко бутылки. — Медицинский, между прочим...

— А где? — оживились слесари.

Леха огляделся — кругом был мрамор редакции.

— Здесь, — он кивнул на лифт.
— Логично, — согласился один, выуживая из кармана спецовки табличку «Лифт не работает».
— А стакан? — спросил Леха.
— Найдется, — отозвался второй. Он достал пластмассовый походный стаканчик и половинку луковицы. — Мы как раз приняли, пока с тобой канителились.
Повесив на лифт табличку, они зашли внутрь и закрыли двери. Сковырнув пробку, первый слесарь нацедил в стаканчик и протянул Лехе.
— С освобождением.

На дне оставалось немного.

Сидели на полу, курили, по возможности вытянув ноги. Первый слесарь нажал на кнопку, и лифт поднялся еще на этаж.

— Шестой, — сказал он. — Последний.

Леха разлил остатки.

— За шестой этаж, — произнес он.

— Здание невысокое, жаль, — недовольно протянул второй слесарь.

— Жаль, — согласились с ним остальные.

Допили остатки. Леха отставил бутылку в сторону, но второй слесарь прибрал ее, положив в бездонный карман спецовки.

— Двадцать копеек, — заявил он, — не баран чихнул.

— Сколько вы тут получаете? — спросил Леха.

— А! — первый слесарь махнул рукой. — Слезы.

— Поехали со мной на Север, — предложил Леха, — что вы здесь киснете. Зарплата — по штуке чистыми. Баня, бильярд, столовая — ешь не хочу...

— На Севере лифтов нет, — сказал первый.

— А в шахте?

— В шахте есть, — не стал спорить первый.

— Я не поеду, — отказался второй.

— Почему?

— У меня попугай.

— Поедешь с попугаем.

— Он замерзнет.

— Замерзнет? — спросил первый Леху.

Леха кивнул утвердительно.

— Ну, отдай кому-нибудь...

— Не-е... Он у меня один. И я у него один.

— Тогда споем, — предложил первый. — Я начну — вы подпевайте. Я когда-то пел в хоре мальчиков...

— Мальчик! — заржал второй.

— «Выхожу один я на дорогу, — затянул первый — голос у него и в самом деле был, — сквозь туман кремнистый путь лежит...»

— Блестит...

— Ну, блестит... «Ночь тиха...»

— «Пустыня внемлет богу...» — подхватил второй.

— «И звезда с звездой говорит...» — присоединился Леха.

Пели пьяно, навзрыд — все трое.

Леха валялся на кровати в куртке, кепке, брюках, одном ботинке. Тома, укутавшись в платок, ходила по комнате, не решаясь разбудить его.

— Леш, Алеша... — наконец, позвала она.

— У-у, — промычал Леха.

— Проснись, милый, а...

— Отвяжись, Том...

— Звонил Митя...

— Какой еще Митя?

— Женин муж. Ты оставлял телефон.

— Ну?

— Женя отравилась.

Леха приподнялся, сел на кровати, стянул с головы кепку, запустил в угол.

— Ты что, Том?

Она смотрела на него печально.

— Она жива, слава Богу. Не надо бы тебе пить, Леш...

— Ну что ты, Жень?..

В больничном халате не по размеру, сдавшая, неприбранная, с темными провалами под глазами Женька была похожа на подстреленного галчонка.

— Что, Леш? Устроила спектакль? Знала, что все обойдется? Знала... Участия захотелось, нежности... Я теперь свободна. Перейду на бублики, заберу сына.

— Я вам буду стипендию высылать.

— Милый ты мой Комарик... Когда ты рядом — мне спокойно. В тебе есть надежность... Я некрасивая?

— Красивая, — он поцеловал ее волосы. — Хочешь, я тебе с Севера мужика привезу дремучего, непорочного?

— Нет, — сказала Женька серьезно, — я теперь работать буду. Сяду за стол и буду работать, работать... Я же способная?

— Ты умница.

— Умница...

Она шла по больничному вестибюлю к дверям, замасленным пожелтевшей краской. Обернулась — худая, угловатая.

— Я красивая, я умница, у меня все впереди, правда?

— Правда, — Леха неуверенно пожал плечами.

— У нас все впереди, да?

— Да.

— Сейчас меня поглотят эти двери, и теперь мы встретимся, когда что-нибудь будет позади. Ведь будет же?

— Будет, — как замороженный ответил Леха.

— Прощай, Комарик.

— Прощай, Женька.

Вновь пробивались в вечернем небе габаритные огни самолета. Под крылом темнело и волновалось ночное море.

Леха смотрел в иллюминатор.

...Жизнь действительно дается один раз. Какие уж тут шутки. Говорят, после смерти мы повисаем каплями в бесконечных глубинах мироздания и тяготимся своими грехами. Высшая субстанция природы, человек — обречен на вечные муки и одиночество. Смерть не приносит нам ни покоя, ни отдохновения. Жизнь — тем более. Самое страшное, что рядом с тобой висят миллионы таких же капель, и ты не знаешь, кто они. Может, рядом твоя мать, единственная женщина... Мама, мама... Помнишь, как я читал тебе, помнишь?..

«Но вот приходит день и час, когда твоя мать надевает очки. Это очень трудно, потому что отныне тебе все придется решать самому.

Еще вчера она раскатывала тесто на кухне, ты вошел и залюбовался ее нежными и сильными руками, ее прямой спиной, собранными в пучок волосами, в которых до сих пор не замечал седины.

Но вот она надевает очки, обыкновенные, как у всех, и читает на веранде под бронзовым абажуром, перевязанная крест-накрест теплым платком. Все так и было не раз,

но сегодня тебя охватывает особое волнение, хочется плакать, ты часто куришь, выходишь, неслышно прикрывая дверь, возвращаешься и смотришь на мать — сзади, сбоку, украдкой, будто невзначай.

За окнами темно, идет дождь, слышно, как ветер перебирает листья в саду и падают на землю тяжелые яблоки.

А в тебе что-то случилось, ты хочешь подойти к матери, обнять ее, сказать: “Не волнуйся, мама, я здесь, твой сын, я не оставлю тебя”.

Но вместо этого выходишь в сад и, подставив лицо дождю, сглатывая тяжелые, непривычно солоноватые капли, как никогда отчетливо понимаешь, что наконец стал взрослым».

Я читал вслух, чтобы лишний раз не видеть, как ты надеваешь очки и терпеливо разбираешь мой адский почерк. Ты ничего не сказала тогда, улыбнулась мягко и печально, как могла улыбаться только ты, и вышла в сад. Через год тебя не стало. Милая моя, единственная, где ты сейчас?

— Ты, Комаров, конечно, считал себя умнее всех?

Капитан — начальник паспортного стола с «противотанковой рожей», как про себя окрестил его Леха, — перебирая документы, философски-издевательски поглядывал на Леху.

— А в чем дело? — занервничал Леха.

— Справочка пришла с твоего прежнего места жительства, — капитан наконец нашел справку, — о том, что ты, Комаров Алексей Юрьевич, был осужден по статье 206, части 2 УК РСФСР таким-то судом, на столько-то и так далее...

— Там еще пометка должна быть, товарищ капитан, что тогда-то, таким-то судом судимость снята и так далее, — принимая тон, сказал Леха.

— И что сия пометка означает?

— Что я такой же, как все, уравненный в правах советский человек.

Капитан достал портсигар, закурил.

— Так вот, — помедлив, обронил он, — свои права человека ты убедительно сможешь доказать по прежнему месту жительства, куда, я думаю, недели через две и отправишься.

— То есть?..

— То есть разрешение на продление прописки ты не получишь.

— Но почему?

— Нам в Москве своих судимых хватает.

— А если я добьюсь?

— Это дело, — по-отечески напутствовал капитан, — как добьешься — приходи, поделись опытом. Я, вероятно, к тому времени уже полковником буду.

Леха помолчал.

— Можно бумагу? — попросил он.

Капитан протянул листок, ручку.

Леха подумал, нарисовал вопросительный знак и вернул листок.

Капитан оценивающе посмотрел на него, подумал и подрисовал под вопросительным знаком цифру «200». Показал издалека.

Леха поднялся.

— В пятницу я до восьми, — предупредил капитан.

В пятницу Леха ждал в приемной начальника паспортного стола.

— А, Комаров, — ободряюще улыбнулся капитан, — заходи. Как настроение?

— Приподнятое.

— Не отпускает Москва?

— Не отпускает.

Капитан выдвинул нижний ящик стола, кивнул: сюда.

— Во вторник явишься к паспортистке — все будет в ажуре.

Леха обогнул стол, оказавшись сбоку от капитана, достал конверт...

Складочка — полная, розоватая под тщательно выбритым затылком, аккуратненькая такая складочка, до отвращения, до рвоты — dokonала его.

Еще не отдавая отчета своим действиям, он неожиданно переместился, схватил капитана правой рукой за шею, а левой взял в удушающий замок — так, как когда-то учили его в школе высшего спортивного мастерства. Капитан побагровел, замычал, задыхаясь, открыл рот... Руки беспомощно скользили по Лехиным пальцам... Леха ослабил захват, скомкал конверт и затолкал его в рот капитану.

— Ты прописку эту в ж... себе засунь, сука, — на срывающемся дыхании прошептал он.

И обернувшись в дверях, добавил:

— Не зови никого — стыда не оберешься...

...Участок затерялся в тайге, на берегу стремительной горной реки. Несколько срубов, радиостанция с мачтой, мастерские, приемный пункт драгметалла.

«Урал» остановился у большого сруба с приколоченной дощечкой «Старательская столовая». Леха выпрыгнул из кабины, достал рюкзак.

Подошел невысокий человек.

— Комаров?

— Да.

— Я Новиков Пал Алексеич, начальник участка.

Пожали руки.

— Откуда будешь?

Леха на секунду задумался:

— Из Москвы.

— А к нам какими судьбами?

— Так вышло.

— Инструмент есть?

Леха расстегнул рюкзак, показал горелку, резак, держак, сварочный щиток. Щиток для наглядности нацепил на голову.

Новиков одобрительно кивнул, подозвал коменданта:

— Определи на постоянный прикол. — И Лехе: — Устройся, поубедай. Вечером выйдешь во вторую смену. Надеюсь, сработаемся.

Леха рассеяно кивнул и пошел за комендантом со сварочным щитком на голове...

«Одесса» — горели над аэропортом огромные неоновые буквы.

У выхода на посадку их встречал огромный лысый человек с необъятным животом. Было человеку за пятьдесят. Они обнялись.

— Ну, где ты там летаешь? — возмутился человек. — Водка стынет.

— Тома, — Леха представил Тому.

— Дядя Валя, — представился человек и преподнес Томе букет черных тюльпанов.

— Ой, — удивилась Тома, — здорово.

— А вы как думали? Это вам, барышня, не Москва.

На площади перед аэровокзалом дядя Валя тронул дверь сиротливо стоящего «уазика».

— Садитесь.

Проснулся водитель — молодой парень с нахальным, «одесским» лицом.

— Куда?

— В Санжейку.

Водитель присвистнул:

— Мы так не договаривались, дядя Валя. Это же пятьдесят километров!

Дядя Валя обернулся к Томе:

— Вкратце обрисую ситуацию, — он подобрался, закрыл глаза, повел рукой. — Вечер, море весеннее, беспокойное. Маяк, пирс, на пирсе шашлык из молодого барашка, вино семи сортов. Заметьте, лучшее на всем Черноморском побережье. Я, гитара, общение. И так до разумной бесконечности. Что? — он повернулся к водителю.

— Ничего, — водитель пожал плечами, — едем.

И включил зажигание.

В погребе стоял запах молодого вина. Выстроились в ряд шесть дубовых бочек.

— По двести литров каждая, — удовлетворенно рассказывал Вовк, хозяин погреба.

Он открыл кран и налил полный стакан красного вина.

— Пробуйте.

Леха попробовал.

— Да, слабонервных просим не входить...

Возник недовольный дядя Валя.

— Мясо на пару. Развели дегустацию...

Море волновалось. Волны, разбиваясь о пирс, падали солеными брызгами на лицо, шипели на багрово-каленных углях мангала. Горел маяк, бежал по волнам луч пограничного прожектора.

— Настоящий шашлык, барышня, — разъяснял дядя Валя Томе, — замачивается только в молоке. Но где тут молоко найдешь — они все помешались на этом вине. Так что не обессудьте.

Он протянул Томе шампур.

— Невозможно вкусно.

— Понимает в мясе, — с удовольствием заметил дядя Валя, — очень наш человек.

— Он водку без мяса не пьет, — засмеялся Леха.

— Я, барышня, воспитан в старых традициях. Еще господин Булгаков говорил, что к водке нужно оперировать исключительно горячими закусками. А уж он-то понимал толк в жизни.

Забренчали на гитаре, затянули что-то пронзительное, украинское.

— А я, Леш, бросил все, — нагнулся к Лехе Вовк, — уехал сюда и счастлив и несчастлив одновременно.

— Он был оператором на студии, — пояснил дядя Валя, — снял... Сколько ты снял?

— Шесть картин.

— Как же так? — удивился Леха.

— Осточертело, знаешь. Как-то вдруг, в одночасье. Что хотел снимать — не давали, а так... Да тебе это, вероятно, знакомо.

— Тоскливо?

— По-разному. Художник, если он настоящий, всегда, по-моему, неприкаян. Так было, так будет, какие бы перемены ни сотрясали эту страну. И у тебя, и у меня... Вон Валя пять лет ждет постановки. Заказухи снимает про бычью сперму.

— Да, — мрачно согласился дядя Валя, — хочется прожить жизнь красиво, докопаться до самой сути, чтобы потом никто не мог плюнуть тебе вслед... Не получается... Кто в этом разберется?

Он разлил вино, снял шампуры, протянул Лехе, Томе.

— Искупаться бы, — занервничал Леха.

— Обалдел?

— Леш, — позвала Тома.

— Окунуться, туда и обратно. Когда теперь выберемся.

— Черт с тобой, окунись, — согласился дядя Валя, — отогреем.

— И я с тобой, — вдруг сказал Вовк. — Откроем сезон. Они быстро разделись.

— Ныряем?

— Страшно! — поежился Леха, перебирая голыми пятками по бетонному пирсу.

— Дай руку!

Он взял Лехину руку, оттолкнулся и прыгнул в воду, увлекая его за собой.

— Мама! — завопил Леха.

— Сдохнуть легче! — заорал Вовк.

И отчаянно погребли к берегу.

Потом их растирали, разогревали, отпаивали.

— Вы идиоты! — заключил дядя Валя. — Ну он-то пацан, а ты ...

— И я, как видишь, — засмеялся Вовк.

Дядя Валя протянул Лехе стакан с вином, снял горячий шампур.

— Ешьте, ребятки, пейте. Завтра каждый вернется к своей бычьей сперме, а этот день навсегда останется в памяти, потому что в этот день все получилось.

Вновь забренчала гитара — что-то близкое, из репертуара московских кухонь.

— А у меня однокурсница пыталась отравиться, — неожиданно сказал Леха, — стихи писала...

Уже написана строка
И вот герой пылит дорогу.
Все у него не слава Богу,
Но, слава Богу, жив пока.

Он от меня освобожден,
Сам по себе поет и плачет.
Сам по себе и не иначе
Свою судьбу решает он...¹

Ветер разбрасывал по стеклу дождевые капли.

Они сидели на постели, прислонившись спинами к подоконнику. Была ночь.

— Почему ему не дают постановку, дяде Вале? — спросила Тома.

— Он насквозь больной — пять лет сталинских лагерей. Вез из-за границы лекарство с примесью наркотиков. На таможне лекарство отобрали, завели дело. Потом дело закрыли, а снимать уже не дали...

— Море, маяк, контрабандисты, — медленно произнесла Тома, — А какое одно к другому имеет отношение?

Леха не ответил.

— Помнишь, ты пела песенку про Север?

— Проклятый Север?

— Это песенка моего товарища. Там еще такие слова: «...а где-то Мутный Материк прекрасен в утренней по-

¹ Стихи С. Грудович.

молвке...» Есть на Печоре такой поселок: Мутный Материк. Далеко на Севере.

— Мутный Материк, — повторила Тома, — я думала, это образно. Ты был там?

— Нет. Но я все себе представляю. Это, наверное, так: туман на реке, острове, тайге, деревне. Покачивается бакен, скрипят уключины, старик-бакенщик, положив на колени худые, пахнущие рыбой руки, дымит самокруткой... Дым тяжелого табака растворяется в тумане. Пахнет прелой травой, хлебом. Мычат в тумане коровы, разматывается колодезная цепь, стучит топор... Сквозь грязное, размытое дождем стекло видны законопаченные мхом бревна, старые фотографии на стенах, выскобленный стеклом стол, лампа... Я уверен — это именно так...

— Мутный Материк, — вновь повторила Тома. — Тебе очень туда хочется?

— Очень. Пора отойти в сторону и позвать себя. «...Пора, пора, уже нам в лица дует воспоминаний слабый ветерок...»¹ Я многое должен сказать. Но для этого необходимы тишина и покой.

— Не будет, — сказала Тома, — не будет в твоей жизни Мутного Материка. Нигде ты не успокоишься.

— Не будет, — как эхо, повторил Леха.

— Ты хочешь тишины и вечных тем. Но ведь день сегодняшней — уже вечность. Напиши о себе.

— Зачем?

— Вечные темы придуманы графоманами. Разве все эти прописки, судимости, неустроенность, страшный разрыв между окружающим миром и вот этим особенным состоянием души — пустяк? Разве не перемололи они в своем горниле миллионы судеб? Разве не перемелют еще?

— Тогда и о тебе.

— Напиши о нас, — она отвернулась. — А большего нам, наверно, не суждено.

В одном из московских переулков, у безликого здания со словом «Театр» на вывеске, Леха достал блокнот и вычеркнул последнее название в длинном списке.

— Больше идти некуда. Если только в оперетту — статисткой.

¹ Э.Багрицкий. «Увы, мой друг, бегут так быстро годы!..»

Он воспроизвел жест человека, снимающего и прячущего в карман очки.

Тома удивленно посмотрела на него.

— Снимаю розовые очки надежды, — объяснил Леха. — Необходимы прописка и колоссальные связи. В обоих случаях я бессилён.

— Зато теперь мы свободны от иллюзий, — Тома тоже «сняла очки» и забросила их к черту на кулички. — Дай мне сигарету.

Леха протянул ей сигарету.

— Ты только не говори ничего, ладно? Я ведь была к этому готова.

Он тоже попытался закурить, сломал несколько спичек, бросил незажженную сигарету, резко, стремительно пошел вперед. Обернулся. В глазах стояли слезы.

— Томка, ты первый человек, кого я хотел сделать счастливым...

Он вернулся домой ночью.

Послонулся по коммунальной кухне. На его столе стояли три кастрюли. В одной был суп, плавали на поверхности капельки жира, в другой — жаркое, в третьей — кисель, бордовый, пахнущий детством.

Он успокоился, постоял в тишине, пытаясь различить сквозь мутное стекло золотые купола Кремля.

В комнате на него повеяло свежестью вымытых полов, выглаженным бельем, чистым воздухом.

— Тома, — позвал он, включая свет.

Тома не было. Лишь чистота и неуловимая последовательность, с которой были расставлены вещи в квартире, говорили о том, что еще недавно здесь присутствовала женщина.

На столе, прижатое угогом, лежало письмо.

«Милый, до отчаянья любимый мой человек! Я не знаю, какой ценой дается мне этот шаг. Вправе ли я быть для тебя обузой? Каждый из нас безумно одинок и неприкаян. Даже вместе. Мы должны пережить все сами по себе. Как тот герой, пылящий дорогу, помнишь? Встретимся ли? Притянет ли нас одна звезда? Не знаю. Знай, что под этой звездой есть я, только твоя, единственный мой. Я прошу, я заклинаю тебя: будь счастлив, Леха, Лешенька...»

— Тома, — беспомощно позвал он.

Он представил, как она писала письмо, готовила обед, как плакала, глядя его рубашки, как мучительно невозможно далось ей это решение, и выражение невыносимой, неподвластной боли исказило его лицо.

Днем он ходил по городу, пересекал улицы, сворачивал в переулки, заходил в шашлычные, сосисочные, стоял в очередях, механически жевал людя-кебабы, возвращался домой.

У дома он заметил собаку, ту самую, которую когда-то кормила Тома.

— Здравствуй, друг, — сказал Леха, садясь рядом и тербя собаке лапу. — Ты по-прежнему один? Кусаешь гражданку лошадку?

Пес смотрел на него тоскливо, лизал руку.

— Я теперь тоже один, — говорил Леха. — Почему бы нам не объединиться? Пойдем ко мне. Я налью тебе щей и положу большую сахарную кость... Помнишь женщину, что кормила тебя уткой по-пражски? Это она приготовила. Наверное, она знала, что я встречу тебя.

Леха вошел в подъезд.

— Пойдем, я постелю тебе старый плед, а через несколько дней поедем на Север... Нам ведь с тобой больше некуда деваться. Ни мне, ни тебе... Пойдем, ну...

Леха неуверенно присвистнул.

Пес вскинул уши, они встретились взглядом, и пес увидел, что выражение тоски и одиночества в Лехиных глазах гораздо страшнее, чем в его собственных.

Он отряхнулся и пошел прочь — мудрый и одинокий пес.

Поздно вечером Леха пил кофе в ресторане. Один за служебным столиком. И странно было видеть в угарном дыму пьяного шабаша человека, одиноко пьющего кофе.

Откуда-то возникла набранная под завязку рыжая и уже не смогла пропустить свободного места за Лехиным столиком.

— Привет, — сказала она, усаживаясь.

— Привет, — отозвался Леха. — Проводить тебя домой?

— Мысль! — озарилась рыжая. — Продинамишь?

— А ты?

— Я?!

Рыжая не без труда встала, вышла в гардероб и вернулась уже одетой.

— Кавалер, проводите даму.

Леха поднялся, бросил на стол деньги.

Квартира выглядела вполне прилично.

— Я сварю кофе, — предложила рыжая, пытаясь придать Лехиному присутствию томность светского раута.

Она прошла на кухню, насыпала кофе в турку. Кофе был в зернах.

— Его бы не мешало помолоть, — сказал Леха.

Он развернул рыжую, поцеловал в губы.

— Как тебя зовут?

— Марианна.

— Марианна, — повторил Леха и стал расстегивать на ней кофточку.

— Но-но! Я должна хотя бы помыться.

— Помоешься, — Леха снимал лифчик, подталкивая ее в комнату. Бросил на кровать, стащил джинсы.

Марианна лежала перед ним обнаженная, еще красивая, еще способная вызвать желание. Он отвернулся.

— Кавалер, — позвала рыжая.

Он взял ее ногу, с силой вывернул. Она вскрикнула.

— Садист! Иди ко мне...

Леха поднялся.

— Марианна...

И пошел к выходу.

Он голосовал ночью на незнакомой магистрали. Мимо пунктирами зеленых огней проносились такси. Иногда они останавливались и, узнав адрес, хлопнув дверцей, ехали дальше.

— Зачем же останавливаешься, гад? — спросил Леха одного из них.

Беспощадно, как луч театрального прожектора, горел над головой фонарь. И никуда уже было не деться из этого тусклого, очерченного фонарем круга.

— Что это за проклятая страна? — раздумчиво сказал Леха. — За что ты так ненавидишь нас, Господи? Ведь ты сам призывал нас к любви. Как ты допустил, чтобы миллионы превратились в рабов, пыль, ничтожество?.. Я стою перед твоими очами. Кто я? Забери мою жизнь — она не нужна мне больше. Да, я грешен. Но разве грехи мои сто-

ят страданий, которые ты отпускаешь мне. Уничтожь нас, Господи, раствори физически. Ведь ты почти уничтожил нас...

Он поднял руку.

— Куда? — спросил таксист.

— До Новокузнецкой.

Таксист отрицательно мотнул головой и протянул руку, собираясь закрыть дверцу.

— Паскуда ты! — сказал Леха. — Пес шелудивый.

И хлопнув дверцей, изо всех сил всадил ногой по заднему крылу.

Таксист проехал несколько метров и остановился. Вылез из машины, пошел на Леху:

— Ты что, сука?!

Леха свалил его сразу.

И тут же словно из-под земли выросли еще две машины.

Таксисты шли к нему. Теперь их было трое.

— Ты не прав, брат, — ласково улыбнулся один.

Их было больше. Они шли к нему. Он ударил одного, другого. Ударили его. Тяжело дышали, утирая кровь. И он, и они. Выдыхались.

Он отпугнул кого-то левой и, сверкнув молнией, сорвались с руки и упали на капот часы. Его швейцарский «Ориент».

Все замерли.

Один из таксистов взял часы, подержал на весу.

— Ну что? — спросил он. — Разошлись полюбовно?!

Надо было рвать, бить, отнимать, выгрызать зубами. Он не сделал этого.

Они постояли в нерешительности, разошлись по машинам. Уехали.

Мимо шли и шли машины с зелеными огнями.

А он так и стоял у поребрика — грязный, в крови, с оторванным рукавом. Глядел перед собой отсутствующим, безразличным ко всему на свете взглядом.

Что он там видел, впереди?

Никто, кроме нас...

...Группа шла по склону.

Впереди, держа щупы наперевес, вглядываясь в каждый метр тропы, шли «охотники»¹. Следом за «охотниками» — головной дозор и старший группы капитан Истратов.

За Истратовым — взвод десантно-штурмовой группы.

Шли молча. Каждое слово, ненужная фраза, лишнее движение отнимали и без того уходящие силы. И горы, величественные и бесконечные, хранили такое молчание, что порой десантникам казалось, будто они всего лишь совершают многочасовой учебный переход, который вот-вот закончится возвращением на базу, обжигающим душем и прохладными простынями до утра.

Но они знали: это не так.

Напряженная тишина, нарушаемая осыпающейся галькой под тяжелым шагом десантных ботинок в следующую секунду может разорваться выстрелом из «эрэса»² или гранатомета, подрывом на радиоуправляемом фугасе, автоматными очередями, скоротечным или многочасовым боем, в котором кто-то останется жив, а кто-то примет смерть здесь, под бездонным небом Таджикистана.

И потому все они, измотанные суточным рейдом, мучаемые жаждой, волокущие на себе автоматы, «мухи»³, огнеме-

¹ Охотники — саперы.

² Эрэс — самодельная пусковая установка для реактивных снарядов.

³ Муха — одноразовый гранатомет.

ты, тяжелые пулеметы Калашникова, снайперские винтовки и неподъемный боекомплект, настороженно всматривались в едва шелохнувшуюся веточку, упавший с горы камень, в любой неожиданный блик под солнцем, вслушивались в еле различимый чужой звук, тем самым оставляя себе возможность опередить противника, мгновенно выбрать позицию, успеть открыть поражающий огонь, выжить и победить...

Левашов проснулся после заката, когда солнце уже ушло в темнеющие у горизонта леса Подмосковья.

Он еще подумал, что солнце сейчас лежит себе на боку и все ему трын-трава. Оно-то свои обязательства выполнило. А может, солнце лежит на спине, нога на ногу, усмехается и приговаривает: «Ну-ну! Молодец ты все-таки, Левашов... Мужчина!»

Именно так он к себе и обратился.

Смотреть на часы было уже бессмысленно — он и не посмотрел.

Голова трещала по швам. Он подумал о холодном пиве, водке, пельменях и, вспомнив, что все это есть в холодильнике, ужасно расстроился.

Левашов пребывал в той стадии запоя, когда чем старательнее пытаешься выйти из него, тем головокружительнее срываешься в обманчивую бездну.

— Все, баста! — сказал он вслух и сам не поверил в сказанное.

В это время и раздался телефонный звонок.

— Левашов?

— Я, — ответил он и подумал, что надо было изменить голос, сказать, что Левашов вышел, а позже перезвонить самому с более убедительными оправданиями, вроде: бабушка полезла вворачивать лампочку, упала с табуретки и сломала ребро, ногу и все вставные зубы... Хотя какая, к черту, бабушка.

— Это становится забавным... Второй раз вы назначаете мне свидание и второй раз не приходите. Я уж было решила, что вас нет, а так — мираж, фантом... А вы, оказывается, — ничего, существуете.

— Вот именно, существую.

— Что, так и не вышли из коматозного состояния?

— Пытаюсь, — честно признался Левашов.

— Это обнадеживает. Значит, когда-нибудь мы все же встретимся.

— Знаете что, Наташа, — набрался храбрости Левашов, — приезжайте ко мне. У меня есть холодное пиво и пельмени.

Про водку он предусмотрительно умолчал.

— Пельмени сами стряпали?

— Государство.

— Нет уж, дудки. Я приеду, и выяснится, что нет ни такого дома, ни такой улицы, а есть представительство какого-нибудь Таймыра, где, конечно, всегда холодное пиво, а вас соединяют по прямому проводу... Идите вы к черту!

И бросила трубку.

Левашов походил вокруг телефона, перенабрал ее номер.

— С вами разговаривает автоответчик...

Автоответчик! Надо же!

Он положил трубку.

«Сегодня я звонил вам ночью — мне отвечал автоответчик. Он был развязан, как буфетчик, газетчик, фальшивомонетчик... Я осторожен, как разведчик... Господи, какой бред лезет в голову».

Он ещё раз набрал ее номер, дождался условного сигнала и сказал:

— Наташа, простите меня... Вы не представляете, как мне тяжело при мысли, что мы больше не увидимся. Я буду ждать вас завтра на том же месте, пока вы не придете. И послезавтра. И дальше... Наташа, я...

Из трубки донеслись короткие гудки — время, отпущенное на сообщение, истекло.

Потом он варил пельмени, посыпал их тмином, добавлял майонез. Выпил две рюмки водки, кружку пива.

Отпустило. Он сидел в кресле под торшером, расслабленно вытянув ноги.

За окнами был март великодушный. Сквозь низкие рваные облака проступали далекие холодные звезды. Шел редкий, первый в этом году дождь.

Левашов вспомнил северную весну, удивительные, казалось, неправдоподобные мартовские утренники: день начинался температурой минус сорок, прохватывал, сковывал тело, и уже не верилось, что где-то на земле есть море, кипарисовые аллеи, соломенные шляпки... А к часу дня температура поднималась до нуля, валенки хлюпали по лужам, и море казалось совсем рядом, за ближайшей сопкой. Но к пяти вечера мороз вновь подбирался к отмет-

ке минус сорок, и эти выходки природы сводили с ума гипертоников и вселяли ужас в людей с нормальным артериальным давлением.

«Расскажу ей завтра, как стынут в минус пятьдесят семь глаза, пусть не думает, что я...»

Он затруднялся подобрать себе определение.

Так вышло. Сдали одну халтуру, прилично заработали, решили обмыться, и понеслась душа в рай... Разве она не поймет?

Что это? Оказывается, он все время думал о Наташе. И когда варил пельмени и пил водку, и сейчас. Только о ней.

«Да я толком и не помню, как она выглядит... Трижды говорил по телефону далеко не в лучшем качестве, да и знакомство наверняка вышло совершенно идиотским. Очень серьезные взаимоотношения... Что я, в конце концов, жить без нее не могу?..»

И вдруг поразился совершенно отчетливой и простой мысли: да, не может.

«Хоть бы она позвонила...»

Но она не позвонила.

Наташа всегда считала себя заурядным человеком.

Правда, у нее была довольно броская внешность и вполне совершенная фигура, которой все же доставало четырех сантиметров до идеального женского роста, она, по возможности, изысканно одевалась, но с другой стороны, все это не настолько занимало ее.

Жизнь ее складывалась более чем обыкновенно и в результате сложилась совсем не такой, какой она ее когда-то себе представляла.

По вечерам, накладывая ночной крем у зеркала, она замечала еле уловимые приметы времени, скрывать которые с каждым годом становилось все труднее. Она и не скрывала...

Наверное, в ее жизни, жизни одинокой тридцатилетней женщины, все могло случиться иначе, но как-то не случилось и не случилось, сама же она для этого уже давно ничего не делала.

Наташины родители, жившие в далеком северном городе, писали длинные письма с осуждением ее образа жизни и настойчивыми уговорами вернуться домой, и, вскрывая очередной конверт, она была готова бросить все и уехать к ним — единственным людям. Но каждый раз пы-

таясь найти себе место в городе, покрытым слоем угольной пыли, с мрачными терриконами шахт и однообразием пустынной тундры вокруг и не находя его — оставалась.

Она тоже писала родителям, звала к себе в двухкомнатную «хрущевку», рисуя перспективы счастливой совместной жизни, и эта тягостная переписка длилась много лет с редкими встречами раз или два в году...

В час ночи Левашов вошел в последний вагон поезда на Лубянской площади.

Вагон, как и все вагоны девяносто четвертого года, были испещрен надписями, усеян обертками от дешевого шоколада, скорлупой от фисташек. По полу, обдуваемая струей воздуха из приоткрытого окна, перекачивалась пустая пивная банка...

И хотя вагон был пуст, Левашов, конечно же, сел напротив Наташи, разглядывая ее с той степенью откровения, которая доступна еще не до конца пьяным людям.

Так они проехали три остановки в пустом вагоне.

«Сейчас пристанет», — подумала Наташа, заметив, как Левашов берется за поручень, и удивилась, что не испытала привычного в подобных ситуациях чувства брезгливости.

С первых секунд ее поразило в Левашове очевидное сходство с собой. Она подумала, что этот человек бывает откровенен и развязен, только когда выпьет, а так он, должно быть, столь же одинок и не приспособлен к этой жизни, как и она.

Левашов сел рядом с ней и негромко, но отчетливо произнес:

— Моя фамилия Левашов. Мне тридцать три года, и моя жизнь так же неустроена, как и ваша... Я воевал в Афганистане, был ранен, ордено... В общем, награжден орденом... К чему я это? Ах, да... Чтобы вы не подумали, будто я... Ну, это неважно...

— Вы говорите покороче, — попросила Наташа, — мне скоро выходить.

— Вы напрасно пытаетесь меня сбить, — стараясь быть серьезным, сказал он. — Я не буду говорить пошлых фраз о судьбе и всем таком прочем. Вы мне очень нравитесь...

— Наташа...

— Наташа... Я сейчас нетрезв, и это очевидно...

Наташа поднялась.

— Моя остановка.

— Можно мне проводить вас?

— Вы угадали, — сказала Наташа — я живу одна. Но из этого ничего не следует.

— Из этого следует поезд, в котором я уеду, а вы останетесь... Дайте мне свой телефон.

— Хорошо, — Наташа достала из сумки блокнот.

Гонимая сквозняком, коснулась Наташиных ног пустая пивная банка...

И эта банка, и скорлупа от фисташек, и гадкие надписи на стенах, как вся наша жизнь с ее обманчивым счастьем, бедами и горечью разочарований, вернули Наташу в реальность.

Она вырвала листок из блокнота и записала номер.

— Вы не знакомитесь в общественном транспорте, — грустно улыбнулся он, — и потому оставили мне несуществующий номер...

Наташа посмотрела на Левашова: внезапно протрезвевшего, растерянного... И поняла, что не может его потерять.

Поезд притормаживал — это длилось секунды, и, зачеркнув предыдущий, она написала правильный номер.

Утром Левашов позвонил и попросил о встрече.

Договорились в четыре часа на Пушкинской площади.

Наташа шла, волнуясь и нервничая как девчонка. Она прождала сорок минут, озябла и прокляла себя тысячу раз — Левашов не пришел.

«Идиот проклятый! Мы себе не простим!.. Я-то дура... Раскисла, как гимназистка!»

Левашов перезвонил вечером. Он клялся, божился, несутветно врал, просил учесть, что телефонная трубка, из которой доносится Наташин голос, висит, как распятие в красном углу, а сам он стоит перед ней на коленях. Он оправдывался долго, окончательно запутался и в конце концов признался, что пьет третий день подряд, но уж этот день, слово мужчины, последний.

А она, Наташа, обязана его понять, простить и прийти завтра к Пушкину в то же время.

— У нас с вами, как в песне: «Мы оба были — вы у аптеки, а я в кино искала вас...» — сказала Наташа.

— Какие уж тут песни... — вздохнул Левашов.

— Ладно, я приду, — сказала Наташа — все это ужасно забавляло ее. — Все равно мне по пути.

Но Левашов не пришел и на следующий день...

...Задача группы состояла в следующем: выдвинуться от сожженной заставы, пройти ущельем Каферкаш, миновав развалины Шурупдары и ликвидировав позицию на высоте 1058, 2, с которой «духи» неоднократно обстреливали заставы и прилегающие к ним посты. Далее — до развалин кишлака Камсурга, где, по информации с афганской стороны и подтвержденным разведанным, концентрируются большие силы боевиков для дальнейшей переброски в глубь Таджикистана.

Заняв господствующие высоты и тщательно изучив обстановку, вызвать по радиации звено МИ-24 и дальнобойную артиллерию.

Нанеся по лагерю противника точечный ракетно-штурмовой удар, «борты»¹ уступали место тяжелой артиллерии, которая обрабатывала квадрат по указанным Истратовым ориентирам, и только с последним залпом в бой ввязывалась сама группа, уничтожая оставшуюся живую силу противника.

План операции, маршрут следования, состав группы, вооружение — все это не раз отработывалось на закрытых штабных совещаниях и было продумано до мельчайших подробностей, за исключением одного — никто не мог предсказать исход операции.

Считавшийся безопасным район Камсурга не контролировался нашими войсками длительное время. Но две недели назад «духи» вновь навели переправу и за это время перебросили на нашу сторону до трехсот боевиков и большое количество вооружения.

Группа капитана Истратова насчитывала тридцать человек. Но не потому, что у командования не хватало хорошо подготовленных бойцов, а потому, что подобного рода операция и не предусматривала большего количества людей.

Тридцать человек были тем оптимальным числом, которое позволяло группе быстро и скрытно пройти многочасовой маршрут, оперативно сориентироваться на местности и в конечном счете уничтожить базу противника.

Но кажущаяся простота и ясность поставленной задачи оставались жить на топографических картах и в секретных штабных документах, а в действие вступал безжалостный

¹Борт — вертолет.

закон горной войны, способный изменить ситуацию в любую секунду. И, опровергая все логические доводы, его смертельный опыт говорил: будь готов к худшему, рассчитывай только на себя.

Еще неизвестно, сколько тебя ждет на пути мин-ловушек, непредвиденных боестолкновений и хорошо организованных засад. Удастся ли бесшумно, не привлекая к себе внимания, снять пост на высоте 1058, 2 и боевое окрашение в районе Камсурга.

Хорошо бы пройти маршрут бескровно, выйти к заданному квадрату, дать координаты и (пропади они пропадом, эти ордена, — чаще всего их дают посмертно) остаться всего лишь наблюдателем чужой работы.

Но война есть война. И то, чего сегодня не сделаешь ты, завтра может обернуться гибелью других. А у них, как и у тебя, одна жизнь, и так хочется прожить эту жизнь вдалеке от войны, так хочется уцелеть...

И пока совершенно неясно, насколько точно отстреляются неуправляемыми снарядами «борты», по квадрату ли, имея весьма приблизительные, не пристрелянные ориентиры, отработает дальнобойная артиллерия, да и само понятие «господствующие высоты» носит в районе Камсурга не более чем условное название.

И какой фактор внезапности ни используй, какую огневую мощь ни привлекай, — все-таки триста человек — не тридцать, и одному богу ведомо, чем все это может закончиться.

Это понимали и десантники Истратова, и те, кто провожая их. И потому на зарывшейся в землю заставе, где ночевала группа, в тесных и темных ее блиндажах было непривычно тихо и скорбно в этот последний перед выходом вечер.

И хотя был у начальника заставы день рождения, стояла на снарядных ящиках водка, сидела в блиндаже фельдшер Катя Рябова — красивая высокая гимнастка в тонкой, вызывающе изысканной для войны оправе, что-то напевал под гитару лейтенант Балабанов, — все это было как-то странно и неуместно сегодня.

Десантники почти не пили. Они уже были в завтрашнем дне, и этот день, храня и спасая их, заставлял еще раз чистить и проверять оружие, спаривать изолентой автоматные рожки, подгонять снаряжение, меняя тяжелые банки

консервов на патроны и гранаты к подствольным гранато-метам.

Движения и жесты солдат были точны, практически машинальны, но в них уже чувствовалась та усталость и обреченность, отличающая людей, уходящих в далекий, неизвестный и, быть может, последний путь.

Всех, находящихся в этот час в блиндаже, свели одни дороги войны. Но если судьба остающихся на заставе была более-менее ясна, то судьба десантно-штурмовой группы была настолько неопределенной, что по законам войны было страшнее самой предсказуемой определенности.

Каждый боец заставы готов был поменяться местами с любым из десантников, но там, «наверху», все было десяти-ки раз спланировано и утверждено, и потому уходили именно эти тридцать, и никто не имел права заменить их...

Левашов проснулся от ощущения свободного полета.

Он, конечно, никуда не летел — лежал, выпростав руки из-под одеяла, небритый, неухоженный...

Он вспомнил: у Платонова в одном из рассказов была Маша — дочь пространщика. Пространщик — это профессия?

Он, Левашов пространщик по состоянию души. Иногда у него складывалось ощущение, что это и не жизнь вовсе, а лишь долгая изнурительная командировка, в которую его послали по ошибке, не сразу решились отозвать и в конце концов забыли о нем.

Он побродил по квартире, мучительно пытаясь перебороть похмелье. Достал из шкафа двубортный, вполне приличный еще костюм, свежую, на удивление выглаженную рубашку, итальянские, также имеющие безупречный вид ботинки и не мог не восхититься собой.

Было и длинное кашемировое пальто, и красивое, спякойных расцветок кашне — ему было в чем предстать перед Наташей и в этом оправдаться перед ней.

Он долго лежал в ванне, брился и все же выпил две рюмки водки, бесконечно презирая себя и одновременно приводя доводы в свою защиту.

Стало легко и свободно. Он знал: Наташа придет. А если не придет, то обязательно пройдет мимо памятника Пушкину, где теперь каждый день будет ждать ее Левашов.

Его не оставляло ощущение первой встречи, и если бы сейчас его спросили: «Есть ли у вас жена?» — он бы ответил: «Да, есть, ее зовут Наташа».

Он знал: они должны быть вместе. И это так же естественно, как и то, что судьба свела их в последнем вагоне метро.

Левашов ждал Наташу больше часа, окончательно промерз в своих легкомысленных ботиночках и, когда она неожиданно позвала его, не сразу поверил, что это Наташа.

Она была хороша, удивительно хороша, и все же ее красота была такой второстепенной по сравнению с бездной глубины и одиночества, в которую можно было пасть всю жизнь.

«И эта женщина приходила сюда дважды, мерзла, ждала меня, скотину...»

— Я не хотела заставлять вас ждать, — сказала Наташа, — так вышло.

— Вы можете сейчас уйти и прийти, когда вам вздумается. Я буду стоять на этом месте. — Он протянул Наташе цветы. — Простите меня, Наташа.

— Я почему-то не сержусь на вас. Шла сюда и думала: вот сейчас увижу его, скажу все, что о нем думаю, повернусь и уйду. А увидела вас — и поняла, что мне ничего не хочется говорить, и уходить не хочется...

— Не уходите, — Левашов смотрел себе под ноги. — Я без вас пропаду.

— Пропадете... А вы правда воевали в Афганистане?

— Что?.. И это успел сказать... Я не воевал — был в командировке. В общей сложности два года.

— А орден?

— Какой орден? — Левашов поморщился. — Орден как орден. Черт бы его побрал...

Он отвернулся.

— Мне казалось, что я стала забывать вас, — она провела рукой по его лицу. — Плохо вам?

— Плохо.

— Здесь недалеко есть кафе. В нем я начинала работать посудомойкой. Там меня помнят и дадут нам коньяк, крабовые палочки под майонезом и удивительно вкусную печенье с жареным луком. Вы любите жареный лук?

— Не очень. Знаете, Наташа... Может быть, мы поедем ко мне? Я утром сделал уборку... Если это, конечно, не противоречит вашим принципам...

— Не противоречит. Но вечером у меня... Вечером у меня представление и нужно быть в форме.

— Представление?

— Я работаю в ночном клубе.

— Стриптиз-девочкой? — непроизвольно, со злой усмешкой вырвалось у него.

— На подтанцовках у одной певички. Она выше ночных клубов не поднимается... Впрочем, как и я...

Левашову стало гадко. Да еще небо серое и безликое нависало над ними, как потолок малогабаритной квартиры.

— Представляете, — сказал он, — если бы сейчас журавли. Журавли над Москвой...

Она все поняла.

— Вас смутил род моих занятий. Я и не собиралась ничего скрывать. И убеждать, что моя работа заканчивается с последней пропетой песней... Я совсем иначе планировала свою жизнь, а она сложилась вот так, то есть никак...

Он и не знал о существовании этого кафе в центре Москвы. Кафе принадлежало союзу театральных деятелей, но, вопреки громкому названию, выглядело убого и пустынно.

— Наташка! — воскликнула одна из официанток.

— Галка! — обрадовалась Наташа. — Ну, как вы здесь?

— Что нам будет, ветеранам общепита, — мы любые времена переживем... Ты-то как? Все там же?

— Там же, тогда же...

— А что же молодой человек, — Галя кивнула на Левашова, — не положит этому конец?

— Молодой человек появился только сегодня — два дня морочил мне голову. Я возлагаю на него большие надежды. Не знаю, оправдает ли...

— И к могиле покойного, вместо терновых венков, были возложены надежды, которые он так и не оправдал при жизни, — сумеречно продекламировал Левашов. — Вы вот что, Галя, принесите-ка нам, для начала, меню.

— Какое меню? — изумилась официантка. — У нас кроме коньяка и крабовых палочек уже лет пять как ничего нет. Ну, еще печенка... Тушеную капусту предусмотрительно не предлагаю.

— Вот те раз, — расстроился Левашов, — а я собирался блеснуть...

— Теоретически вам это удалось, — успокоила его Наташа.

Они забралась в дальний угол, к двери служебного входа, хотя в этом и не было особой необходимости — кроме них в кафе сидело человек пять-шесть.

Появилась Галя, расставила на столе закуски.

— Посидеть, что ли, с вами.

— Ты извини, Галка, — серьезно сказала Наташа, — но мы не виделись целую жизнь.

— Это срок! — не смутилась Галя.

И исчезла.

— Вы, наверное, чувствуете себя неудобно? — спросила Наташа.

— Вообще я стараюсь не злоупотреблять этим, — Левашов постучал по горлышку бутылки, — но иногда срываюсь... И что удивительно — особенно не стремлюсь возвращаться из этого состояния. Я никогда не думал, что так гадко быть трезвым сегодня...

— Я понимаю вас, — как эхо отозвалась Наташа. — Со мной происходит то же самое... — Она взяла его за руку. — Вряд ли что-нибудь переменится вокруг нас...

— Вряд ли, — он взял ее за руку. — Послушай, где ты была все это время?

— Просто ты не искал меня...

— Искал. Иногда мне казалось: вот-вот, это ты. До тебя оставалось каких-нибудь два шага, но я не делал их...

— Никогда?

— Никогда.

— Я тоже. Это были не мы.

— Я никуда не отпущу тебя. Сегодня ты бросишь все...

— Брошу, — легко согласилась она. — Давай все-таки выпьем. И поешь. Я за тобой поухаживаю. — Она подвинула ему крабовые палочки, сделала бутерброд с паштетом. — Бедный мой Левашов. Слушай, — неожиданно вспомнила она, виновато прижав руку к груди, — а как тебя зовут?

— Евгений, — расхохотался Левашов. — Женя.

— Правда? Как я люблю это имя. Женя, Женечка, Наташа... Ну что, выпьем?

Они выпили.

— А что было главным в твоей жизни? — спросила она.

— Плиски тебя.
Она смотрела выжидающе.
Он задумался на мгновение, ответил коротко:
— Война.
— И если тебя позовут вновь — ты пойдешь?
Он молчал, глядел мимо нее. Этой женщине нельзя было врать. Никогда. Ни в чем.
— Пойду.
— И я не смогу тебя удержать?
— Понимаешь...
— Понимаю. Не надо ничего объяснять... Я люблю тебя, Левашов. Все остальное неважно.
Он находился в каком-то странном оцепенении. Неужели случилось то, чего он ждал всю жизнь?
Он разлил коньяк, поднял рюмку.
— Ну вот: мы муж и жена. С сегодняшнего дня начинается наша жизнь. Она пройдет под флагом крабовой палочки.
— Под майонезом...
— Майонеза обещать не могу...
— Скажи, а как жена, я могу поинтересоваться, чем ты занимаешься?
— А ты, собственно, только и делаешь, что интересуешься.
— Ну, знаешь, в конце концов, я выхожу замуж впервые.
— Это аргумент. А работаю я оператором на одной жуликоватой, но крайне независимой студии.
— Да? — удивилась Наташа. — И что же вы снимаете?
— Рекламу, клипы.
— Какие?
Он назвал.
Наташа болезненно поморщилась.
— Господи, какая гадость.
Она приоткрыла портьеру, посмотрела в окно. Через давно не мытые стекла первого этажа были едва различимы лица совсем чужих людей.
— Когда человек счастлив — окружающие кажутся ему только прохожими, — отстраненно произнесла она. — А ты пробовал заняться чем-нибудь другим?
— Мне некого было стыдиться. У меня не было тебя.
Он долго смотрел на нее, наконец сказал:
— Наташа... Мы будем жить нелегко, может, бедно, но мы останемся собой. Ты согласна?
— Конечно, — ответила она просто.

Потом она звонила из автомата.

В автомате были выбиты стекла, тяжело поскрипывала дверь, и казалось, все это: и металлический каркас и пластиковый корпус телефона, — было соткано из вечернего неба и звезд специально для Левашова и Наташи и растворится тотчас, как только Наташа опустит трубку.

Растворится до следующего прохожего, которому будет необходимо сделать самый важный, решающий звонок в своей жизни. Немедленно. Из первого телефона-автомата.

— Сергей Борисович, голубчик, это Наташа. Передай-те, пожалуйста, Ксении, что меня сегодня не будет. И завтра... Что? Да, уезжаю. Звоню с вокзала... Все понимаю, Сергей Борисович, но что делать — крайние обстоятельства...

Левашов стоял рядом, прислонившись к будке, слушал эту несусветную ложь.

Наташа забарабанила пальцами по его плечу и, зажимая трубку ладонью, проговорила:

— Слушай, бог меня накажет, да? — и тут же проинформировала о реакции на том конце провода. — Ругается на чем свет стоит...

— Не отвлекайся, — мудро посоветовал Левашов.

— На месяц, не меньше. Да знаете, все так как-то... Ну, кому-кому, а мне найти замену несложно. Я договорилась с одной девицей — она вам завтра будет звонить... Ну, что поделаешь — обидно, конечно... И вам всего самого доброго.

Она повесила трубку, ступила на асфальт, потянулась и сказала со смутным недопониманием, обычно сопровождающим внезапное счастье:

— Я свободна!

...Где-то далеко, над заснеженными вершинами афганских гор, вставало солнце.

Левашов, Истратов и начальник заставы Богодухов сидели под навесом полевой кухни и курили, по привычке пряча огоньки сигарет за отвороты бушлатов.

— Ночь на удивление спокойно прошла, — сплевывая на окурки, сказал Богодухов. — Через час пойду докладывать по начальству.

— Во-во, — заметил Истратов, — так и доложи: в связи с уважительным отношением афганской стороны к на-

чальнику заставы майору Богодухову было решено его день рождения всякими идиотскими выходками не портить.

— Не они, так вы все испортили своими сборами...

— Ну, извини, — усмехнулся Истратов. — Скоро мы уйдем, и ты вздохнешь с облегчением...

— Пошел ты, знаешь, куда?

— Знаю.

— Ничего, — сказал Богодухов, — дай бог, вернетесь, там и погуляем. Баньку затопим...

— Что значит: дай бог? — мрачно спросил Истратов.

— То и значит, Паша. Не к теще на блины идете...

— Ты мне, Богодухов, — сказал Левашов, толкнув Богодухова плечом, — образцового отца-командира напоминаешь. Все у тебя сыты, обуты, а за подкладку фуражки набор поговорок зашит. На все случаи жизни...

— Какой из меня командир... Мне бы джинсы с бейсболкой и куда-нибудь на Азовское море. Спасателем...

— Почему на Азовское? — спросил Истратов.

— Оно мелкое. В нем утонуть невозможно.

Истратов поднялся.

— Пойду ребят будить — через час выходим. Ты собрался, Левашов?

— Нищему собраться — только подпоясаться, как ответил бы на моем месте майор Богодухов.

— Ну-ну.

Истратов ушел.

— У тебя рожки на тридцать? — спросил Богодухов.

— На тридцать.

Богодухов взял свой автомат, отстегнул спаренные, удлиненные рожки на сорок пять патронов и протянул Левашову.

— Возьми. Мои на сорок пять.

— Спасибо. — Левашов отстегнул свои рожки и протянул Богодухову. — Махнем не глядя, как на фронте говорят...

— Слушай, Жека, — сказал Богодухов, — мы с тобой друг друга сто лет знаем... Я тебя прошу: не будь муляжом.

— В каком смысле?

— В смысле, не лезь никуда! Без тебя навоюют...

— Там видно будет.

— Там уже ничего не будет видно...

Богодухов встал.

— У меня на этой кухне двоих поварят убило...

— Что ж вы ее в землю не закопаете?

— Кухню в землю не закопаешь...

Богодухов смотрел куда-то вверх гор, и взгляд его был таким отрешенным и смертельно уставшим, что Левашову стало не по себе. Словно не он, Левашов, а его старый товарищ Витька Богодухов уходил сегодня в заранее предопределившую его судьбу неизвестность.

И уже неотвязчиво стояли перед глазами убитые повара.

— Куплю себе дом на берегу, — задумчиво произнес Богодухов, — побелю известкой и буду слушать море... Женюсь на фантастически красивой женщине...

— Ты же женат.

— Какое это имеет значение...

Левашов подошел к Богодухову.

— Не провожай нас — ну тебя к черту...

— Долгие проводы — лишние слезы... — сказал Богодухов. — Женька...

— Ладно... — махнул рукой Левашов.

Они обнялись. Скомкано и неловко. Богодухов ткнул Левашова в плечо, отвернулся и пошел в сторону штабного блиндажа. На мгновение Левашову показалось, что он плачет...

Поезд трясло.

Проводница — немолодая, измотанная дорогами, шла по вагону, держась за поручень и строго заглядывая в каждое окно, словно то, что было за окном, также находилось в ее ведении и подлежало контролю на всем пути следования.

Она дошла до предпоследнего купе, постучала в закрытую дверь.

— Добрый вечер! Билетики ваши, пожалуйста. Так, Левашов. До Инты. А вы, стало быть, Левашова?

— Боже упаси, я — Наташа.

— Наташа так Наташа. И за бельишко, пожалуйста. Чаек будем пить?

— Непременно, — отозвался Левашов. — Скажите, а курить у вас можно?

— Исключительно в тамбуре. Тамбур-то — вот он.

Она пространно повела рукой.

Левашов тяжело вздохнул.

— Видите ли, — очень серьезно сказал он, — у меня крупозное воспаление легких, а у нее, у Наташи, откровенно говоря, вообще пневмония.

— Надо же, — посочувствовала проводница. — Что же вы: с такими тяжелыми недугами и в дорогу?

— Что поделаешь, — обреченно произнес Левашов. — Мотает человека по свету, фигурально выражаясь, как осенний листок, а умирать тянет на родные места...

Наташа не выдержала — рассмеялась.

Проводница улыбнулась.

— А дотянете до родины-то? — поинтересовалась она. — Учтите, у меня за всю службу ни одной смертности в пути не зарегистрировано.

— И не будет, — уверил Левашов, — если в тамбур не выгоните.

Проводница поднялась.

— Бог с вами, курите. — И, обернувшись в дверях, неожиданно сказала. — Эх, ребяташки, живем мы, как кошка с собакой, мотаем друг другу нервы, а жизнь-то действительно рано или поздно кончается.

И вышла.

Наташа откинулась на диван.

— Куда едем? Зачем? — недоуменно пожала плечами она.

— Как куда? Представляю твоим родителям, произведу неизгладимое впечатление — в общем, сжигаю мосты, Наташка...

— Так... — протянула Наташа. — Значит, в самом себе ты уже не уверен... И потом, что значит: произведешь впечатление?.. Лично на меня ты произвел самое отвратительное впечатление.

— Просто мы повстречались в тяжелый период моей жизни.

— Это запой, по-твоему, тяжелый период?

— А что, легкий? Попробовала бы...

— Господи, — вздохнула Наташа, — и с этим ничтожеством я собираюсь связать свою жизнь...

— И не говори, Наташка, — зевнул Левашов, — окрутила ты меня вокруг пальца.

По проходу катил тележку сонный буфетчик. Тележка была завалена бестолковой кондитерской снедью.

— Желаете что-нибудь, граждане? — флегматично спрашивал он.

— У вас есть конфеты с мышьяком? — спросила Наташа. — Для одного проходимца...

— Не держим, — не отреагировал буфетчик.

— Тогда шоколад «Вдохновение». Весь. Чтобы мне вдохновения до конца пути хватило...

Она набрала гору шоколада, раскрыла книжку и, читая, отправляла в рот аккуратные шоколадные брусочки с ореховой начинкой.

— Правильно мы сделали, что поехали, — неожиданно сказал Левашов. — Осточертело все! Клипы, халтура, водка эта... И с тем, кого знаешь, и с тем, кого не знаешь, еще чаще... — Он зевнул, прикрыл глаза. — Хочется вдохнуть свежего воздуха... — замолчал на полуфразе Левашов, и когда Наташа позвала его, выяснилось, что он уже спит.

Она накрыла его одеялом, погасила свет и еще долго сидела под ночником, удивляясь внезапному счастью, изменившему ее судьбу, на которую она, казалось, давно махнула рукой.

Тайга постепенно переходила в однообразную лесотундру, и чувствовалось, что там очень холодно, за окном, — до Полярного круга оставалось совсем немного.

На протяжении всей дороги пассажиров сопровождали изречения древних греков на покосившихся станционных постах. Белыми буквами на красном кумаче.

— Азы философии, — усмехнулся Левашов. — Похоже, древние греки прочно оккупировали сознание местного населения.

Показалась станция.

— Вон мои! — вскрикнула Наташа и замахала в окно рукой.

Они спустились на платформу. Было действительно очень холодно — у Левашова защипало лицо, и он подумал, как, вероятно, глупо выглядит в пижонской курточке и вязанной шапочке на таком морозе.

— Теперь я понимаю, — застуженно произнес Левашов, поглубже натягивая шапку, — откуда у тебя такой морозоустойчивый характер.

Отец Наташи оказался крупным, степенным, мать, напротив, — маленькой, кроткой, с еле уловимыми девчоночьими чертами лица.

— Зяблик мой! — обнял Наташу отец.

— Ой, папка! — Наташа прижалась к отцу и заплакала.

Левашов неловко топтался рядом.

— А это Женя, — представила Левашова Наташа.

— Надежда Ивановна.

— Георгий Васильевич.

С трудом уселись в старый «запорожец», с горем пополам тронулись.

— Машина у меня, — сказал Георгий Васильевич, — Наташке ровесница.

Надежда Ивановна и Наташа оживленно шептались на заднем сиденье, потом прижались друг к другу и затихли.

Левашов смотрел на город: заброшенный, безликий, покрытый сплошным черным налетом.

— Шахтная пыль, — заметив взгляд Левашова, пояснил Георгий Васильевич, — так и живем...

Подъехали к старому четырехэтажному дому с осыпающимся фасадом.

В квартире все говорило о крепкой хозяйской руке: и свежевыкрашенный пол, и высокие, отливающие матовой белизной потолки, и добротнo пригнанные наличники, и прочие бытовые мелочи.

Все носило щемящий отпечаток глубинки, где некуда больше пойти, где дом — это и крепость, и Большой зал консерватории, и кинотеатр, и последний приют.

Где уважительно относятся к репродукциям Шишкина и игрушечным страстям Айвазовского, где трехпрограммный приемник на кухне и цветной телевизор в гостиной бережно накрыты мягкими плетеными салфетками как основные источники радости и информации.

Стол в гостиной был уставлен теми небогатыми закусками, на которые расщедривается короткое северное лето: хрустящими подберезовиками в глиняных плошках, копченым хариусом, резкими и острыми овощными салатами.

— По маленькой с мороза? — предложил Георгий Васильевич. — А потом пельмени из оленины — мать у нас неповторимо их стряпает.

В соседней комнате женщины разбирали подарки. Оттуда то и дело доносилось: «Вы с ума сошли, Наталья!» — «Да ладно тебе, мам...» — «Это же какие деньги!..»

— Ты кем мне будешь, а, Евгений? — спросил Георгий Васильевич.

— Официально — никем, — ответил Левашов.

— Ну, брачного свидетельства я с тебя, положим, и не спрашиваю.

— Да я бы и не смог вам его предоставить. Мы знакомы всего неделю...

— Неделю? — переспросил Георгий Васильевич. — А ты... ты уверен, что это всерьез?

Левашов ответил не сразу. Мгновение он еще думал, какие убедительные слова подобрать для этого человека, и вдруг понял, что в этом доме уважают только простую ясность и искренность чувств.

— Я люблю Наташу, — спокойно и убежденно произнес Левашов. — Ближе нее у меня никого нет. Никого.

Георгий Васильевич смотрел на Левашова, будто сверяя его слова и мысли на каком-то невидимом детекторе.

— Ты прости меня за этот допрос, у меня ведь тоже ближе нее — никого... — сказал он. — Она дождалась тебя. Теперь я спокоен.

Левашов почувствовал, что вот-вот сорвется с нужного тона. И вновь, как это бывало не раз, увидел уходящую спину отца. Отца, с которым уже никогда вот так не поговоришь...

Появились женщины.

— Это тебе, пап, — Наташа положила на стол рубашку, галстук и запонки с золотым покрытием.

Георгий Васильевич перебирал подарки, с трудом представляя свое большое, с въевшейся угольной пылью тело в изяществе и блеске непривычных вещей.

— И куда я в этом? — недоуменно спросил он. — На тот свет?

Но, судя по всему, остался доволен.

Надежда Ивановна безостановочно подкладывала Левашову, и если бы не впечатляющие дозы Георгия Васильевича, его бы совсем сморило за столом.

— Много ешь — соответственно пей, — советовал Георгий Васильевич. — Хотя, по-моему, это говорится наоборот...

— По-моему, тоже, — попыталась вмешаться Наташа. — Пап, он и так порой меры не знает...

— Ну и хорошо, — отвечал Георгий Васильевич. — Он же мужик, а не облако в штанах. Будь здоров, Евгений. — И опрокидывал стопку.

— Жора! — возмущалась Надежда Ивановна. — Несешь черт-те что! Что человек о нас подумает?

— Все правильно он подумает. А, Евгений?

— Это верно, — неопределенно отвечал Левашов.

Он любил эти широкие непритязательные застолья, когда много пьют и вкусно едят, а в конце обязательно поют бесконечные и грустные русские песни. Когда все просто и непринужденно, и говорится то, о чем сказано не раз, вспоминаются близкие — живые и давно ушедшие, война, эвакуация, родственники, живущие в далеких городах, прошедшие вечеринки и десятки других житейских дел.

Сам Левашов вращался в совершенно противоположной среде, где в основном говорили о непроходящей роли искусства, политических настроениях, финансовых неудачах, свободомыслии того или иного издания, подробностях недавней премьеры, что всегда раздражало его, вызывая невольную, порой агрессивную реакцию против всей этой претенциозности, лжи и плохо скрываемого ханжества.

Постелили им в Наташиной комнате.

Все здесь было прежним: и письменный стол, и книжные полки, и небольшое трюмо в углу. Только вместо панцирной кровати с никелированными шпешечками, прослужившей Наташе долгие годы, сейчас одиноко и неуместно, как любая новая вещь в привычной обстановке, стояла широкая двуспальная тахта.

— Надо же! — развела руками Наташа. — Тахту купили к нашему приезду. Ты обрати внимание, как мастерски расставлены сети.

Левашов разглядывал галерею Наташиных фотографий в аккуратно пригнанных рамочках: Наташеньке два годика, утренник в детском саду, первый класс, восьмой, выпускной вечер.

— А ты ничего была в детстве, — заключил он.

Наташа прислонилась к окну.

За окном было необыкновенно светло от падающего снега.

— Завтра город будет изумительно белым. И мы пойдем в тундру на лыжах. Ты умеешь ходить на лыжах, Левашов? У отца замечательные лыжи на резиновых креплениях. Широкие, крепкие... — Она помолчала. — Они до сих

пор ждут: вдруг у меня что-то не заладится, и я вернусь. Отец каждый год обои переклеивает...

Город спал.

Георгий Васильевич и Левашов сидели на кухне. Георгий Васильевич набивал трубку, тщательно приминая табак указательным пальцем.

— Наверное, дико смотрится: шахтер с трубкой во рту?

— Нормально, — успокоил его Левашов.

Георгий Васильевич с наслаждением затянулся.

— Давно ты работаешь оператором?

— Восемь лет.

— Ну и как?

— Да, в общем, ничего, — сказал Левашов. — У нас это наследственное: дед был военным корреспондентом. Отец, — он горько и зло усмехнулся, — погиб в Иордании...

— Когда?

— В семидесятом. Мне восемь лет было...

Георгий Васильевич опустил голову, произнес приглушенно, не сразу:

— Побило тебя, парень...

— Не меня одного... — Левашов кивнул на трубку. — Дайте попробовать.

Он взял трубку, затянулся несколько раз.

— Табак, по-моему, не очень.

— Не очень, — согласился Георгий Васильевич, — где здесь хороший табак достанешь... Наташка говорила, ты был в Афганистане.

— Был.

— Воевал?

— Так... Пару раз попал под раздачу... Георгий Васильевич, почему вы не переедете в Москву? Все-таки единственная дочь...

— Знаешь, Жень, — помедлив, ответил Георгий Васильевич, — сегодня вы побыли дома, завтра посмотрите город, вечером Наташка сбегает к подружкам, а потом вы уедете. И единственные родители вас не удержат. Наверное, охота к перемене мест — это чертовски здорово, когда вся жизнь впереди... А я жил и работал здесь. Здесь моя земля, мое дело... — Он поморщился. — Ну вот: начались сопли в сахаре...

Левашов поднялся.

— Возможно, вы и правы. А моя жизнь — сплошные дороги...

— Может, теперь тебе не захочется никуда уезжать... — обронил Георгий Васильевич.

И было неясно: спрашивает он или надеется.

...Головной дозор подал сигнал: «Вижу опасность».

Мгновенно рассредоточившись, десантники заняли круговую оборону и приготовились к бою. Истратов стал осторожно перемещаться в голову колонны. Левашов последовал за ним.

— Ты еще куда со своей камерой, — оглянулся на него Истратов.

— Паша, будь человеком, — попросил Левашов.

— Обнаружишь нас — я тебя первого на тот свет отправлю, — мрачно пообещал Истратов.

Это можно было расценивать как разрешение.

Бесшумно, выверяя каждый шаг и прикрываясь скальными выступами, они добрались до головного дозора.

— Вон, — сказал Ким Балабанов, старший головного дозора, передавая Истратову бинокль, — слева от тропы развалины Шурупдары, видите? Метров четыреста...

— Ну...

— ДШК¹ видите?

— Вижу... — внутренне холодея, произнес Истратов, нащупав биноклем ствол крупнокалиберного пулемета.

— Видимо, недавно оборудовали, — пояснил Ким. — Еще толком не замаскировались...

— А «духи»? — нетерпеливо спросил Истратов. — «Духи»?

— Я насчитал четверых...

— Так, приехали...

Истратов отложил бинокль, прислонился спиной к валуну, бросил в рот соломинку — очень хотелось курить, но теперь это было невозможно: «духи» наверняка вели наблюдение.

— Думаешь, не пройдем? — глупо спросил он.

— Как?..

— Сейчас бы винтовочку с глушителем, — мечтательно произнес Истратов. — Лучше две.

— Три. Кто больше? — подал голос Левашов.

¹ ДШК — пулемет Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный.

Истратов смерил его тяжелым взглядом, но ничего не сказал.

— Товарищ капитан, — предложил Ким, показывая рукой перед собой, — вон по той балочке можно спуститься вниз, обойти кишлак с противоположной стороны и подойти почти незаметно...

— Мы их бесцельно должны убрать, Ким, — возразил Истратов. — Иначе все летит к чертовой матери.

— Да я понимаю, — с досадой сказал Ким.

Левашов посмотрел на часы.

— Через час у них время намаза, — сказал он, ни к кому не обращаясь.

— Твою мать, Левашов! — лицо Истратова озарилось блаженной улыбкой. — Хоть на что-то ты годен. Ким, отбери семь бойцов. Ты восьмой. Работать только ножами. Даже если вас будут убивать...

Они сбросили лыжи, упали в снег, долго напряженно вглядываясь в безликий темнеющий купол неба.

— Слушай, — неожиданно сказал Левашов.

На небе ни звезды, ни тучи.

Ни солнца, ни луны на небе нет.

Сегодня небо с нами несозвучно —

Оно от нас закрылось на обед.

Наташа привсталая.

— Что, прямо сейчас придумал? Вот так, глядя в небо? — недоверчиво спросила она.

— Сейчас.

— Врешь, Женька!

— Что значит врешь? — возмутился Левашов. — Я вообще человек незаурядных способностей...

— Ты незаурядный трепач, мелкий враль, хвастунишка... Сволочь ты порядочная... — Она вдруг всхлипнула беспомощно, по-детски. На глазах показались крупные, голубого свечения слезы. — Женька, я теперь без тебя не смогу, слышишь...

Он прижал ее к себе, нежно, терпеливо гладил по волосам. Молчал. Все было ясно без слов.

— Дай мне сигарету, — попросила Наташа.

Левашов сел, нащупал в объемистом, одолженном Георгием Васильевичем тулупе сигареты, протянул Наташе.

— В этом тулупе ты похож на пьяного сторожа из продмага.

— Почему на пьяного? — удивился Левашов.

— Потому что на трезвого ты никак не похож.

Левашов расстегнул рюкзак, достал термос, бутерброды. Налил кружку обжигающего кофе, увенчал бутербродом.

— Ешь...

— Левашов, у тебя есть мечта? — с набитым ртом спросила Наташа.

— Есть. Я мечтаю лечь в Мертвое море, лежать и перелистывать журнал.

— Что за идиотская мечта? — чуть не поперхнулась Наташа.

— И чтобы по этому поводу у меня обязательно сохранилась фотография: я лежу на спине и читаю журнал.

— Ты все-таки очень приземленный человек, Левашов, — вздохнула Наташа.

На небе появилась первая, еще далекая, холодная звезда.

— Звезда, — сказал Левашов. — Звезда, Наташа.

Наташа повернулась к небу.

— Звезда... Первая. Наша звезда...

Прощались в здании вокзала. Собственно, какой это был вокзал — одноэтажная, затерявшаяся в снегах Приполярья железнодорожная станция.

Георгий Васильевич неуклюже поцеловал Левашова, ткнул в грудь огромной лапищей.

— Если что — здесь ваш дом, — глядя в сторону, сказал он.

Наташа прижалась к отцу и заплакала. Так уже было в день их приезда, и Левашов понял, что между отцом и Наташей своя, особая связь — словно она не выросла, а он не старел, и отношения оставались такими же, как много лет назад.

— Мать, я тебя в машине подожду — не люблю я этих проводов... Держи, Евгений.

Георгий Васильевич сунул Левашову огромный бумажный сверток и ушел торопливой, несвойственной ему походкой.

— Здесь, Женя, — поспешила объяснить Надежда Ивановна, — одеяло, подушки. Все пуховое... У вас ведь обих убранство наверняка холостяцкое...

— Зачем? — Левашов почувствовал, что краснеет.

— Это, сударь мой, — пояснила Наташа, — приданое. Какой вы, право, недогадливый. Чтобы теперь вам нипочем не отвертеться.

— Нам ведь, Женя, в сущности, ничего не нужно, — сказала Надежда Ивановна. — Ждали мы, что Наташа вот-вот вернется, а теперь-то понимаем, что вы увозите ее навсегда... Храни вас бог, ребята.

Подавали поезд.

В купе Наташа спросила:

— Левашов, а у нас будет свадьба?

— А как же! — отозвался Левашов. — На сто двадцать персон, с посаженными отцами, шаферами и расписным подносом для конвертов.

— Почему бы и нет, — с вызовом сказала Наташа. — Все как полагается.

Левашов усмехнулся.

— У меня брат весьма своеобразно женился. Насобирал со всех денег, подарков, разлил три бутылки шампанского на перроне, сел в поезд и укатил в свадебное путешествие с молодой женой. На глазах у ошеломленных гостей.

— Ну, это уже хамство!

— Знаешь, Наташка, мне на нашу свадьбу, честно говоря, и пригласить-то некого.

— Мне в общем-то тоже, — призналась Наташа.

За окном, огромная и белая, плыла Земля, на которой беда и счастье так уживчиво соседствовали друг с другом, что казалось, разъедини их на доли секунды, и планета, сойдя с привычной оси, рухнет в губительную бездну Галактики.

И по всей Земле в разные концы сейчас шли поезда. Но только в одном из них ехали двое, ради которых когда-то был устроен мир и невидимыми богами еще сохранялся закон равновесия на этой бесконечно противоречивой планете.

...Левашов включил камеру, выставил трансфокатор на максимальную кратность.

— Не считай меня за идиота, — перехватив настороженный взгляд Истратова, сказал он, — я не хуже тебя знаю, как бликует оптика на солнце. Попробую снять, когда начнется...

— Долго ждать придется, — усмехнулся Истратов, — аккумуляторы сядут.

— Не ваше дело...

Группа Балабанова вышла на линию атаки. Сосредоточились за полуразвалившимся саманным забором.

— Всем отдыхать, — приказал Балабанов. — Восстанавливать дыхание.

— Вы бы еще производственную гимнастику объявили, товарищ лейтенант... — пошутил на свою голову неугомонный Геша Вагин.

— Производственную гимнастику, Вагин, я тебе в отряде объявлю, — зловеще пообещал Балабанов.

Десантники, привалившись к забору, на несколько секунд закрыли глаза. В своей короткой жизни им уже приходилось убивать. Но тогда это было на расстоянии автоматной очереди, в худшем случае, снайперского выстрела. Через несколько минут им предстояло убивать открыто. Ножом. Кромсать, резать до последнего вздоха, добивать в сердце. А они всего лишь были мальчишками. По двадцать с небольшим. Кому-то меньше...

Что они видели в это мгновение?

— Приготовились, — скомандовал лейтенант Балабанов, и десантники увидели, как нервно дернулся розовый шрам на его щеке. — Руслан, Осипов, Брегер, оружие с собой. Подствольники отстегнуть. Стрелять только... если они начнут первыми.

Брегер сосредоточенно кивнул и стал отстегивать подствольный гранатомет.

— Остальным оружие оставить. Брегер, Вагин, Чекин, Макаров — заходят со стороны ДШК. Марат, Андрюха — от пулеметной точки. Руслан — со мной. Ползком, ни единого шороха... Начинаем по взмаху моей руки.

Поползли.

Для расчета ДШК «духи» выбрали идеальное место: на окраине кишлака, в местах сохранившемся доме, в тени чудом уцелевшего дерева. Со своей позиции, оставаясь невидимыми для вертолетов противника, они полностью контролировали воздушное пространство и проходящую выше горную тропу.

Они учли и то, что по развалинам к ним можно было подойти практически вплотную: на крыше в направлении кишлака была оборудована наспех замаскированная пулеметная точка.

Но сейчас точка пустовала: было время намаза.

Ким Балабанов тщательно распределил пальцы на рукоятке ножа, опустил его лезвием вниз, коротко взмахнул рукой и, опираясь о теплые камни, перемахнул останки развалившегося забора...

Спиной к забору, подстелив под колени шейные платки, четверо моджахедов совершали намаз, и ни война, ни что другое в этот момент не занимало их...

— Началось, — сказал Истратов.

Левашов перекинул камеру, включил запись, прильнул к визиру...

В несколько стремительных прыжков Ким преодолел расстояние до ближайшего успевшего оглянуться на неожиданный звук моджахеда и, пав на колени, всем корпусом всадил нож в его спину. Добротнo сработанный нож разведчика, почти не испытывая сопротивления, вошел сверху вниз вдоль позвоночника и опрокинул моджахеда на землю.

И уже падающему, почти безжизненному, разmozжил ему прикладом голову Руслан.

Следующий моджахед успел встать, повернуться и получить неточный, смазанный, но достигший цели удар в живот от сержанта Макарова. И тут же слева на него навалился Осипов и добил ударом в сердце.

Брегер прыгнул сбоку на третьего и, увлекая его за собой, в падении перерезал горло — именно так, как это любили делать они...

Четвертый моджахед вскочил на ноги, блокировал нож Чеклина, резкой подсечкой бросил его на землю, и, метнувшись в сторону, успел коснуться автомата, но Вагин в прыжке достал его ногой, повалил на землю и пробил ножом основание черепа.

Кровавый рукопашный бой, исступленное безумие схватки были позади. И сейчас, глядя на четверых затихающих в последней агонии моджахедов, никто из десантников не испытывал ничего, кроме огустошения и физического отвращения к самим себе.

Вагин отполз в сторону и, встав на четвереньки, содрогался в конвульсиях — его выворачивало наизнанку.

Брегер сидел, положив окровавленные руки на колени, и неотрывно смотрел в землю.

И единственный среди них офицер — Ким Балабанов — сейчас не отдавал никаких приказов: он выцелкивал из ав-

томатного рожка в брошенный под ноги берет патроны и тут же снаряжал вновь. И одному человеку в мире Ким не смог бы объяснить, зачем он это делает.

К развалинам подошла группа Истратова.

Левашов включил камеру: безжизненные, неестественные тела моджахедов, частые, нервные затыжки дешевых солдатских сигарет, окровавленные руки Брегера, присевший рядом с Брегером, тронувший его за плечо Истратов...

— Ничего, Лень, — сказал Истратов, — по первому разу всегда так...

Брегер смотрел перед собой отсутствующим взглядом.

— Это же люди...

— Все люди... — неопределенно сказал Истратов.

Десантники обыскивали убитых, выводили из строя ДШК.

Под одним из убитых моджахедов неожиданно зашипела портативная радиостанция. И хотя в этом не было ничего необычного, Истратов вздрогнул, стремительно подошел к убитому, перевернул его на живот и поднял рацию.

Не нужно было знать фарси, чтобы понять: эфир настойчиво вызывает расчет ДШК.

— Через два, максимум три часа их начнут искать, — сказал Истратов подошедшему Балабанову. — У нас единственный шанс: выйти к перевалу раньше «духов»...

— Не успеем, — дернулся шрам на щеке Балабанова.

— Не успеем — тогда конец, — Истратов повернулся к взводу. — Подъем, золотая рота!..

Дома Левашова ждало письмо.

Он даже не посмотрел обратный адрес — письмо могло быть только оттуда, откуда он ждал его меньше всего.

Со дня встречи с Наташей он хотел только одного: чтобы ему не написали, не позвонили, не позвали из прошлого.

Его позвали. Надо было идти.

Левашов зашел в ванную, накинул крючок и распечатал конверт. Собственно, можно было и не читать — в противном случае его бы, скорее всего, не известили. Но он прочел — еще оставалась надежда на отрицательный ответ.

Кинокомпания «Пирамида» извещала господина Левашова о том, что представленная им заявка на производст-

во полнометражного документального фильма «Война» рассмотрена положительно.

В связи с обострением ситуации на таджико-афганской границе принято решение о незамедлительном запуске проекта. Господин Левашов приглашается на студию для окончательного уточнения деталей и подписания договора.

Он попытался закурить и увидел, как мелко и стыдно трясутся руки. Неужели он боится? Ведь всё это уже было в его жизни...

Было всё. Не было Наташи.

Он сунул конверт в задний карман брюк и вышел из ванной.

Наташа распаковала сумки. Сейчас она разложит вещи, забьет холодильник хариусом и грибами, разберет и вымоет квартиру. В понедельник они собирались подать заявление... Он сам предложил ей это.

«Зачем? — спросила она. — Я же пошутила тогда...»

«Чтобы все было по-человечески...»

«Странные у тебя представления о человеческом... Штамп в паспорте — что в этом человеческого? Распишемся, обзаведемся совместно нажитым имуществом, и все рухнет...»

Но он настоял. Глупо, капризно. Знал, что его вероятнее всего ожидает, и настоял.

Он почувствовал необъяснимую, парализующую тело слабость. Поспешил дойти до кресла и закрыть глаза.

— Что, Жень? — тревожно спросила она. — Женя! Что в этом письме?

— В письме... — не открывая глаз, как можно будничнее произнес Левашов, — приятная неожиданность. Бухгалтерия студии извещает меня о выплате гонорара за рекламу бразильского кофе. Правда, делается этот кофе в одном из московских подвалов преимущественно из свекольного жмыха, но это уже неважно...

— Мне показалось...

— Тебе показалось! — резко оборвал ее Левашов, поднимаясь и направляясь в комнату — сейчас она не должна была видеть его лица. — Креститься надо в таких случаях, товарищ Наташа. Или вы убежденная атеистка?

«Господи, что я несу. Кто бы послушал...»

Он уже не слышал, что отвечала ему Наташа. В кинокомпанию нужно явиться сегодня в шестнадцать часов.

Значит, в шестнадцать тридцать он будет знать, сколько ему осталось.

Но еще не поздно и отказаться. Но он знал, что не откажется.

Левашов не любил весну. Он не разделял всеобщего оптимизма по поводу бегущих ручьев, апрельской капли и распускающихся почек, считая весну самым несозерцательным временем года.

Но сейчас, сидя в сквере неподалеку от здания кинокомпании «Пирамида» и невольно наблюдая шумную кутерьму апрельского дня, он подумал о спасительном свойстве весны: весной проще отрываться от насиженных мест. Даже в самое непредсказуемое путешествие. Весна дает человеку надежду на то, что все сложится хорошо. И только осенью он понимает, как неосмотрительно доверился весне.

С чего все началось? С прободной язвы Михалыча. Недельного обследования, закончившегося последней в его жизни госпитализацией: у Михалыча обнаружили рак легкого, метастазы которого неумолимо разрушали изможденное тело фронтального оператора...

Михалыч умирал в Кремлевской больнице. В одноместной палате для номенклатуры среднего звена с телефоном, телевизором, кнопкой вызова подчеркнуто вежливых медсестер и валььяжной, многозначительно покашливающей на утренних обходах профессурой.

Словно ни парк за окном, ни солнце в глубинах мироздания, ни дыхание ноябрьского утра, а телефон, телевизор и встроенный шкаф в углу предопределяли начало и конец человеческой жизни.

— Как тебя сюда занесло-то? — от дверей, изумленно оглядывая палату, спросил Левашов.

— Студия постаралась... — усмехнулся Михалыч. — Жизнь у меня была так себе... Скотская, откровенно говоря, была жизнь. Зато умираю, как член Политбюро... — Он протянул Левашову руку. — Здорово!

— Здорово, член Политбюро! — Левашов пожал ослабевшую руку Михалыча и присел на стул у его постели. — У вас, больных, разговоры о смерти — что-то сродни мазохизму... Умирает он...

— Ладно, Жень, — устало сказал Михалыч, — это только врачи всегда считают себя умнее пациентов... Все я про себя знаю...

Они замолчали. Михалыч — от усталости, Левашов — от попытки бессмысленного утешительства. Что он мог сказать человеку, с которым два года провел бок о бок на войне. Человеку, который знал цену жизни и смерти гораздо лучше его самого.

— Курить-то здесь можно?

— Кури, хрен с тобой, — разрешил Михалыч.

Левашов закурил, открыл фрамугу. В палату потянуло вечерней свежестью.

— Воздух здесь хороший...

— Знаешь, — сказал Михалыч, — я всегда боялся смерти, а сейчас, когда до нее осталось вот-вот — мне почему-то безразлично... Может это и есть мудрость, Левашов?.. Жаль, что она приходит в конце — на нее не остается времени...

— Когда тебя выписывают? — неестественным голосом спросил Левашов.

— Думаю, скоро... В принципе, я распорядился всеми своими делами. Осталось это... — Михалыч достал из тумбочки четыре бетакамовских кассеты. — Здесь шесть часов материала. Все, что я правдами-неправдами снял в последний год войны. Я отдаю это тебе. Придумай что-нибудь.

— Что?

— В Таджикистане война...

— Знаю, — отвернулся Левашов.

— И всё?

— Всё.

— Это наша работа, Жень... Мы ушли из Афгана и получили Таджикистан, и неизвестно, что получим еще... Они там заняты дележом власти: кто с кем, за что — хрен поймешь... А границу СНГ охраняем мы. Только теперь на этой границе башкой надо вертеть на триста шестьдесят градусов: потому что с одной стороны «духи» с боевичьем так называемой непримиримой оппозиции, — Михалыч закашлялся, — а с другой — всякая сволочь, прущая тонны героина... И против всей этой своры — пять наших погранотрядов и одна мотострелковая дивизия...

Михалыч сел на постели, спустил ноги с кровати.

— И оставить эту границу нельзя, потому что тогда они подойдут вплотную к нашим границам... — Он прикрыл озябшие ноги одеялом. — Это правильная война, Жень.

И страна должна знать об этой войне. Сними ее... А идея...
Идея придет сама по себе.

— Кому это сейчас нужно? — вставая, произнес Левашов. Он знал, что Михалыч не ответит на этот вопрос.

— Не знаю, — глядя в сторону, не сразу ответил Михалыч. — И все-таки сними. Докажи, что мы были правыми...

Михалыча выписали через две недели.

Он знал, что его выписывают умирать, и не собирался цепляться за жизнь, понимая, что ее конец будет еще страшнее, мучительнее для него и невыносимее для окружающих. Ироничный, часто безрассудный, подвластный эмоциям — он впервые в жизни запрограммировал себя на конкретную задачу. И решение этой задачи стало единственным делом его жизни, которое он исполнил с не свойственной ему строгой, механической и уже отрешенной последовательностью.

Дома, поддерживаемый женой, он прошел в кабинет, лег на диван и, укрыв ноги пледом, бесстрастным непрекращаемым голосом продиктовал необходимые распоряжения. Затем выпил два стакана крепкого чая с лимоном, выкурил трубку хорошего табака и, зная наверняка, что этого нет в холодильнике, попросил жену сходить на рынок за домашним творогом.

— Какой творог, Юрочка? — испуганно спросила жена — в доме никогда не держали творога. — Странно, ей богу...

— Домашний, — ворчливо отвечал Михалыч. — Человек хочет творога. Что тут странного?

Жена ушла, доверившись его привычно-ворчливым интонациям, капризному, присущему больным желанию чего-то необычного.

До рынка было пятнадцать минут ходьбы, она шла и думала о том, как непредсказуемо меняются человеческие привычки: он, никогда не любивший молочного, вдруг настойчиво потребовал творога, и теперь каждый день она будет с утра бежать на рынок за домашними творогом и сметаной, пока...

Она понимала, что это «пока» наступит скоро, очень скоро. Что уже ничего изменить и предпринять невозможно, и сейчас все подчинено одному: сделать его уход наименее болезненным, сохранить иллюзию прежней, когда-то счастливой жизни...

Она слишком долго надеялась на чудо, профессоров и новейшие технологии «кремлевки», моталась по деревням в поисках народных целительниц, отпаивала его травами по их рецептам, а он таял и таял на глазах...

Перед уходом он попросил жену присесть и долго держал ее ладонь в своей руке, смотрел выцветшими глазами, словно запоминая давно знакомые черты лица... В глазах стояли слезы.

А она сидела на краю его постели и с ужасом думала только о том, что и это теперь тоже «пока»...

— Ладно, иди, — отпуская ее руку, наконец, сказал он своим вечно недовольным тоном, — а то ты меня без твора оставишь...

Жена ушла, обманутая его будничным голосом, незамысловатой полудетской ложью... На войне это называется тактикой отвлечения противника. Простейший тактический ход...

Что отняла у него война? Друзей, силы, годы...

Что он обрел на войне? Друзей, силы, умение принять единственно верное решение, мудрость потерь, трофейный браунинг, лежавший в ящике письменного стола, и отдельно, рассыпью — патроны к нему, о которых никто не знал...

Он с трудом поднялся, включил видеомагнитофон, достал «браунинг», снарядил обойму и, вернувшись к дивану, долго, не отрываясь, смотрел на экран. Потом зачем-то перекрестился, передернул затворную раму и выстрелил в висок, исполнив свою последнюю работу на земле так же спокойно и достойно, как и все, что когда-либо делал.

Михалыч умер, а на экране телевизора продолжали плыть бурые вершины афганских гор, от которых все дальше и дальше, отстреливаясь тепловыми ракетами, уходил к границе вертолетный полк. И в треске радиосвязи, пренебрегая кодовыми обозначениями, со всех «бортов» неслись в эфир еще растерянные, еще не верящие, но уже обезумевшие от счастья голоса:

— Уходим, ребята! Уходим!..

— Значит, деньги, Евгений Иванович, суточные и командировочные получите в бухгалтерии, а за камерой, кассетами и всем остальным заедете, как условились, в день отъезда. Ну, что ж, давайте прощаться...

Они одновременно встали из-за стола.

— Вы поаккуратней там... — директор выдал легкое подобие улыбки. — Все-таки мы в вас большие деньги вложили...

Собственно, он был неплохой мужик — директор компании «Пирамида», и эта дурацкая вырвавшаяся шутка была лишь следствием его состояния. Ему доводилось финансировать военные экспедиции, но предыдущие войны разыгрывались статистами и пиротехниками в ближайших лесах Подмоскovie, а эта война действительно существовала в далекой, неизвестной, но от того не менее опасной реальности. И на эту войну сейчас уезжал Левашов, а он, директор, оставался в просторном офисе с черными полированными столами, селекторной связью и хорошенькой секретаршей за дверью. И потому он чувствовал себя скованно и неловко, как-то не по-мужски, что ли.

— Все будет нормально, Валерий Андреевич, — успокоил Левашов. — Мы сделаем замечательную картину. Кассовую...

— Это вы напрасно, — смутился директор. — Не хлебом единым, как говорится...

— К сожалению, только говорится.

— К сожалению. Что делать — время такое. Безбожное... — Директор протянул Левашову руку. — Значит, тридцатого в десять часов водитель будет ждать вас у офиса. Рейс, если не ошибаюсь, у вас в двенадцать с чем-то...

— Как тридцатого? — Левашову показалось, что он ослышался.

— Вы загляните в билет, Евгений Иванович...

Левашов достал билет.

В разнообразии цифр, обозначающих время, рейс, место и теперь сливающихся в непостижимые миллионы, он все же сумел различить дату вылета.

Он улетал через неделю.

...Молча, задыхаясь от перегрузки и недостатка кислорода, уходил вверх по тропе взвод Истратова.

Десантники понимали, что кровавая схватка у Шурупдары внесла существенные коррективы в тщательно разработанный план операции, и только стремительный выход к перевалу может спасти их. Но, как всегда бывает на войне, — в самый ответственный, самый напряженный момент, от которого зависит твоя собственная судьба и

судьба твоих товарищей, силы оставляют тебя. И, сглатывая соленый пот, закусывая до крови губы, с трудом передвигая одеревеневшие ноги, ты как никогда отчетливо понимаешь, что никакая воля не может противостоять парализовавшему тебя бессилию.

И только уставшие, в белом от пота камуфляже, но по-прежнему такие надежные спины товарищей заставляют тебя верить, что ты сумеешь преодолеть, дойти, не сло-маться...

Двухчасовой переход окончательно вымотал десантников. Через два часа семь минут Истратов остановил группу на небольшом, закрытом скалами пятачке.

— Привал! — объявил Истратов. — Десять минут. Кто закурит — оставлю здесь навсегда. Ким, выстави охранение.

Десантники потянулись к сочащейся по скалам воде.

И то, как солдаты пили, прижимаясь горячими телами к спасительному холоду скал, и как мучительно тяжело отрывались от них, снимал непослушными руками Левашов.

Расставив посты, вернулся Балабанов. Он присел между Брегером и Шарафутдиновым, впился губами в холодный металл фляжки.

— Люди на пределе, — оторвавшись от фляжки, ни к кому не обращаясь, обронил Ким.

— Что ты предлагаешь? — глядя в карту, спросил Истратов.

— Что я могу предложить...

Истратов сложил карту, сунул ее в командирскую сумку.

— По моим расчетам, еще около часа пути...

— Три тысячи шестьсот... — подал голос Шарафутдинов.

— Что, Марат?

— Да в часе три тысячи шестьсот секунд, — пояснил Шарафутдинов. — Я до армии бегом занимался. У нас все на секунды мерили...

— На какие дистанции? — спросил Брегер сухими рас-трескавшимися губами.

— Стометровку, — мечтательно улыбнулся Шарафутдинов. — Десять секунд — и мастер спорта...

— Десять? — не поверил Осипов.

— Десять и четыре десятых. Я даже до кандидата не до-тянул...

Истратов встал, поднял с земли автомат.

И пока он прилаживал за спиной командирскую сумку и нарочито долго поправлял разгрузку, даря десанникам еще несколько спасительных секунд передышки, слушая их разнобойное дыхание и ощущая спиной по-ребячьи беспомощные, полные надежды на него одного взгляды, он впервые осознал, как это, оказывается, до ужаса много — час пути, поделенный на секунды, целый час жизни...

Все не могло складываться хорошо. Это она знала наверняка.

Она встречала немало людей, родившихся под счастливой звездой, но никогда не завидовала им. Они были ей неинтересны. Неинтересны хотя бы потому, что простота и легкость, с которой они добивались намеченной цели, в конечном счете определяли саму цель. И эта цель оказывалась такой ничтожно малой и неоправданной, такой материально осязаемой, что порой начинало казаться, будто вокруг уже не осталось людей, для которых звездное небо в глубинах мироздания и шум моря за окном по-прежнему важнее мишуры и блеска самого обыкновенного, идиллического потребительства...

В детстве она отдыхала в пионерском лагере под Одессой.

От этой поездки в памяти остались заброшенные, обдуваемые горячим южным ветром абрикосовые сады и сухая, трескавшаяся под ногами земля.

Еще она запомнила девочку, протянувшую ей переводную картинку.

— Возьми, — сказала девочка, — это тебе.

Отец девочки был помощником капитана океанского лайнера. Переводные картинки он привез из плавания. Девочка говорила, из Африки.

Переводные картинки — несбыточная мечта нашего детства.

Девочку обступили.

— Дай мне! Мне, мне! Ну, пожалуйста, мне...

Время от времени девочка поднимала глаза, выделяла кого-нибудь из просящих и царственно одаривала картинкой.

И тут она увидела Наташу.

Наташа стояла в стороне и ничего не просила.

Девочка шагнула к Наташе. Перед ней расступились.

— Возьми, — сказала девочка, — это тебе.

Наташа не удивилась Левашову. Она не сомневалась: он будет в ее жизни. Только он. Единственный.

Она знала: не будет склок, дрызг, фарфоровой супницы на столе, унижительного шелеста купюр...

Она понимала: Левашов может вспылить, сорваться, уехать... Она заранее все простила ему. На всю оставшуюся жизнь.

Ожидаемое и все же такое внезапное счастье закружило, раскачало ее, как раскачивают новогоднюю гирлянду мятежные ночные ветры, — легко и невесомо плыла под ногами земля.

Она не заметила перемены, случившейся в Левашове. И не потому, что он ничем не выдал себя, а лишь потому, что была счастлива. Счастлива впервые. И больше ничего не занимало ее.

Этот магазин на Бережковской набережной Левашов выбрал не случайно: астрономические цифры, педантично, даже несколько издевательски вписанные в ценники товаров, всегда оставались для него за пределами досягаемого. Несколько раз он заходил сюда, подолгу перебирал вещи, поражаясь изящности и стремительности моды, но никогда ничего не покупал. Впрочем, как редко покупали и остальные.

Левашов не был беден. Но именно сегодня он был оделен богатством, осознание которого приходит с осознанием будущего. А будущее Левашову было неизвестно.

В парфюмерном отделе шла распродажа косметики «Сальвадор Дали». Переливались за искрящимися стеклами витрин бирюзовые и черные губы — изысканный символ фирмы.

— А если я куплю всю витрину? — спросил Левашов у молодой, но уже пообвыкшейся в дорогом интерьере продавщицы.

— Будем вам очень признательны, — профессионально улыбулась продавщица. — Эта половина мужская, та — женская.

— Тогда придется взять только женскую. Вы мне складывайте, девушка, духи, воду, тушь, что там еще...

— Возможно, ваша дама предпочитает конкретные цвета и запахи, — попыталась остановить Левашова продавщица.

— Возможно, — перебил ее Левашов. — Но я в этом не разбираюсь.

Продавщица укладывала косметику в отдельные пакеты, время от времени поглядывая на странного покупателя, словно ожидая, что он вот-вот рассмеется и скажет: «Да вы с ума сошли. Это была шутка. Может быть, неудачная...»

Но Левашов смотрел куда-то поверх витрины, не замечая ни продавщицы, ни ее рук, упаковывающих косметику, ни пробников дорогих духов, которые она периодически подносила к его лицу.

Он машинально и согласно кивал головой, и тогда она поняла: ему совершенно безразличны и содержимое пакетов, и цена, которую сейчас объявят, и все, что происходит вокруг.

— Ваш товар, — выложив пакет на прилавок, показала на светящееся табло кассы продавщица, — сумма.

— Да, — не удивился Левашов, доставая бумажник и отсчитывая деньги. — Спасибо вам.

— А... — хотела что-то сказать продавщица.

— Что? — он поднял на нее глаза.

— У вас все в порядке?

— Произвожу впечатление сумасшедшего?

— Нет, почему... — смутилась продавщица и, понимая, что Левашов определил ее отношение к себе, добавила, заметно раздражаясь: — Но выкинуть столько денег...

Левашов нагнулся к ней, сказал доверительным тоном:

— Вы абсолютно правы: быть городским сумасшедшим очень накладно...

И все же этот магазин на Бережковской набережной Левашов выбрал еще и потому, что в соседнем доме жил Игорь.

Визит к Игорю был неприятен и неизбежен одновременно, и отложить его было уже невозможно. Они не виделись несколько лет, скорее всего, не увиделись бы еще столько же, но с тех пор как в жизни Левашова появилась Наташа, он знал — наступит день, когда обратиться к Игорю придется. Этот день наступил.

Еще он понял, что не сможет говорить с Игорем, будучи трезвым. Раньше смог бы, сегодня — нет. Сегодня ему предстоит не только просить, но и добиться своего. А просить и добиваться Левашов не умел. У него начинало не-

стерпимо ломить затылок и хотелось только одного: чтобы ему как можно быстрее отказали. Ему действительно отказывали, и, вставая из-за стола, берясь за ручку двери, он еще долго ощущал спиной иронично-сострадательный взгляд того, кто только что с легкостью распорядился его судьбой.

И это очередное унижение неизбежно оседало в памяти, мучило годами, и лишь слабое утешение оттого, что ему все-таки отказали и он остался верен однажды избранному пути, примиряло с самим собой. Но это было раньше...

Почему он не отказался от этой поездки? Почему не откажется сейчас?

Почему не объяснимое самому себе и, главное, никому не нужное, необратимо уходящее в прошлое чувство долга для тебя важнее собственного счастья? Потому что однажды ты сделал выбор. Но ты же отдал этому выбору два года Афганистана, еле выкарабкался после тяжелого ранения, только начал жить...

Или все-таки потому что там, в Афганистане, ты был счастлив, занимался мужским делом, и люди, окружавшие тебя, были твоими людьми.

Он думал об этом часто, понимая, что давно не в состоянии отделить одно от другого и избавиться от чувства произвольной вины перед теми, кто оставался там. В какой бы несправедливой войне они ни участвовали.

Он был счастлив там. Он впервые был счастлив здесь. И сейчас, думая о предстоящей войне, он был уверен, что для него — единственного на десятки тысяч среднестатистических граждан продуваемого весенним слякотным ветром у парашюта Москвы-реки, судьба сделает исключение.

Он, никогда не веривший ни в бога, ни в дьявола, верил в любовь как в высшую, наконец дарованную ему справедливость. И, веря в справедливость и молясь на нее, он хотел только одного: не быть убитым.

Сейчас в нем не было страха. Ни перед чем.

...Переправляя отряды моджахедов в район Камсурга, «духи» не могли не учитывать того, что рано или поздно разведка противника обнаружит переправу и базовый лагерь боевиков. Располагая разветвленной сетью агентуры и возможностью скрытого визуального наблюдения в мес-

тах сосредоточения пограничных частей и вертолетных площадок, моджахеды определяли цель, численность, вооружение и приблизительный маршрут следования групп.

В дальнейшем, используя новейшее радиотехническое оборудование, они без труда выходили на закрытую волну десантно-штурмовых групп и в зависимости от обстоятельств принимали решение: вступать в огневой контакт из засады или отвести свои мобильные отряды на заранее подготовленные позиции.

И хотя за все время пути группа Истратова ни разу не вышла в эфир, соблюдая режим полного радиомолчания, они ее вычислили.

За несколько дней до переброски многочисленных подразделений моджахедов из Камсурга в глубь Таджикистана на пути вероятного продвижения противника было оборудовано несколько хорошо замаскированных «секретов» — в сложившейся обстановке, с учетом наличия у российской стороны авиации и дальнобойной артиллерии, «духи» не могли допустить срыва столь долго и тщательно разрабатываемой операции.

Три моджахеда лежали в камнях с ночи. Старший, лет сорока, с черным, дубленным испепеляющим южным солнцем лицом, и двое молодых, больше с юношеским пушком, чем с бородами, суетливых, готовых к любому безрассудству...

Во время афганской войны они были еще детьми, и потому в этой новой схватке с «неверными» им очень хотелось отличиться, покрыть себя неувядаемой славой, и теперь, первым обнаружив группу Истратова, один из них, не дожидаясь решения старшего, произвольно потянулся за подсумком, в котором лежали выстрелы к гранатомету, и расстегнул его...

Заметив это движение, старший что-то гортанным шепотом выкрикнул на фарси, замахнулся на молодого рукой и, отодвинув его в сторону, занял позицию среди камней.

Мимо него по узкой горной тропе усталым, сбивчивым шагом шла группа пограничников. Беззвучно пересчитывая людей губами, отмечая про себя количество вооружения, он неожиданно подумал о том, сколько раз, держа палец на спусковом крючке, ему приходилось смотреть в спины русских солдат. Сколько раз приходилось стрелять в эти заведомо обреченные спины, и почти никогда — в лицо...

Сейчас, глядя вслед уходящей группе, понимая, что, скорее всего, именно она вырезала пост у Шурупдары, в нем, как ни странно, не было чувства отмщения. Пятнадцать лет опустошающей военной работы сделали свое — ему больше не хотелось убивать.

И хотя он сознавал, что за него это сделают другие, и Аллах в эти минуты отвернулся от него, он впервые был рад тому, что не примет участия в предстоящей расправе.

И когда последний, замыкающий боец отдалился метров на триста от поста наблюдения, он включил рацию и, выйдя по закрытой связи на базу, устало и отрешенно произнес в эфир:

— «Устод», «Устод», я «Пахловон». Как слышишь меня? Прием.

— «Пахловон», я «Устод». Слышу тебя хорошо. Прием.

— Через меня прошли тридцать «зеленых»¹. У них тридцать АК, три пулемета Калашникова, четыре РПГ-7², двенадцать «мух», три «шмеля»³... Идут в вашу сторону. Как понял? Прием...

И все-таки выпить было необходимо.

Левашов постучал в закрытое окошко коммерческой палатки. Окошко отворилось. Из переполненного чрева палатки потянуло теплом, запахом дешевого ликера, однообразными переливами знакомой мелодии.

«Опять “Эммануэль”... — без труда угадал мелодию Левашов. — Вот национальная катастрофа...»

В сумеречном свете возникла одинокая фигура продавщицы.

— Шкалик коньяка и шоколадку, — попросил Левашов. И передумав, добавил: — два шкалика...

На липком картоне, среди груды пивных пробок и использованных чеков, появились два шкалика коньяка с вызывающе косо наклеенными этикетками и не менее сомнительного качества импортная шоколадка.

Левашов положил деньги на прилавок, оглянулся: на город ложился туман. Он спускался с Воробьевых гор на купола Новодевичьевого монастыря, стелился по темной поверхности реки.

¹ *Зеленые* — пограничники.

² *РПГ-7* — ручной противотанковый гранатомет.

³ *Шмель* — ручной противотанковый огнемет.

Как он будет в тумане? Один, у стылой мертвой реки...

— Может, выпьешь со мной? — спросил он у продавщицы. — А-то на улице как-то...

— Заходи, — вяло предложила она.

Левашов с трудом протиснулся в узкую боковую дверь палатки, сел на пластиковый ящик из-под бутылок.

Продавщица поставила стаканы, Левашов сорвал пробку с бутылки, разлил коньяк.

— Будь здорова.

Выпили. Левашов поморщился, запил стаканом воды.

— Коньяк-то «левый». Травите народ.

— Не пей.

— Не пить, старуха, не получается...

— Тогда пей — не ломайся. Коньяк «левый»... А что сейчас не «левое»?

— Только давай без глобальных обобщений...

— Давай, — засмеялась она.

Левашову стало спокойно и безмятежно. То ли от «левого» коньяка, то ли от ее неожиданной улыбки.

— Тебя как зовут?

— Люда.

— Красивая ты... С такими данными не в коммерческой палатке пропадать...

— А где? На панели? Лет мне скоро сорок... — она протянула стакан. Под вязаными перчатками с обрезанными краями угадывались красивые руки с облезшим маникюром. — Плесни-ка еще...

— Не следишь за собой...

— Для кого?

— Москвичка?

— Из Житомира... Во время войны нас эшелонами в Германию свозили, а сейчас мы сами эшелонами в Москву едем... Пить-то будем?

— Заводная ты.

— Была. Может, еще буду.

— Я закурю?

— Кури. Любую на выбор. — Она провела рукой вдоль целого ряда поштучно разложенных сигарет. — Теперь не у всех даже на пачку сигарет хватает...

— Ты кем была до продавщицы?

— Продавщицей.

Выпили еще. Левашов закурил, расстегнул куртку.

— А я скоро уезжаю, — неожиданно сказал он.

- Далеко?
- Далеко... На войну.
- Убить могут.
- Могут.
- Зачем же едешь?
- Надо.
- Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть!»

Кому надо?

- Мне.

Она встала, потянулась во весь свой модельный рост.

- А поедем ко мне. Закрою я эту богадельню...

- Ты бы хоть спросила, как меня зовут.

- Зачем? Утром ни ты меня, ни я тебя не вспомню.

- Зачем же тогда ехать?

— Можно и не ехать, — она покорно села на место. — А зовут тебя Евгений. Я читала твои репортажи из Афганистана...

- Интересовалась?

- Интересовалась... У меня муж погиб там. И брат.

Она разлила остатки коньяка, подняла стакан, приглашая выпить молча, выпила, подошла к Левашову, положила руки на плечи, опустила перед ним, глядя в глаза, сказала:

— Их в один день убило. Под Гератом. Только в разных местах.

- А дети?

— У-у, — отчаянно помотала головой она. — Ничего не осталось.

Встала, взяла с прилавка сигарету, закурила, снова став такой же спокойно-безучастной, какой была все это время.

- Иди. Тебе пора.

Левашов поднялся, застегнул куртку.

- Тебя не убьют, — тихо сказала она.

Левашов вышел, машинально прошел несколько шагов, остановился, постоял секунду-другую и вернулся к палатке.

- Открой! — требовательно постучал он в окошко.

Люда отворила.

Левашов попробовал засунуть пакет с косметикой в узкий проем окошка — пакет не влезал. Тогда он стал доставать и бросать на прилавок содержимое пакета: помады, тени, лаки, туши...

— Мажься! Красься! — зло говорил, почти кричал он. — Делай, что хочешь, только не сиди в этом дерьме! Ничего

еще не кончено! Ничего! И ты, и я — мы еще будем жить долго, счастливо! Будем!

Левашов зашел в телефонную будку, набрал номер. Трубку взял Игорь.

— Привет, Игорь! — произнес Левашов таким тоном, словно они расстались только вчера.

— Привет... Ты, что ли, Левашов?

— Я... Слушай, Игорек, мне бы переговорить с тобой по неотложному делу...

— Переговорить... Ну, подъезжай ко мне завтра на работу. Там и переговорим. Только позвони предварительно.

Левашов понял, что унижаться придется. Ну и черт с ним, унизится — не растает.

— Я вообще-то из автомата звоню, — сказал он. — Автомат в двух шагах от твоего дома. Может, ты уделишь мне десять минут — на большее я не посягну.

— Что-нибудь срочное? — спросил Игорь.

— Да.

— Квартира девятнадцать.

В дверях они даже обнялись.

— Квартиру будешь смотреть? — спросил Игорь.

— А потом ты скажешь, что я не уложился в десять минут...

— Ладно, пошли. Квартира — предмет моей особой гордости.

И они пошли.

Левашов шел за Игорем анфиладами просторных комнат, машинально фиксируя непривычные слуху названия: коммерческий бассейн, душевая кабина, натяжные потолки... Но ни масштабы, ни респектабельность, ни малахитовое обрамление дверных проемов не поразили Левашова — его удивила собственная отрешенность и безучастность к дорогому убранству квартиры и странное, не оставляющее ни на секунду, недоумение: неужели этому можно всерьез посвятить свою жизнь?

— Ну как? — ревностно поинтересовался Игорь, когда осмотр квартиры был завершен и они наконец присели за кухонный стол.

— Другое измерение, — вежливо согласился Левашов.

Игорь достал бутылку виски, плеснул по полстакана, порезал апельсин.

— Давай... Сколько мы с тобой не виделись?

- Года четыре... — неуверенно произнес Левашов.
- А как ты узнал мой новый адрес?
- Москва — небольшой город, Игорь Валентинович...
- Ну-ну...

Они сдвинули стаканы, выпили, каждый аккуратно закурил кружочком апельсина. Игорь тут же наполнил стаканы — оба чувствовали себя неловко.

- наших кого-нибудь встречаешь? — спросил Игорь.
- Нет, никого.

— И я никого, — с сожалением сказал Игорь. — Шесть лет проучились и — как в море корабли...

Закурили. Почти одновременно.

— Ну, а ко мне-то тебя что привело? — первым не выдержал Игорь.

Левашов несколько раз затянулся и загасил сигарету. Тщательно, до последнего уголька.

— Деньги мне нужны. Десять тысяч долларов...

— Зачем?

— Отвечать обязательно?

— Обязательно.

— Через неделю я уезжаю в командировку, в Таджикистан...

— Ах, да, — припомнил Игорь. — Там, по-моему, какой-то пограничный конфликт...

— Там война, — сказал Левашов, — и уже не первый год...

— Ну, а тебе-то эта война зачем? Тебе что, Афганистана не хватило?

— Там война, — повторил Левашов, — о которой страна не знает, а скорее — не хочет знать. Война, а не какой-то пограничный конфликт...

— Где мы, а где Таджикистан, — пожал плечами Игорь.

— Гораздо ближе, чем кажется...

— Ну, хорошо, война, — Игорь так же тщательно загасил сигарету и отодвинул пепельницу. Теперь даже пепельница не разделяла их. — Я-то здесь при чем?

— А при том, что когда к тебе придет пацан на костылях и попросит денег на протез — ты не сможешь ему отказать.

— Собственно, почему?

— Потому что я постараюсь убедить тебя в этом...

— Ты уверен, что у тебя это получится?

— Нет, — не сразу ответил Левашов.

Они молча выпили. Некоторое время сидели, не глядя друг на друга.

— А почему бы эту почетную миссию не взять на себя государству? — предположил Игорь.

— Потому что, как показывает опыт, государство не желает нести ответственности за тех, кого оно посылает на смерть, а они, к его величайшему изумлению, возвращаются живыми. Такая вот особенность у нашего государства...

Игорь, откинувшись на спинку стула, внимательно смотрел на Левашова.

— Удивительные метаморфозы происходят в жизни, согласись, Левашов. Когда я делал бабки на этом фуфле, именуемом кинематографом эпохи перестройки, ты меня искренне презирал и не скрывал этого, а теперь как ни в чем не бывало являешься ко мне за деньгами... Тебя в этом ничего не смущает?

— У меня здесь остаются жена и мать. Эти деньги для них...

— А это уже несущественно, — сухо сказал Игорь.

Левашов посмотрел на часы.

— Мой лимит исчерпан, — сказал он и поднялся из-за стола.

— Я ведь не сказал «нет», — продолжал сидеть Игорь.

— Сказал.

— Удивительно ты умеешь портить отношения с людьми, Левашов, — вздохнул Игорь.

Левашов надевал ботинки в коридоре. А они не одевались из-за узла, который он сам затянул пятнадцать минут назад, когда небрежно снимал их. Не одевались именно сейчас, именно в этом коридоре. И этот процесс был мучителен и унизителен одновременно. И уйти, хлопнув дверью, в одном ботинке тоже было немислимо.

В коридор вышел Игорь.

— Возьми, — он протянул Левашову пачку сто долларовых купюр.

Левашов встал с корточек. Теперь они стояли друг против друга, и Левашову оставалось только протянуть руку...

— Возьми! — раздраженно повторил Игорь и попытался сунуть деньги в карман Левашовской куртки.

Нет, он сделал это не осознанно. Он всего лишь промахнулся. Так когда-нибудь бывает с каждым: бросаешь ключи в карман, а они оказываются на полу.

Пачка упала на пол и теперь лежала под ногами сотней мятых и новых купюр. Кто-то из двоих должен был нагнуться и собрать деньги, и каждый понимал, что не сможет сделать этого первым...

Наконец Левашов нагнулся, подобрал с пола ботинок с намертво затянувшимся узлом, открыл дверь и пошел вниз по лестнице, ступая необутой ногой по каменным ступеням.

Он опускался этаж за этажом, а с лестничной площадки кричал ему вслед Игорь:

— Уходишь, праведник! Незапятанный, не погрешивший душой, живой укор потомкам! Правильно, пусть твоя семья побирается с голоду — принципы же дороже, Левашов! Только это не я — это ты пришел ко мне! Ты пришел за деньгами и получил их... Ты получил их, козел!..

Левашов ехал в такси по залитому рекламными огнями пустынному городу.

Огни большого города... Интересно, кому светит реклама по ночам? Для кого переливаются огнями слоганы быстрорастворимых напитков, импортного пойла и дорогих сигарет? Для того, кто не спит которую ночь подряд, успокаивая свое больное сердце и не зная, сумеет ли дотянуть до утра...

Зачем этому чужому городу далекая война с кровавыми боями на подступах к горным высотам и отчаявшимися, вызывающими огонь на себя, охрипшими лейтенантами, со вшами во фронтовых блиндажах, с обреченными на гибель рейдами десантно-штурмовых групп и разорванными в клочья телами еще мгновение назад живых людей?..

Мог ли он ответить на этот вопрос? Скорее, нет.

И в то же время он понимал, что если однажды, бреясь перед зеркалом, человек отложит кисточку для бритья и попробует взглядеться в самого себя — в этом будет и его, Левашова, заслуга.

Он посмотрел на часы: двадцать три часа пятьдесят две минуты. Через восемь минут наступит следующий день, беспощадно приближающий дату отъезда. Сколько ему осталось этих дней, часов, минут? Всего ничего. И первый свой день он уже прожил.

...Головной дозор обогнул выступающую скалу и вышел на тропу, с которой открывался вид на перевал.

— Успели, — выдохнул Истратов, — еще десять минут, и хрен вы нас оттуда сбросите, суки!

— Что вы, товарищ капитан? — спросил идущий следом Брегер.

— Перевал, Леня, перевал! — показывая рукой перед собой, говорил Истратов. — Еще немного, и все!

— Хорошо бы, — обессиленно улыбнулся Брегер.

Группа вытягивалась на тропу.

Собственно, назвать это тропой можно было весьма условно. Справа от тропы уходила вверх отвесная стена, когда-то завалившая тропу почти непроходимым камнепадом. И обойти валуны и мелкие скальные породы не представлялось возможным: слева метров на семьдесят обрывался край ущелья, по дну которого бежал горный ручей.

До противоположного, поросшего редким кустарником «берега» ущелья было метров восемьдесят, может, больше. Он существенно возвышался над тропой и тянулся до самого перевала...

— Гиблое место, — обернувшись к Вагину, просипел Левашов, — свалить бы отсюда поскорее!

— Да уж, — сплюнул вязкую слюну Вагин, — не Фрунзенская набережная...

— А ты что, бывал на Фрунзенской набережной? — усмехнулся Левашов.

— Откуда?..

Об этом гиблом месте, из последних сил карабкаясь по камням и лишь время от времени ступая на тропу, думали все в группе. Об этом думал Истратов. И только у тех, кто выбрал позицию на противоположном «берегу» ущелья, была совершенно противоположная задача...

И когда воздух распороли первые выстрелы — они уже ни для кого не были неожиданностью в этом самом дьяволом созданном тире...

Успевшие укрыться за валунами и в спасительных ложбинках открыли беспорядочный ответный огонь, давая возможность укрыться другим.

Пока никто не успел определить, откуда ведется прицельный огонь и сколько стволов пытаются сбросить группу с тропы. Все еще были живы, и на данный момент главным было только это.

Левашов бросился за косой, расколотый пополам камень, сбросил с плеча кофр. В то же мгновение над

его головой высекло автоматной очередью каменную крошку. К нему повернулся укрывшийся за тем же камнем Вагин.

— «Граники»¹ молчат! — возбужденно крикнул он, — похоже, на охранение нарвались... Если из «граников» начнут валить — нам отсюда не выбраться!

— Нам отсюда и так не выбраться, — мрачно отозвался Левашов. В чем в чем, а в этом он понимал больше Вагина.

— Это посмотрим, — сплюнул Вагин и, приподнявшись из-за камня, дал несколько коротких очередей, чтобы, обнаружив себя, засесть огневые точки противника.

Это было опасно, смертельно опасно, но сейчас он почему-то не думал об этом.

Метрах в десяти от них, за ближайшим валуном, склонившись над картой, что-то кричал в гарнитуру радиостанции Истратов. Вокруг стоял такой шквальный грохот, что Истратову приходилось выкрикивать координаты по несколько раз.

— «Борты» вызывает, — предположил Вагин. — Вы бы снимали что-нибудь, товарищ корреспондент.

— Пошел ты!.. — Левашов перекинул автомат в правую руку и переместился к краю скального обломка.

Именно в этом месте камень шел на косой срез, тем самым открывая идеальную ячейку для стрельбы лежа. Левашов сосредоточенно осматривал противоположный склон, пытаясь обнаружить огневые точки «духов», но ему мешали пыль и дым над камнями.

— Справа от скального выступа метров двадцать — там у них пулемет! — крикнул ему снова высунувшийся из-за камня Вагин.

Левашов перевел мушку по указанному ориентиру и дал несколько длинных очередей.

— Ни хрена! — крикнул Вагин. — Правее!

— Да вижу я, твою мать! — взорвался Левашов. — Укройся, на хер!

И, не выдержав, схватил Вагина за капюшон «горки» и резко потянул вниз. Вагин неожиданно обмяк, захрипел и повалился на бок.

— Вагин! — рванул его на себя Левашов. — Вагин! Геша...

¹ *Граник* — гранатомет.

Из-под берета Геши Вагина стекала ровными струйками и капала на руки Левашова кровь. И только глаза по-прежнему смотрели строго и открыто, словно пытались до конца выявить огневые точки противника...

— Вечером мы приглашены в театр, — объявила Наташа.

Левашов, балансируя на табуретке, вворачивал лампочку в кухонный светильник.

— В какой еще театр? — думая о лампочке, раздраженно спросил Левашов.

— Театр — это там, где артисты.

— Это-то меня и смущает...

Левашов слез с табуретки, щелкнул выключателем. Лампочка не горела.

— Ты что, не любишь театр, Левашов?

— Я не люблю, когда брызжут слюной и поднимают каблуками пыль из столетних половиков...

— Господи, как можно так утилитарно подходить к искусству, — вздохнула Наташа.

— И все это в ярком свете прожекторов, — продолжал Левашов, вновь залезая на табурет и в очередной раз продельвая манипуляции с проклятой никак не желающей загораться лампочкой.

— Все? — спросила Наташа.

— Все.

— В общем, решено. Мы идем в театр, — отрезала Наташа.

— Идем так идем, — покорно согласился Левашов. — В «Ленком»?

— В Московский областной...

— Нам что, придется ехать в область? — ужаснулся Левашов.

— Женька, ну нельзя же быть таким серым. Областной театр дает спектакль на сцене Дворца культуры «Прожектор»...

Левашов беспомощно пощелкал выключателем — лампочка не загоралась.

— Час от часу не легче... — сдался он.

Спектакль назывался «Мужской род, единственное число». О жене, которая оставила мужа, сделала операцию по изменению пола и в качестве американского полковника вернулась обратно.

Сюжет пьесы был виртуозно запутан и остроумен. Режиссер, приятель Наташи, поставил спектакль блестяще, актеры, занятые в спектакле, играли легко и непринужденно, импровизируя на ходу и не смакуя лишние подробности.

Левашов подумал, что пьесу можно было поставить совершенно иначе: пошло и гадко. Он был благодарен Наташе за театр, за талант и смелость ее друзей, и, хотя все первое действие часто глупо и неприлично хохотал, его ни на минуту не оставляла мысль о предстоящем отъезде.

Он уже жил войной, горами, и эти величественные габельные горы были так далеки от происходящего в зале...

В антракте, стоя в очереди к буфетной стойке, он предложил Наташе:

— Пойдем, побродим где-нибудь...

— Тебе не понравилось? — расстроилась она.

— Что ты, Наташка, все замечательно. Я давно ничего подобного не видел... — Он не мог объяснить ей, что ему осталось всего два дня, и эти два дня он не хочет, не может ни с кем ее делить. — Просто хочется побродить. Без буфетов этих...

— А как же Андрей Палыч, ребята? — растерялась Наташа. — Они же нас ждут после спектакля...

— Ну, позвоним, поблагодарим, сождем что-нибудь... Сколько их еще будет — этих премьер.

— А, ладно, — махнула рукой Наташа, — пойдем, горе мое невежественное.

Они бродили долго. Миновали Большой Каменный мост, посидели в Александровском саду, вышли на Новый Арбат. У здания переговорного пункта Левашов остановил Наташу и, глядя ей в глаза, сказал:

— Мне надо позвонить. Я очень тебя прошу: ни о чем не думай — это касается меня одного.

— Хорошо, — согласилась Наташа и осталась на улице.

Левашов подошел к окошку диспетчерской.

— Псков, пожалуйста, — он протянул бумажку с номером телефона.

— Ожидайте, — прикрыла ладонью зевок сонная телефонистка.

За огромными, чисто вымытыми витражами переговорного пункта ждала Левашова Наташа. Левашов подошел к стеклу, прислонился, смотрел на Наташу. Почувст-

вовав его взгляд, Наташа повернулась, подошла ближе и теперь тоже смотрела на него.

Они стояли, разгороженные стеклом, и смотрели друг на друга. Долго, очень долго — несколько минут, в которые могла уместиться вся жизнь.

На мгновение ей показалось, что он прощается с ней, что происходит необратимое...

Он заметил в ее глазах далекие тревожные слезы...

«Я люблю тебя. Только тебя. Не волнуйся, все будет хорошо. Правда, будет... Я с тобой. Я не оставлю тебя, что бы они там все ни пророчили...»

Она услышала его, хотя он ничего не сказал. Услышала и успокоилась.

И когда телефонистка объявила номер его кабины, и он, жестами объяснив Наташе, что его вызывают, поправил несуществующий галстук и пошел к телефону, в ней уже не оставалось ничего от только что пережитых тревог.

Он вошел в кабину и снял трубку.

— Мама...

— Женька...

— Как дела, мам?

— А все хорошо, — отвечала мать, — сидим с девочками, отмечаем день рождения Ниночки Ветровой... — Она взяла аппарат на длинном телефонном шнуре и перешла в соседнюю комнату, волоча шнур за собой. — Ты помнишь Ниночку?

— Помню, — соврал Левашов.

— Ниночке уже шестьдесят два, — грустно сказала мать, прикрывая за собой дверь. — Стареем мы, сыночек...

— А почему у тебя? — возмутился Левашов, старательно обходя тему приближающейся старости. — У Ниночки что, своего дома нет?

— Ты же знаешь Ниночку, — вздохнула мать, — она такая легкомысленная...

Левашов попытался представить себе шестидесятилетнюю легкомысленную Ниночку и не смог.

— Как ты, сыночек? — спросила мать.

— Я уезжаю, мам...

— Куда? — голос матери изменился.

— В Арктику, за Полярный круг...

— Там же вечная мерзлота, Женя...

— Какая мерзлота, мама. Апрель на дворе.

- Ну, положим, еще март. А зачем ты едешь?
- В экспедицию, на съемки. Я звоню сказать, чтобы ты не волновалась, — вряд ли я смогу тебе звонить в ближайшие три-четыре месяца...
- Там что, нет телефонов?
- Мам, ну откуда в Арктике телефоны?
- Женя, ты говоришь мне правду? — спросила мать. В ее голосе появились просительные, отчаянные нотки.
- Как на исповеди... — Левашов помедлил секунду-другую. — Мама... Я, кажется, женился...
- Что значит «кажется»? — изумленно спросила мать.
- В смысле, мы еще не расписались...
- А она... — Мать затруднялась подобрать слово.
- Она для меня все, — опрометчиво сказал Левашов и тут же поправился. — Ты и она.
- Конформист, — рассмеялась мать. — Как ее зовут?
- Наташа.
- Я буду ей звонить, — тоном, не допускающим возражений, сказала мать. — Она живет у тебя?
- У меня.
- Когда ты едешь?
- Через два дня... — Он прижался лицом к стеклу. — Мама, а я всех нас во сне видел. Еще в старом доме... Ты молодая совсем, кормишь меня кукурузой... Отец живой...
- Четвертая кабина, заканчивайте! — ворвался в разговор беспощадный голос телефонистки.
- Женя! Женя! — занервничала мать — они, как всегда, ничего не успели сказать друг другу.
- Мам, ты не волнуйся, — успел крикнуть матери Левашов, — это самая рядовая командировка. Ну, хочешь, я привезу тебе белого медвежонка...
- Раздались короткие гудки — их разъединили.
- Их разъединили давно, а мать по-прежнему сидела на диване с трубкой в руке, не понимая, почему так безнадежно обрывают сердце привычные телефонные гудки.
- Что в разговоре с сыном поселило в ней тревогу? Чрезмерная будничность тона, на которую она покупалась не раз? Арктика, из которой невозможно позвонить? Ни разу за три месяца... Его сон, в котором они все были живы и счастливы: она, Женя, давно убитый, но так и оставшийся единственным муж...
- В комнату вошла легкомысленная Ниночка.
- Женя звонил? — спросила она.

Мать кивнула.

— Как он?

— Женился, — отрешенно сказала мать.

— То есть как? Не поставив тебя в известность...

— В смысле, они еще не расписались... — машинально повторила мать фразу сына.

— Это ничего, — примирительно сказала Ниночка, — молодость. Пойдем, Сонечка, все тебя ждут.

Мать подняла на Ниночку полные отчаяния глаза.

— Он сказал, что уезжает...

— Куда?

— В Арктику, за Полярный круг...

— А это не опасно? — на всякий случай спросила Ниночка, совершенно не представляя себе, что такое Арктика и за каким она Полярным кругом.

— Нет никакой Арктики! Никакого Полярного круга! — испуганно, почти на крике выводила мать. — Понимаешь, нет! Он опять едет туда, на эту проклятую войну!

— На какую войну? — недоуменно спросила Ниночка.

— Которые никогда не кончаются в этой стране, — зло и неожиданно спокойно сказала мать. Она уже взяла себя в руки. Она приняла решение. — Я поеду к нему.

— Ты прости меня, Сонечка, — как можно деликатнее и от того еще больше смущаясь, сказала Ниночка, — но мне кажется, ты можешь им помешать... Ведь они, вероятно, счастливы.

Мать резко встала. Она собиралась ответить что-то гневное, оскорбительное, но вдруг поняла, что сейчас права не она, а ее легкомысленная подруга Ниночка Ветрова.

Наступает время, когда матери начинают мешать своим сыновьям. И это время неизбежно. Да, это не касается ее сына — не такие у них отношения, но сейчас (пусть ее предположения тысячу раз справедливы) имеет ли она право вмешиваться в его жизнь?..

— Что же мне делать, Ниночка? — опускаясь на стул, беспомощно спросила мать.

Они поднимались по затертым грязным ступеням. Тускло отбрасывая тени, мерцала над головой закоптившаяся лампочка.

Стены, лестничные марши, перила — одним словом, все в этом фантастическом, будто вырванном из другого

измерения, подъезде было испещрено рисунками и границающими с помешательством изречениями граждан на тему «Мастера и Маргариты».

Но основное место на стенах, окнах и потолках занимали цитаты из самого Булгакова, и создавалось ощущение, что если подняться с первого до последнего этажа, то можно прочесть роман целиком.

— Где мы? — оторопело спросила Наташа.

— В этом подъезде находилась знаменитая квартира пятьдесят из булгаковского «Мастера и Маргариты», — объяснил Левашов.

— Ты любишь Булгакова?

— Я люблю тебя. А к Булгакову я спокоен.

— Тогда зачем мы здесь? Ты не Мастер, я не Маргарита...

Левашов пожал плечами.

— Мне почему-то захотелось привести тебя сюда... Скоро эти квартиры выкупят, закрасят стены, установят домофоны, и больше ни одна влюбленная, временно безработная пара не сможет распить здесь бутылку портвейна...

— Почему портвейна? — удивилась Наташа.

— Потому что здесь можно пить только портвейн. И только из горлышка, — назидательно сказал Левашов.

— Женька, — Наташа прижалась к Левашову. Она повернула голову и прочла надпись на стене: — «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...» Как просто, — задумчиво сказала она, — никого не трогаю, починяю примус. И самое главное: никто не трогает меня...

Они поднялись на третий этаж, уселись на подоконник.

Неприкрытая, с выбитыми стеклами оконная створка слегка раскачивалась от ветра и поскрипывала в тишине московского колодца.

Левашов достал бутылку портвейна, опалил зажигалкой полиэтиленовую пробку и сорвал ее зубами. Сделав несколько глотков, он протянул бутылку Наташе.

Наташа перевела дух, перекрестилась и отчаянно приложилась к бутылке.

— Господи, какая гадость! — болезненно морщась, выдохнула она, возвращая бутылку Левашову.

— Ты что же, в юности портвейн не пила? — искренне удивился Левашов.

— Я пила сухое белое вино и не шлялась по подъездам, — заявила Наташа.

— Пропала жизнь, — сокрушенно вздохнул Левашов и ополовинил бутылку. — Будешь еще?

— Давай, чего уж теперь...

Левашов достал сигареты.

— Знаешь, а я в среду купил тебе целый пакет косметики «Сальвадор Дали», — сказал он. — Огромный такой пакетище...

— У меня что, по-твоему, косметики нет?..

— Я отдал его продавщице из коммерческой палатки. Весь пакет...

Наташа взяла у него сигарету, закурила.

— Женька, ты меня не идеализируешь? — прищурилась она. — Зачем ты мне это рассказываешь? Я обыкновенная баба. Вздорная, капризная, порой ревнивая... И я правда не понимаю, почему моя косметика должна доставаться какой-то продавщице?..

— У нее муж погиб там, в Афганистане, — не сразу ответил Левашов. — Молодая, интересная, по сути — старуха. Ни детей, ничего... Руки с облезшим маникюром...

Наташа нервно покусывала губы.

— Женька, — неожиданно всхлипнула она, — ты всегда будешь таким?

Он обнял ее, прижал к себе — маленького растрепанного воробышка.

— Я буду разным. И плохим и хорошим. Иногда ты будешь меня ненавидеть... Но я всегда буду с тобой. Мы будем жить долго. Сколько до нас еще не жил никто. А потом мы придем в этот дом, поднимемся по этой лестнице и уйдем в небо, как когда-то ушли они...

— Кто?

— Мастер и Маргарита...

— Какая чудесная сказка, — заворуженно сказала Наташа. — А как же домофоны?

— В том-то и дело, — сухо сказал он, — что все сказки, в конце концов, разбиваются о самый банальный домофон...

Наташа взяла из его рук бутылку.

— Знаешь, Левашов, когда-нибудь у нас будет большая квартира, дружная семья, спокойная работа... И это неизбежно. И я этого не боюсь. Потому что я впервые счастлива. И впереди у меня еще столько счастья! И я его никому не отдам.

Она поднесла бутылку к губам и, к изумлению Левашова, выпила ее до конца.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Пойдем домой, Жень...

«Наташка!

У меня не хватило решимости сообщить тебе о предстоящем отъезде... Я не мог допустить, чтобы наши последние дни были омрачены твоими тревогами. Прости меня.

Помнишь, ты спросила: "Если тебя позовут вновь — ты пойдешь?"

Уже тогда я знал, что меня вот-вот позовут. Этот день наступил. Не пойти я не мог.

Я уезжаю в Таджикистан. Там война, до которой никому нет дела. И я обязан рассказать об этой войне. Я не знаю, нужно ли это кому-нибудь, кроме меня, но это нужно мне. А значит, и тебе. А это уже немало.

Я пишу это письмо и уже скучаю по тебе, нахохлившийся мой воробышек. Я так и не успел поносить тебя на ладонях...

Знаешь, меня могли убить десятки раз. Иногда мне казалось, что меня больше нет. И только теперь я понимаю, что со мной никогда ничего не случится. Потому что у меня есть ты, родная, единственная моя...

Если же я задержусь по независящим от меня причинам, знай: тебя не оставят. Знай и забудь об этом. Потому что я вернусь все равно.

Я пишу это письмо дома, на нашей кухне. Ты уже спишь, как всегда раскинувшись посреди кровати и спрятав руки под подушку, а твоя левая пятка легкомысленно торчит из-под одеяла. Сейчас я ее поцелую, ты недовольно дернешь ногой, еще глубже забьешься в подушку и... проснешься.

Так будет всегда. Всю нашу жизнь. Ты будешь ложиться раньше и ждать меня, а я всегда буду возвращаться.

Спи. Я люблю тебя».

...Плотность огня усиливалась. «Духи» несколько раз били из гранатометов. Используя перепад высот, прижимали десантников к земле огнем двух пулеметов.

«Значит, есть у них гранатометы, — машинально отметил Левашов. — Выстрелы берегут, сволочи!»

Десантники навскидку отвечали из «мух». Больше от отчаяния. Постоянный огонь с той стороны не оставлял возможности вести прицельную стрельбу — пули крошили вековые камни, жутко завывая на рикошетах.

Сколько это продолжалось? Семь-восемь, максимум десять минут. Казалось — вечность.

В группе Истратова уже было пятеро убитых и четверо раненых.

Посеченный осколками, забившись среди камней, как в детстве под одеялом, истек кровью Ким Балабанов. И уже никто ничем не смог ему помочь...

Были убиты Шарафутдинов и Осипов. И навсегда замолчал один из трех пулеметов...

Умер на руках у Левашова Вагин. Он сам закрыл ему глаза...

Левашов не надеялся, что они выберутся из этого огневого мешка. Если случится чудо, то да. Скорее всего — нет.

Но в любом случае ему предстояло взять камеру и снять. В конце концов, он здесь именно для этого. Но как же было непросто, перекинув за спину автомат, поменять надежное укрытие на почти открытую позицию и прильнуть к визиру видеокамеры...

Сколько раз ему приходилось слышать профессиональные термины: плавная панорама, интересная точка съемки... Но это было там, на заснеженной «натуре» среднерусской полосы, в хорошо отапливаемых павильонах Останкино...

Сейчас ему было необходимо найти «интересную» точку здесь. А она была только одна, эта «интересная» точка — в грохоте и вспышках обжигающе-гибельного металла, посреди яростной, для кого-то последней схватки...

В несколько бросков Левашов преодолел расстояние до намеченного места, упал среди камней, вросся в землю, навел объектив...

Вот она, непридуманная, не смонтированная из различных эпизодов — подлинная неистовая картина боя, в котором у тебя, как и у остальных, ровно столько же шансов выжить и ровно вдвое больше шансов умереть.

Вот они, перекрестные автоматные очереди, приближенный трансфокатором разрыв, леденящий сердце цвирк пули в нескольких сантиметрах от намерной пушки...

Левашов, конечно, не услышал своей пули. Он всего лишь хотел добежать до соседнего камня и снять убитого пулеметчика. Пуля вошла прямо под колено раскаленным, пробивающим тело гвоздем и опрокинула его на землю. На мгновение ему показалось, что он споткнулся...

Левашов почувствовал, как пульсирует и бьет толчками из раны кровь и с каждой секундой становится невыносимее боль. Он рванул из разгрузки жгут и сильно перетянул ногу выше колена. Попытался опереться на ногу — нога не подчинилась.

Значит, без посторонней помощи ему отсюда не выбраться. Как по-идиотски все вышло! Что же теперь — помирать здесь? Нет, он обещал вернуться и вернется! И хватит! Все остальное — разговоры в пользу бедных!

«Хрен им, а не селедки!» — всплыла в памяти фраза из какого-то фильма. Вспомнить бы, из какого...

Он подтянул к себе пулемет: цинк был пробит, лента покорежена. Левашов отшвырнул бесполезный теперь пулемет, перебросил из-за спины автомат...

У него оставалось семь магазинов и три пачки патронов в эрдэшке¹. Больше трехсот патронов...

Он еще не знал того, что знали остальные: за эти несколько минут к «духам» подоспело подкрепление. Человек двадцать. Может, больше.

— Хрен вам, а не селедки! — упрямо повторил он.

К нему метнулся Истратов.

— Уходим, Левашов!

— Не уйдем! Людей положим... — через боль выдавил Левашов.

— Положим, если не уйдем! Гранатометы у них — основные силы подтянулись...

— Не уйду я, Паш, — Левашов кивнул на ногу.

— Ох, е..! — Истратов увидел растекающееся по ноге Левашова багровое пятно. — Как же ты так?!

Он выхватил из нарукавного кармана коробочку с промедолом и вколот шприц-ампулу Левашову в бедро. Прямо через «горку».

— Спасибо, — Левашов протянул Истратову кофр. — Камеру забери, Паш...

¹Эрдэшка — ранец десантника.

— Я оставляю группу прикрытия, — не глядя на Левашова, сказал Истратов. — «Борты» уже идут, Жень...

Он положил рядом с Левашовым два автоматных рожка, оставшуюся шприц-ампулу.

— Бл.., как в кино! — поморщился Левашов. — Я все понял, Паша...

— Кончилось кино, — Истратов сжал руку Левашова выше локтя, подержал секунду. — Дотяни, Женька...

Огонь со стороны «духов» стал еще интенсивнее — отстреливаясь на ходу, рывками уходила за скальный выступ группа Истратова.

Справа и слева от Левашова заработали пулеметы прикрытия. Перехватить инициативу хотя бы на несколько секунд, не дать «духам» поднять головы — только так можно было пропустить группу Истратова.

Левашов оперся на камень, подтащил раненую ногу, вскинул автомат. Прямо перед ним, стоя на одном колене, вскидывал пусковой механизм в направлении уходящей группы гранатометчик. В прорезь прицела Левашов разглядел пуштунку¹ на его голове, опустил мушку чуть ниже и нажал на спусковой крючок...

Он еще успел заметить, как, сорвавшись со склона, падал на дно ущелья гранатометчик, когда мощная взрывная волна бросила его на камни, впилась в спину десятком осколков...

«Я же убил его...»

Голова раскалывалась от боя колоколов, немела и набухла кровью посеченная осколками спина. Он инстинктивно прижал руки к голове и ощутил под пальцами сочащуюся из ушей кровь.

«Слишком много для одного дня...» — подумал он и с ужасом увидел, как с яркого полуденного неба на него стремительно падает ночь.

...Левашов лежал в Мертвом море и читал журнал. Это было совсем несложно: вода была до отвращения соленая и жирная, как подсолнечное масло. В такой воде можно было читать журнал, курить, играть в шахматы и беседовать о сотворении мира.

От палящего солнца голову Левашова прикрывал носовой платок, завязанный по концам на четыре легкомыс-

¹ Пуштунка — афганский мужской головной убор.

ленных узелка. И голова под стать платку была на удивление пуста и свободна от каких-либо мыслей...

Вдруг сквозь шум привычной пляжной суеты Левашов услышал звук, которым был переполнен весь сегодняшний день: звук гулко звякавших о камни автоматных гильз. Это было тем более неожиданно, потому что предшествующих этому звуку выстрелов он не услышал. Да и какие могли быть выстрелы на Мертвом море, по водам которого аки посуху бродил Христос...

Он повернул голову и увидел сидящих на берегу Вагина, Марата, Андрюху Осипова и пулеметчика Рената, фамилии которого он не помнил.

Десантники были без разгрузок и оружия, в нетронутых пулями и кровью выцветших стиранных «горках», которые надевали перед выходом, пока все еще были живы.

Они сидели у самой кромки воды на фоне странно размытых, будто снятых в мягком фокусе силуэтов отдыхающих, и Вагин, глядя себе под ноги, сыпал из ладони на камни морскую гальку. Звук падающей гальки был глухим и дробно металлическим, как эхо.

— Марат? Вагин?

Левашов почувствовал под ногами дно и, сорвав с головы платок, пошел к берегу, отгребая воду руками.

— Я же говорил, что мы выберемся, Левашов, — улыбался ему навстречу Вагин.

— Где вы?

Он шел к ним, но не приближался.

— На небесах...

— Здесь хорошо, — поправил задуваемый ветром капюшон «горки» Андрюха Осипов, — только непривычно тихо...

— А как же чистилище? — растерянно спросил Левашов.

— Какое чистилище, Левашов? — недоуменно пожал плечами Марат. — Мы же солдаты...

— А где Ким? — Левашов искал взглядом Балабанова, но не находил его. — Его же убило первым...

— Пошел ребят собирать, — буднично пояснил Вагин. — Через час выходим...

— Ты же говорил, здесь тихо, Андрюх, — прищурился Левашов, — он до сих пор не мог понять, что с ним все-таки происходит.

А они уже освоились здесь, на небесах. И сейчас собирали ребят, чтобы довершить то, что не успели сделать на земле.

— Было тихо, — очень серьезно сказал Осипов и вдруг, не выдержав, расхохотался, — пока нас не было...

И словно по цепной реакции, подхватили его смех остальные. Они смеялись искренне, обескураживающее открыто, и не было в этом смехе ни насилия над собой, ни тоски по ушедшей земной жизни...

И тогда, не выдержав, рассмеялся вместе с ними и Левашов. Он снова был среди своих, и на данный момент главным было только это.

Ренат достал из пачки «Примы» сигарету, привычно размял ее пальцами, и, прикурив, сделал несколько глубоких затяжек. Он умел вкусно курить, Ренат.

Левашов сглотнул тяжелую слюну. Когда он курил в последний раз? Уже и не вспомнить.

— Курить охота, — не отрывая глаз от Рената, сказал он. — Оставь на ползатяжки, Ренат...

Ренат затаился, выпустил дым и протянул сигарету Левашову.

— Держи...

Левашов потянулся за сигаретой...

...И нащупал непослушной рукой автомат.

— А все-таки еще не конец, — сказал он сам себе.

Он еще мог стрелять. Не прицельно, ослабшими руками, но мог. Главное было выбрать удобную позицию.

Слева изредка, экономя патроны, огрызался пулемет. Он бил невпопад: то по склону, то поверх него — перекрестные очереди со стороны «духов» практически лишали его возможности вести ответный огонь.

А правый молчал. Мертвый пулеметчик лежал, обхватив пулемет руками и бережно укрыв его своим телом, как самого верного друга, с которым были связаны последние минуты жизни.

А пули с противоположного склона все еще били по его мертвому телу...

Значит, его убило, пока Левашов путешествовал в измерениях...

Их осталось двое.

Левашов примостился среди камней, как на турели, приспособил в узкой расщелине автомат и вдруг ощутил в

разряженном очередями и пороховыми газами воздухе первые звуки тишины...

Он повернул голову: далеко в небе, отстреливаясь тепловыми ракетами, словно в рапиде, плыло к ним на помощь звено боевых вертолетов...

2003

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛЕСА ПОД ЛЮКСЕМБУРГОМ

Почему именно здесь, в землях Западной Германии, в пятизвездочном отеле с двором-колодцем и боем часов на городской ратуше, мне приснились мои товарищи, которых давно не было в живых...

Герка, Димыч Разумовский, Форест, Гарик Орехов...

Почему в моем сне мы были перенесены из реальности в сорок третий год и, сидя на железнодорожной насыпи, пытаюсь свернуть самокрутку неслушающими руками, я не замечал, как просыпающийся сквозь пальцы табак смешивался с тяжелой пылью земли и теплый южный ветер гнал его к чернеющим вдалеке разрывам.

Все это было похоже на кино: и задувание искусственного ветра, и пиротехнические дымы, и просыпающиеся из кисета на землю крошки табака — как образ внутреннего опустошения и чего-то пока неясного, но неизбежного...

Там, за пакгаузом, еще шел бой, а мы, измотанные трехдневным противостоянием, тяжело и подавленно молчали, привалившись друг к другу спинами и ожесточенно сворачивая самокрутки. Все, кто остался от четвертой роты.

Где-то за насыпью послышался скрипучий звук патефона:

Ты помнишь наши встречи и вечер голубой,
Взволнованные речи, любимый мой, родной...

А, может, это было из другого сна...

Я наконец прикурил от отсыревших спичек, и тогда Пашка сказал:

— Смешная песенка, — он с треском рванул грязный, с въевшейся сажей подворотничок. — Оставь покурить...

Значит, это было из этого проклятого сна.

— Ты же не куришь, — попробовал оттянуть время я.

— Оставь.

Я знал, что когда Пашка сделает последнюю затяжку, осколок шального снаряда войдет ему в сердце, и, часто-часто растерянно заморгав, он упадет мне на колени всей тяжестью мертвого тела, и я сам оборву рукой настойчивый свет его глаз.

Все так и было в реальном девяносто пятом: и пакгауз, и насыпь, и осколок в Пашкином сердце, и моя рука, задержавшаяся на его лице...

Пробиваясь сквозь сон, пытаюсь отсрочить Пашкин конец, я совершенно явственно осознал, что даже во сне мне не дано запомнить их живыми, и в какую бы эпоху нас ни переносило, нам суждено встречаться только на войне, которая снова и снова будет убивать их и по-прежнему оставлять в живых меня. На войне, когда-то так беспощадно прибившей нас друг к другу...

Тогда же возникло в подсознании заглавие рассказа Казакова «Во сне ты горько плакал» и странная фраза: «соскрести боль со стенок желудочка». Сердечного желудочка.

Я плакал во сне. Плакал долго. Вопреки утверждениям, что сон человеческий краток.

Очнувшись, я понял, что плакал наяву, — подушка была сырой и горькой от слез.

Рядом, на краю постели, аккуратно и невесомо приютилась Фредерика — переводчица, с которой мы познакомились на банкете по случаю открытия фестиваля.

— Почему ты плакал? — спросила Фредерика, не поворачивая головы.

Ее номер, в отличие от моего, был номером для некурящих, и я подумал о спасительном свойстве сигарет: пока ты открываешь пачку, нащупываешь зажигалку, прикуриваешь и делаешь первую затяжку, у тебя остается пауза для ни к чему не обязывающего ответа. Сейчас этой спасительной паузы не было, и я сказал:

— Мне приснились мои товарищи...

— Живые? — спросила она, по-прежнему отвернувшись от меня.

— Мертвые.

— Ты потерял их на войне?

— Да.

— Когда это было?

Когда это было? И было ли? Иногда мне кажется, что нет. Слишком много суетного и второстепенного заслонило от меня ту жизнь. Тот отчаянный вдох перед будущим...

— Давно, — я сел на постели, откинул простыню. — А как ты узнала про войну?

— Я видела твой фильм. И нога... Ты оставил ее там?

— Оставил, — усмехнулся я. — Тяжело было нести, вот и оставил. Не тащить же с собой...

Никак не отреагировав на мою фразу, Фредерика повернулась на спину, упрямо глядя в тщательно выкрашенный потолок. За потолок было невозможно зацепиться взглядом — на нем не было даже люстры. Вместо люстры — вычурно-позолоченный светильник в углу. Но глядя именно в этот безликий потолок, она сказала:

— Надо... — она не находила слово. — Надо отпустить себя...

Я встал, пристегнул протез.

— Пойду, покурю, — сказал я Фредерике.

А она по-прежнему смотрела в потолок. Черт бы их всех побрал с пресловутой немецкой непроницаемостью!

— Гутен таг! — улыбнулись мне на ресепшн.

— Гутен таг! — отвечал я, машинально делая ударение на последнем слого и неожиданно отмечая за собой странную угодливость перед служащими в отороченных галунами ливреях.

Я вышел из отеля, достал сигареты.

По причудливо высаженной платанами улице неторопливыми парами и семьями шли немцы. На утренний ланч, в костелы, на традиционный шопинг по магазинам. Пронесли мимо жизнеутверждающие велосипедисты. Была суббота.

Еще четыре года назад я жил командировками. От войны до войны. Изматывающими, для многих безвозвратными...

Три года в мучительном поиске решения снимал картину. И вот она вышла, и я в Германии на фестивале, и все

это кажется сном после раскатанных траками тел, подрывов, пепелищ Грозного, мучительного выражения боли на волевых мужских и вдруг ставших по-детски беспомощными лицах...

«Унесите меня. Я убит», — давясь кровавой рвотой, произнес Разумовский за несколько минут до конца.

С него сдирали бронезилет, рвали на груди камуфляж, испуганно нащупывали пальцами затихающий пульс, а он лежал и улыбался пропадающим краскам окружающего мира, теплому сентябрьскому солнцу своего последнего дня. Он успел постичь жизнь и потому безошибочно и спокойно принял смерть.

Принял за восьмилетнего мальчика в окровавленной, рваной майке, чудом вырвавшегося из занятой боевиками школы. Мальчику стреляли в спину, почти в упор, чуть ниже худеньких крылышек лопаток, беззащитно взмывающих и падающих на бегу, и Димыч успел закрыть его собой. Это было тогда, четыре года назад, в Беслане...

— Гутен таг, — поздоровался со мной вышедший на перекур немец и показал на пальцах, что ему нужна зажигалка. — Фойер.

«Фойер». Как глубоко в подсознании сидело это слово.

Немец был ненамного моложе меня, благоухал кельнской водой, привычным жестом открывал портсигар. Мне вдруг страшно захотелось дать ему по морде.

— Битте, — ответил я, протягивая зажигалку.

Когда я вернулся в номер, Фредерика была уже одета и, сидя у зеркала, обводила карандашом контур губ.

— Мне надо уезжать в Гамбург, — сказала она, не отрываясь от макияжа. — Я была приставлена к тебе на время... показа твоего фильма. Моя миссия закончена.

— Ты выполнила ее сполна, — картинно поклонился я.

В ее глазах показались далекие слезы.

— Зачем ты меня обижаешь?

Я растерялся. Подобный цинизм казался мне вполне уместным. Я давно усвоил некую снисходительно-ироничную форму отношений с женщинами, не оставляющими следа в моей жизни, не задумываясь о том, что это может значить для них.

— Извини, — сказал я, надевая и излишне долгоправляя на себе пиджак.

Она была странно красива — Фредерика. Какой-то неожиданной, потаенной красотой. Для постижения которой

нужны были годы, может, жизнь. И только сейчас я начал постигать ее красоту...

Я взял ее руки, подержал на весу, поцеловал чуть влажные ребячьи ладошки и пошел к двери.

— У меня два дня выходных, — сказала она мне вслед. — Хочешь, я отвезу тебя в одно место? Там ты отдохнешь...

— А ты? — обернулся я.

— Я буду оставаться с тобой...

— Зачем тебе это?

— Когда мужчина плачет — ему нужна женщина. И еще... ты немножко мне нравишься...

Все было так механически-заученно ночью, и вдруг...

— В воскресенье вечером мы вернемся — и я уеду в Гамбург.

— До Гамбурга шесть часов езды. Что же, ты поедешь одна, ночью?

— Это уже моя проблема, — жестко ответила она.

Мы шли навстречу друг другу по лезвию обоюдоострого ножа. Я нарочно злил ее, и она постепенно теряла самообладание.

— Откуда ты так хорошо знаешь русский?

— Я специализируюсь на российском кино.

— У тебя занимательная профессия. Ты специализируешься на том, чего нет.

— Ты есть...

— Я не кино. Я — так... Мысли, перенесенные на пленку...

Это была правда. Я не вписывался в стилистику современного кино, предпочитая экстравагантности, перспективе построения кадра и динамике стремительно развивающегося сюжета свое видение жизни. Я считал, что повествую о вечном, а меня упрекали в традиционности, невыразительности и откровенной скуке.

Я пытался сделать картину о любви, полагая, что любовь — та особая, неподвластная и почти недостижимая субстанция, которая не нуждается во вспомогательной экспансивности и жестикуляции, а критика писала, что ему, то есть мне, удаются батальные сцены, вот пусть и снимает про войну, а любовь — удел избранных, что он может понимать в любви.

И как-то не сразу, но достаточно быстро я сдался, отдавая себе место в ряду третьеразрядных и, как выяснилось, несовременных режиссеров.

Неужели Фредерика — одна из немногих — почувствовала во мне необходимость говорить о любви?

— Куда мы поедем?

— В Люксембург.

— Почему в Люксембург? — спросил я, с трудом представляя, где находится Люксембург и почему мы должны ехать именно туда.

— Потому что сейчас это решаю я, — сказала Фредерика и достала из сумочки ключи от машины.

Мы катили по автобану мимо разбитых на склонах холмов виноградников, ветряных электростанций, одинаково добротных и ухоженных немецких деревушек.

Фредерика вела машину сосредоточенно, не включая радио и не отвечая на звонки. И я подумал о том, как бы отреагировала Фредерика, если бы я невзначай положил ей руку на колено. Эта мысль была так соблазнительна и одновременно по-хулигански смешна, что я расхохотался.

— Что тебе смешно? — недовольно покосилась на меня Фредерика.

— Я подумал, что было бы, если бы я положил тебе руку на колено.

Фредерика поправила воротник плаща.

— У тебя порядок с медицинской страховкой? — спросила она.

— Вроде да.

— Тогда положи...

Она включила радио — спокойную и бездумную волну.

— Чтобы ты не отвлекался...

Сейчас она была отстраненной и безучастной, как ночью, и я снова подумал: со мной ли это?

Какой нечаянной волной приблизило нас друг к другу? Единственной, поднятой незначительной трещиной на дне мирового океана и хлынувшей на нас посреди штилевого, спокойного моря. Фредерика всего лишь переводила многочисленные, адресованные мне больше из вежливости вопросы. Пыталась уложить в строгий формуляр слов мои путанные, часто невпопад, ответы.

Позже мы пили шампанское на приеме. Я — с отвращением и много. Она — не больше бокала. Когда мы вернулись в отель, я настойчиво потребовал ознакомить меня с содержанием ее мини-бара, поскольку свой уничтожил

накануне. Потом она зашла в ванную. А я ушел. Вернее, остался...

Утром мы должны были проститься, чтобы больше не увидеться никогда. Неужели всему причиной мои ночные слезы?

Сейчас она была не со мной — Фредерика. То ли не решалась отвлечься от дороги, то ли раскаивалась в предпринятой поездке, в сущности, с совершенно чужим человеком. Если разобраться, что нас связывало, кроме некоей кинематографической общности и странно возникшего в ней желания хотя бы на время оградить меня от зла окружающего мира.

Вероятно, это желание возникло ночью. Ведь кто-то же гладил рваный шрам на моей спине и шептал что-то по-немецки, понятное без слов...

Утром, одеваясь и приводя себя в порядок, она была готова поделиться со мной тем, что наполняло душевным равновесием ее саму, а сейчас в этой напряженной тишине, нарушаемой однообразным трением шин об асфальт, все могло разбиться вдребезги на крошечные и уже не соединяемые осколки.

Слишком обыденным и геометрически пропорциональным был пейзаж за окном. Слишком погранично были разделены наши кресла панелью коробки передач. И даже музыка радиозфира сейчас не объединяла нас.

В низине под нами, у подножия гор, расположился миниатюрный немецкий город с возвышающимся в центре костелом и яркой вывеской «макдональдса», различимой даже с дороги. И я подумал, что мы: Герка, Форест, Димыч, Гарик, Пашка Истратов, — одним словом, все наши могли бы взорвать устоявшийся покой этого городка, закатить грандиозную, в нарушение вековых бургерских традиций, пьянку с мордобоем, послать к чертовой матери официанта, менеджера, а вслед за ними и всех местных полицейских. Устроить, как говорил Шукшин, «этаким маленький бордельеро, небольшой забег в ширину».

И жители городка еще много лет с восхищением повторяли бы: «Да, были люди! Умели, черти, погулять с отрывом!»

Если б все были живы мы... И я. И они.

Вы очень подвели меня своей смертью, мужики. Каждый из вас забирал часть меня, а было меня, как оказалось, не так уж много...

И еще я вспомнил о явившейся во сне фразе. Фразе, спроецировавшей всю мою жизнь: соскresti боль со стенок сердечного желудочка.

Я представил себе разрезанное сердце, хирурга, скабливающего скальпелем боль со стенок желудочка. Долго, кропотливо стесывающего окаменевшие кристаллы боли и сбрасывающего их в десятки продезинфицированных лотков. Чтобы не прижились...

Боль потерь, боль разочарований, непроходящая боль юношеских обид. Раскраивающая голову боль когда-то казавшихся такими безобидными контузий. Двух, трех, четырех — кто их считал... Эхом далеких, прошлых разрывов, словно гулом затейливой раковины, которую ты когда-то поднял со дна и с тех пор обречен слушать море до конца дней...

Мы обречены слушать море, до которого уже не добраться, и ощущать тягостную пустоту сердца, осиротевшего без когда-то живших в нем людей...

И как в конце операции, хирург намертво зашивает клапан, пропускающий в сердце все наши боли. Если бы он существовал — такой клапан...

На каком-то этапе хочется только этого. Жить без боли. Да, скучно, пошло, равнодушно, губительно для художника, — но без боли.

Бродить по зимнему саду, слушать шелест рождественских гирлянд на ветру, или в ноябре, где-нибудь в Вене, обернувшись пледом, пить кофе за уличным столиком недорогого ресторана, скармливая хлебные крошки озябшим воробьям. И чтобы был дом, и дети рядом, и покой в тебе самом незаметно сливался с вечным покоем, и ты всего лишь засыпал в гостиной на подушке-думке, когда-то расшитой маминими руками...

— Фредерика, — позвал я.

Она машинально повернулась и, наткнувшись на мой беспомощный взгляд, резко сбросила газ и притормозила у ограждения.

— Фредерика, — сказал я и задохнулся в ее руках.

Теперь о Фредерике. Ей двадцать восемь лет. Она киновед. Год стажировалась в Петербурге. Живет в Гамбурге. Одна. Точнее, с миниатюрной собачкой породы чи-хуа-хуа, которая вполне может уместиться в креманке для шампанского. Что вполне устраивает Фредерику, по-

сколько креманок в ее доме две, а следовательно, она лишена страха встречать Рождество в одиночестве...

Собачку зовут Лорд. Во всяком случае, так записано в ее паспорте. Фредерика, ввиду явного собачьего несоответствия столь звучному титулу, называет ее Лордик.

— Лордик, Лордик, — зовет Фредерика, и чи-хуа-хуа послушно бежит на кухню, деликатно перебирая лапками по паркету.

Главное, все время смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на Лордика. Поэтому перемещение по квартире больше напоминает ежедневное преодоление минных полей. Но после того как Фредерика побывала замужем, подобными испытаниями ее не смутить...

Она обожает мандарины и фильм Томаса Жана «Достучаться до небес». Мандарины Фредерика ест со шкуркой, как яблоки, а про Жана говорит:

— Это все про меня. Я всегда стремлюсь к тому, что заведомо невозможно. А если возможно, то слишком поздно...

И слегка освобождает губы для своей непостижимой улыбки.

У нее удивительная улыбка. И губы. Станным образом раздваивающиеся сверху и образующие своеобразную впадинку, в которую можно складывать лишние слова, время от времени незаметно смахивая их платком.

И еще в ее глазах живут слезы. Когда-то Фредерика приютила их на время, забыла прикрыть дверь, и с тех пор слезы кочуют по разным людям, неизменно возвращаясь к Фредерике. Порой создается ощущение, что она вобрала в свои глаза все горе земли и никак не может выплакать...

Впрочем, ничего этого я о ней не знаю. Мне всего лишь хочется, чтобы это было так.

«Люксембург» — было написано на указателе.

Сразу за указателем простирался деловой центр: галерея офисно-торговых зданий, выполненных из стекла, бетона и мрачно-терракотового гранита. Величественно-помпезный и до такой степени безлюдный, что у меня произвольно мелькнула шальная мысль: а не в город ли мертвых завезла меня Фредерика? Может, здесь, по ее мнению, я и должен был отдохнуть?

«Наверное, мы все-таки слишком разное смотрим на мир», — глядя на темные провалы окон, успел подумать я, — и в это мгновение с моста открылся мне Люксембург...

Внизу под мостом лежал овраг, ложбина, не знаю — я никогда не видел подобных оврагов. Скорее, долина с примостившимися по склонам готическими домами, крытыми одинаково красной, местами почерневшей черепицей. И то там, то здесь среди этих трапециевидных крыш попадались ровные, но оттого не менее фантастические крыши-сады с оранжереями цветов, креслами-качалками и не убранными с плетеных столиков кофейными сервизами. И мне казалось, что я слышу, как дребезжит под дождем оставленная на блюде чайная ложечка...

А на дне долины, там, где некогда, возможно, текла река, росли деревья. Они росли здесь и сто, и триста лет, постепенно накрывая кронами крыши домов и возносясь к арочным сводам мостов. И палитра этих омываемых дождем красок казалась нереальной: багряной, темно-зеленой, цвета жгучей охры...

Когда-то под сенью этих деревьев прогуливались дамы в легкомысленных, срываемых порывом ветра шляпках и поигрывающие тростью элегантные господа в цилиндрах, пронеслись галопом безумные амазонки, и какой-нибудь люксембургский мальчишка, догнав голенастую девчонку, произносил под сводом моста первые и самые заветные слова в своей жизни.

А сразу за мостом раскинулся город, по узким улочкам которого мы сейчас ехали, минувя рестораны, убранные новогодними гирляндами магазины и причудливо-насмешливые скульптурные композиции, вылепленные чьими-то ироничными и талантливыми руками, словно в противопоставление всякого рода статуям Свободы и прочим помпезным монументам, свидетельствующим о непоколебимости, мощи и глупости той или иной державы.

Город холмов, долин, садов без земли и парящих над городом мостов... Город, где я ощутил состояние абсолютного душевного равновесия. Сразу. С первых метров мощеных мостовых. Единственный раз за всю свою долгую, перенасыщенную событиями жизнь. И казалось, что можно отдать всё за три чердачных окна с цветами герани на подоконнике...

— Что это? — почти шепотом спросил я.

— Старый город.

Мы остановились перед стелой, у подножия которой бронзовый воин склонился над другим, умирающим воином. Всё, отличающее воинов, — мечи, шлемы, щиты, — покоилось у ног, обнаженные тела покрывала одна лишь туника, и от этой безоружности, незащищенности перед лицом окружающего мира композиция казалась особенно пронзительной и одинокой. И я кожей ощутил пронизывающий их бронзовые тела холод...

— Это памятник добровольцам Люксембурга, — объяснила Фредерика. — Здесь Первая мировая, Вторая, война в Корее... Хочешь, я сфотографирую тебя на фоне памятника?

— Не надо. Я сам по себе памятник.

Мы подошли к гранитному парапету, закрывающему город от долины. И я снова увидел ее. Теперь уже под другим ракурсом и под сводами другого моста.

— А вон там, — Фредерика показала рукой на флагшток, — судя по всему, поднимают государственный флаг. Наверное, по каким-то особым дням...

— Как в пионерлагере, — сказал я.

— Что? — переспросила она.

— Этого мне тебе не объяснить... — усмехнулся я. — Хорошо, что его сейчас нет.

— Кого?

— Флага. Только флага здесь не хватало...

Она взяла меня под руку, положила голову на мое плечо.

— Ты бы хотел здесь жить?

— С тобой?

Она отпустила мою руку, отстранилась — я снова обидел ее. Произнесла машинально:

— У тебя, вероятно, жена, дети...

Я притянул ее к себе — мгновенно ставшую чужой. Откуда-то из глубин уже прибывало к берегу волну ее слез, и сейчас у меня еще была возможность остановить их.

— Я сказал тебе правду. Я хотел бы жить здесь. С тобой. И даже готов отказаться от номера для курящих. Ради тебя.

— Вот теперь я тебе верю, — улыбнулась она и все-таки заплакала.

А мне безумно захотелось поносить ее на ладонях.
Если б я мог, если б мог...

— Ты обязательно должен пробовать лягушек!

— Но я не хочу лягушек! У меня от одной мысли...

— Что за глупости! Быть в Люксембурге и не пробовать лягушек! Только потому, что у тебя, как это по-вашему... предубеждение...

— Предубеждение — это несформировавшееся убеждение. Почему бы с ним не посчитаться. Ну, в смысле, и оно достойно уважения...

За этой сценой уже минуты три с самым заинтересованным и в тоже время как бы безучастным лицом наблюдал официант. И я видел, как ему на самом примитивном уровне хотелось владеть русским, чтобы понимать причину наших бурных объяснений.

— Все, — отрезала Фредерика. — Люксембург — это почти Франция. А быть во Франции и не пробовать местную кухню... Во Франции все едят лягушек.

— Хорошо, что не гремучих змей, — сдался я.

— Месье, — Фредерика постучала по блокноту официанта и сделала заказ на безупречном французском языке.

— Ты и французский знаешь, — удивился я.

— В пределах ресторанного минимума.

— А я, как тот поц, не знаю ни черта, кроме местечкового наречия.

И хотя это было преувеличением, мне действительно стало стыдно.

Сколько сил и средств потратила мама на репетиторов по английскому. Ровно столько, сколько понадобилось мне, чтобы возненавидеть этот язык окончательно.

— Поц — это кто? — спросила Фредерика.

— Поц — это я.

Фредерика подняла стакан с виски.

— Тогда я выпью за тебя, милый мой поц. И, если не возражаешь, сегодня напьюсь. Я уже припарковала машину.

А лягушка по вкусу оказалась похожей на хорошо прожаренного цыпленка. Только и всего. Но, в отличие от цыпленка, ее было не жаль.

— Давай купим тебе ангела, — предложила Фредерика.

— По-твоему, у меня нет ангела?

— Может, и есть. Но он не внушает мне доверия...

Только что в ресторане мы выпили бутылку «Джемисона» на двоих. В равном доленом участии, как принято говорить в серьезных деловых кругах.

— Тогда и тебе. Чем твой ангел лучше моего?

— Хорошо. И мне.

Мы зашли в словно по волшебству выросший у нас на пути рождественский магазин и купили по ангелу. Мне и Фредерике.

Ангелов выбирала Фредерика.

— Ангел должен заглянуть тебе в душу, — говорила она, тщательно перебирая фигурки с распростертыми крыльями.

— Представляю, что он там увидит...

Они были действительно божественными — ангелы, выбранные Фредерикой. На тонкой деревянной ножке, какого-то немыслимого голубого свечения.

— Это ангел для рождественской елки, — пояснила она. — В Москве есть елки?

— В Москве только и есть, что елки...

Мы вышли из магазина с ангелами в руках.

— Нам надо зайти в костел, — твердо сказала Фредерика.

— У нас сегодня что: божественный цикл?

— Если не считать того, что он закончится в баре. Ты помнишь, я обещала сегодня выпить...

Я остановился, развернул ее к себе и снова утонул в ее шальных, немного раскосых от виски глазах...

— По-моему, это уже произошло.

— Много ты понимаешь... Господи, ну как можно так надевать шарф. Ты не задумывался, почему мужчины до такой степени беспомощны. Даже перед шарфом. — Она терпеливо поправляла на мне шарф. — Мы зайдем в костел и поставим свечи всем, кого ты видел во сне...

— Их слишком много...

— Значит, поставим много.

Мы шли по улице, дома которой можно было задевать плечами.

Я представил, как где-нибудь на четвертом этаже курит у окна пожилая француженка. «Мадам Жюли, не угостите ли вы и меня сигаретой?» — спрашивает у нее соседка из дома напротив. «С удовольствием, мадам Софи», — отве-

чает мадам Жюли, открывая изящный портсигар и протягивая соседке сигарету. Просто так. Через улицу. Из окна в окно.

— Тебе не тяжело идти? — спросила Фредерика.

— Нет. Город маленький...

Я не люблю лубочное убранство православной церкви. Мне не достучаться до небес сквозь низкие давящие своды, не принять навязчивой позолоты окладов и уже не отразиться в рубиновых стеклах лампад.

Но каждый раз, как впервые, я открываю для себя торжественность католических соборов. Особое звучание тишины и нереальную трехмерность пространства вокруг, где я — прихожанин в семнадцатом ряду, среди тысяч таких же прихожан не ощущаю себя песчинкой в определяемой богами круговерти Вселенной.

Костел пустовал. Кроме нас с Фредерикой, то ли во втором, то ли в третьем ряду сидели две старушки с молитвенниками в руках.

— Подожди меня, пожалуйста, — сказала Фредерика и прошла в боковую дверь за клиросом.

На мгновение мне показалось, что она больше не вернется. С тех пор как мы сели в машину, меня не оставляло странное ощущение, что Фредерика исполняет миссию какого-то особого милосердия по отношению ко мне. Может, она и есть мой ангел, материализовавшийся на эти два дня?

Могут же боги позволить себе подобную вольность: разрешить ангелу один раз в жизни побыть рядом с человеком, которого он оберегает. Если это необходимо человеку. Если это нужно ангелу.

Почему ангел, купленный мне Фредерикой, был так неуловимо похож на нее?

И в этот момент откуда-то из глубин костела раздалась музыка.

Нет, не музыка — хлынувшая на меня река. Без дна и берегов. Река человеческих слез, берущая свой исток со дня сотворения мира. Слез неизбывной печали и нечаянных радостей. И две моих слезы растворились в этой реке...

Я ни о чем не думал сейчас, понимая, что осмысление придет позже. С финалом музыки. Все это время мне хотелось одного: чтобы она не кончалась...

Кто-то опустил мне руку на плечо. Я накрыл ее своей рукой, почувствовав тепло знакомой ребячьей ладони.

— Что это было, Фредерика? — замороженно спросил я.

— Пьяццолла. «Забвение».

— Словно целая жизнь...

— Твоя жизнь. Он играл специально для тебя.

— Кто?

— Органист. Пойдем, поставим свечи.

Мы поставили сорок шесть свечей в маленьких алюминиевых площадках.

Тридцать семь — я. И девять — Фредерика.

— «Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного насада ночной кораблик негасимый из Александровского сада»¹... — прочла Фредерика. — Кораблик негасимый — это вечный огонь?

— Не знаю, — пожал я плечами.

— Мы должны отпустить их от себя. Ты — своих, я — своих. Там, где они сейчас, они счастливее нас. Там спокойно.

— А кто сказал, что они искали покоя?

Тридцать семь свечей — тридцать семь моих товарищей, ушедших до срока.

А те, чьих имен я так и не узнал... Кто поставит им свечи в костелах Люксембурга, по улицам которого неслышно ступает Господь?..

Свечи горели холодным бесстрастным пламенем в сумеречной нише костела, и казалось, что они уплывают в вечность. Девять ее и тридцать семь моих...

Свечи горели холодным бесстрастным пламенем, и за каждой свечой была своя жизнь: яркая, обжигающая, не разгоревшаяся, оборванная раньше или позже...

И перед каждой из этих жизней я ощущал чувство персональной, до конца не осознанной вины. Вот только избавиться от этой вины меня уже было некому. Да и вина ли это? Цепь незначительных подробностей, досужих бытовых мелочей, которым мы не придаем значения до тех пор, пока они не становятся необратимыми.

¹ И. А. Бродский. «Рождественский романс».

...Бытовые мелочи аккуратно ложились на дно Геркиного чемодана, и, глядя на растущие штабеля рубашек, я спросил:

— Ты что, серьезно?

— Серьезно, — отвечал он. — Я уже продал квартиру. Осталось собрать вещи.

— Как продал? — бессильно опустил руки я.

— Ты не помнишь, сколько раз мы виделись в этом году? Кому я здесь нужен? Тебе?

Он с силой толкнул крышку чемодана.

— Но почему Шумиха? И где она, эта Шумиха? У тебя же там никого...

— Нет — и не надо. Хуже, когда мы есть только для того, чтобы встречаться на очередных похоронах. А квартира... Хрен с ней, с квартирой. Сын у меня Ваня умирает...

— Я не знал...

— А что мы вообще знаем друг о друге...

Четыре месяца спустя Геркин сын умер от рака — деньги, вырученные за квартиру, уже ничего не могли изменить в его судьбе.

Мы, как и прежде, собирались по большим праздникам, пили, перебивали друг друга, произносили дежурные, давно никого не трогающие тосты, недоумевали над Геркиным решением: как он там один в этой чертовой Шумихе, где все надо начинать с чистого листа. И зачем было квартиру продавать — неужели не скинулись бы, не нашли деньги сыну на лечение.

А он и уехал от всех нас, освоившихся, подернутых глянцем благополучия, обросших требовательными женами и позабывших, как нас расстреливали со склонов Кандагара и в вязи поднимаемой рикошетами пыли мы кричали товарищу охрипшими голосами:

— Брось мне рожок! Я пустой!

И не было на свете ничего дороже тридцати промасленных патронов в глухом пенале автоматного магазина.

Редко, стараясь не надоедать лишний раз, он предлагал:

— Может, встретимся, посидим. Я тут одну кафешку знаю...

— Конечно, — буднично отвечал я. — В понедельник созовимся и пересечемся где-нибудь...

Только этих понедельников в году было больше пятидесяти... И не хотели они размениваться на совместно рас-

питую бутылку в захолустной Геркиной кафешке. О чем говорить-то? Жизнь слишком диаметрально развела нас по разным ступеням социальной лестницы. И какое имело значение все, что было до этого...

Два года назад он приехал на День Победы. Восьмое мая провел с внуком в зоопарке, по-детски хохоча над гримасничаньем обезьян и вальяжностью напыщенной пумы, а вечером, прикалывая награды к пиджаку, неожиданно обмяк и странно, боком завалившись на диван, уронил и разжал руку в уже безжизненном движении...

И, словно последним посланием всем нам, тяжело лег на пол орден Красной Звезды — самое дорогое, что оставалось в его жизни.

Почему именно здесь, в Люксембурге, я с такой острой болью вспомнил о нем? Здесь, за тысячи километров от Шумихи — продуваемого ветрами городка на задворках России.

Герка говорил, что там могилы его родных. К этим могилам он и уехал. От нас, живых.

Бытовые мелочи... Как явственно стоят они перед глазами: бумажные, подаренные матерью иконки, которые ты складывал в дальний ящик стола за ненадобностью, первые рисунки сына, порванные при разборе бумаг, — ну, дерево, ну, солнце, человечек, и еще десяток таких же деревьев и человечков, штабеля рубашек в Геркином чемодане и верхняя из них, с перелицованным воротником...

— Спасибо тебе, — сказал я Фредерике, когда мы вышли из костела. — Только не спрашивай, за что, ладно?

— Ты вернулся к своим, — глядя перед собой, произнесла она. — Я хотела и не хотела этого. Теперь ты ближе к ним и дальше от меня. Но так лучше тебе...

— Мне было бы лучше, если бы все были рядом: и ты, и они...

— Так не бывает. Остается что-то одно, — сказала она и пошла вперед.

Я смотрел ей вслед и думал о том, сколько за эти годы прошло через меня родных, близких, единственных. Прошло и ушло безвозвратно, а я физически, до боли в суставах ничего не мог этому противопоставить. И вот теперь уходит она...

— Фредерика! — отчаянно крикнул я.

Она резко обернулась на мой крик, сделала шаг навстречу и остановилась.

Так мы и стояли, разграниченные проезжей частью улицы, дома которой можно задевать плечами...

Вечер мы провели в холле гостиницы. За третьим столиком от барной стойки.

Постояльцы отеля спускались в бар, заказывая кофе, пиво, джин с тоником или коньяки из стоящих особняком дорогих бутылок. Они приходили на полчаса, час, пили, возвращались в номера, а место за столиками уже занимали другие: шумные, раскрепощенные, как подавляющее большинство европейцев.

И в этой череде лиц заключалась спасительная для нас с Фредерикой суэта — сегодняшним вечером нам нельзя было оставаться наедине. Слишком неотвратимо приближалось отрезвляющее утро следующего дня, в котором мы должны были расстаться навсегда.

— Эти девять свечей — они кому? — задал я мучавший меня вопрос.

— Всем, кто был у меня, — отстраненно произнесла Фредерика, — отцу, маме... У нас была большая дружная семья: дядюшки, тетушки, сестры...

— Что значит была? У тебя что, никого нет? — ошеломленно спросил я.

Она подняла на меня глаза.

— У меня есть ты...

Что я мог сказать? Она была у меня, я был у нее. Но это были наши последние несколько часов. Даже не сутки...

Сейчас нам вновь было необходимо выпить, и я жестом поманил официанта, указав ему на пустые стаканы.

— Может, возьмете сразу бутылку, — плохо скрывая раздражение, проворчал официант, возникнув у нашего столика с очередной, по-моему, шестой порцией виски.

— Месье, — Фредерика взяла с подноса стакан, сделала внушительный глоток и жестко отчеканила что-то по-французски.

Официант побледнел и испарился.

— Что ты ему сказала? — спросил я.

— Я сказала, чтобы он шел к чертовой матери. В самых изысканных выражениях, конечно.

— Не так-то просто отыскать ее адрес в этом городе...

— Ничего, он найдет... Тебе в самом деле понравился Люксембург?

— Я влюбился в него. Как когда-то влюбился в Москву, увидев ее впервые. Только тот щенячий восторг сменился разочарованием, а Люксембург.. Я никогда не встречал таких городов...

— Когда-то этот город открыли мне, я — тебе, а ты откроешь еще кому-нибудь...

— Что-то я не в восторге от этой эстафеты, — зло сказал я. — Это наш город. И я ни с кем не собираюсь его делить.

— Не злись. Я ведь, как и ты, не знаю, о чем говорить... Как все было просто еще несколько часов назад...

Она была права: как все было ясно и понятно утром. Два человека случайно встретились на пересечении одного меридиана. Им надо было куда-то деться: ее одиночеству и его неприкаянности. И тогда они совершили путешествие в изумрудный город, примиряющий со всеми горестями на земле.

Кто мог предположить, что мистические полюса Люксембурга до такой степени притянут нас друг к другу. Всего за один день. День, который мы еще не прожили до конца...

— Давай выпьем, — предложила Фредерика. — Хотя толку от этого виски никакого...

Виски не действовал. Ни на меня, ни на нее. Может, и прав был официант, предлагая нам взять бутылку.

— Что ты будешь делать, когда вернешься домой? — спросил я только для того, чтобы что-то спросить.

— Знаешь, почему я не курю? — внезапно ожесточенно сказала Фредерика. — Потому что надо выходить на улицу, в специально отведенные места... А я не хочу никуда выходить. Я хочу курить здесь и сейчас. Хотя бы для того, что иметь время для ответа на твой вопрос.

И я вновь поймал себя на мысли: как все, что говорила и делала Фредерика, было созвучно всему, что говорил и делал я.

Задумчивая, взбалмошная, трогательная, со слезами и без слез, и такая, как в эту минуту, — вспльчивая, не пытающаяся владеть собой, — она с каждой минутой становилась все больше и больше необходима мне. Необходима, как глоток чистого воздуха на промытых дождем люксембургских улицах, подаренных мне Фредерикой. И этот

вошедший в мое сердце город в одно мгновение оказался разоренным, обезличенным и совершенно ненужным без нее...

— У меня дома можно курить где угодно. На балконе, в комнате, на кухне. Правда, я не курю, но это не важно. На балконе два плетенных кресла, столик, кофейник, магнитофон с джазовыми композициями, — говорила Фредерика, не замечая наполнявших ее слез. — А с балкона потрясающий вид на город. Особенно по утрам...

Она брала щипцами кубики льда и машинально опускала в свой стакан. Один, третий, пятый, седьмой кубик...

Подняла наполненный льдом стакан и, глядя мимо меня, сказала:

— Я вернусь домой и буду учиться жить без тебя...

В номере мы не разбирали постель. Нам казалось невозможным то, что так легко и непринужденно случилось прошлой ночью, — мы лежали поверх покрывала на подоткнутых рядом подушках и молчали.

Нам было необходимо многое сказать друг другу. И в тоже время обреченность наших отношений делала бессмысленными любые слова...

Я не знаю, о чем думала она. О том, что никогда не сможет вернуться в Люксембург, потому что была счастлива в нем со мной? О том, что я привязан пуповиной к своей неустроенной, равнодушной ко всему на свете родине, детям, близким, памяти тех, кого потерял и кого мне еще предстоит потерять, тысячам и тысячам проблем, которые невозможно отсечь одним взмахом руки?..

А может, этой второй и последней нашей ночью, приклонившись к моему плечу, она уже училась жить без меня.

Я не знаю, о чем думала она. Я знаю, что мы думали об одном и том же. Она — по-своему, я — по-своему. Но об одном и том же...

Я резко повернулся к Фредерике, прижал ее к себе и зарылся в ее волосах.

Она обвинила меня руками и стала исступленно целовать, горячо шепча незнакомые, не требующие перевода слова.

Так мы и заснули в ту ночь. Я и мой ангел. Как засыпают все: счастливые и несчастливые, благополучные и одинокие, вспыльчивые и уравновешенные...

Нам были необходимы эти несколько часов прикосновения, и сон, который мы видели, был сном на двоих: мы куда-то ехали по залитому вечерним светом шоссе, и нам было совершенно все равно, куда... А по обочинам шоссе горели свечи в алюминиевых плошках.

— Вот видишь, — говорила Фредерика, — скоро мы все будем вместе...

— Мы умерли? — спрашивал я.

— Ну что ты, — отвечала она, — мы бессмертны. И мы, и они.

Когда я проснулся, Фредерики в номере не было.

На столе лежала записка.

«И не надейся, я никуда не уехала. Вот-вот буду. Душ налево по коридору. Фредерика, августейшая фрейлина Вашего двора».

Я несколько раз перечитал записку, посмотрел сквозь нее на солнце и окончательно для себя самого решил, что мы не расстанемся никогда.

За окном стояло неправдоподобное для поздней осени ликующее утро, безгранично царствовавшее в небе солнце рассеивало следы вчерашней хмари, и эти ярко-опаловые краски наполняли меня уверенностью в том, что я родился счастливым человеком. И потребовалось всего лишь сорок семь лет для осознания этого бесспорного факта.

Раздался телефонный звонок.

— Месье, — сказала Фредерика, — между прочим, нам полагается бесплатный завтрак в ресторане. Но бесплатным он будет еще тридцать минут. Не желаете ли присоединиться?

Я спустился в ресторан.

— Здравствуй, — сказал я, присаживаясь за столик. — Ты видела, какое сегодня солнце?

— Я видела его утром, с моста. Оно поднималось над долиной.

— Значит, ты так и не спала?

— Спала. Мне снилось шоссе...

— По которому мы ехали вдвоем...

Она вздрогнула.

— И нам было совершенно все равно, куда ехать...

— А так бывает? Чтобы было все равно, куда? — вымученно спросила она.

— Бывает, — растерянно произнес я. — В отдельных случаях... А ты знаешь, что я люблю тебя?

Она скованно, как-то угловато улыбнулась.

— Нет. Ты почему-то так и не сказал мне об этом...

И я почувствовал, как утлое суденышко моего обретающего паруса счастья неизбежно несет на рифы.

— Надеюсь, здесь не дадут на завтрак лягушек, — попытался пошутить я.

— Завтрак включен в стоимость проживания, и лягушки в нем не предусмотрены, — сдержанно произнесла Фредерика.

— Фредерика, — как тогда в машине, беспомощно позвал я.

— Я купила тебе билет на поезд. Мне не доехать обратно такое расстояние без тебя. Я разобьюсь по дороге...

Ни одно дерево в этом фантастическом лесу не закрывало собой других деревьев. Лес, как хлынувший летом грибной дождь, был прозрачен на десятки, сотни, тысячи километров вокруг. Прореянные деревьями лучи солнца падали на багровый палантин опавших, укрывших сырую осеннюю землю листьев, и сквозь этот библейский свет можно было видеть горы, моря, города на другой стороне земли...

— Прозрачные леса под Люксембургом, — сказала Фредерика. — Больше нигде и никогда ты не увидишь таких лесов...

— Осень в дубовых лесах...

— Что?

— Это рассказ Юрия Казакова. Был такой писатель.

— И о чем этот рассказ?

— О том, что происходит сейчас с нами. Только он смог бы описать и лес, и запахи, и вот это свечение деревьев...

— А о нас с тобой?

— О нас с тобой напишу я.

— Значит, мы всего лишь сюжет для небольшого рассказа...

— Может, для повести.

— В повести должно быть много событий. А что можно написать о нас?..

Я ничего не ответил ей. Дано ли мне знать, когда затихнет и успокоится зверек поселившейся во мне боли, и я смогу написать про нас? Да и смогу ли...

Мы сидели на палантине багровых листьев, ни на секунду не отпуская рук, а за нами, убранная прозрачными лесами, плыла земля.

— Надо ехать. Через полтора часа поезд, — сказала Фредерика и забила в воротник моего пальто.

На перроне задувал холодный ноябрьский ветер — как это обычно случается в Европе, на смену погодам приходят непогоды.

— Во Франкфурте ты возьмешь такси, — говорила она, поправляя мой шарф. — Скажешь: «Летс гоу ту Мангейм».

— Возьму, — повторил я. — Летс гоу ту Мангейм, сэр.

— Господи, как же ты доберешься один? Как можно ехать за границу, не зная даже нескольких фраз по-английски...

— Я еще и по-немецки не знаю...

— Зато я слишком хорошо понимаю по-русски...

Я достал сигареты, с трудом прикурил на ветру.

— На перроне нельзя курить.

— Плевать! Нельзя, можно... Мне всю жизнь чего-нибудь было нельзя. Фредерика, что мы делаем?..

— А что мы можем сделать?

Что мы можем сделать? Как изменить мир вокруг себя? Мир, не чинивший нам препятствий.

Между нами не было ни «железного занавеса», ни границ, ни зависимости от неразрешимых обстоятельств... Между нами были мы. И три чердачных окна с геранью на подоконнике, где мы могли жить, слушать орган в костеле, по утрам пить сваренный в турке кофе и однажды возненавидеть друг друга... Она — без своей жизни, я — без своей.

И еще между нами были свечи в алюминиевых плашках. Тридцать семь моих и девять ее. Эти свечи нельзя было забрать в другую жизнь — от них можно было только отказать...

— Фредерика, у тебя есть собака? — неожиданно для себя самого спросил я.

— Есть, — машинально отвечала она. — Чи-хуа-хуа. Ты, наверное, даже не знаешь такой породы... Она такая маленькая, что может поместиться в креманке из-под шампанского.

Я знаю такую породу, Фредерика. Я знаю о тебе столько, до такой степени ощущаю тебя нервными окончания-

ми, что не могу, не имею права отпустить от себя. И отпускаю.

— Вот так бы всю жизнь прожить в креманке из-под шампанского... Фредерика, через семь минут отправление...

— Как?! — опустили ее плечи.

Она вцепилась в отвороты моего пальто.

— Надо было брать билет на самолет! Самолет могут задержать хотя бы на час! Он может разбиться на взлете, и тогда ты бы остался со мной. Все равно какой: обожженный, переломанный, все равно какой...

Она говорила, помешанно глядя мне в глаза и совершенно не понимая, о чем говорит.

Я прижал ее к себе — маленького трясущегося галчонка. Если б я мог носить ее на ладонях. Если б мог...

Поезд тронулся. Что-то возмущенно кричала мне проводница.

— Прощай, — я оторвал Фредерику от себя и, запрыгнув на подножку, прошел в холодный сумрак тамбура.

Запрыгнул... Как громко сказано о человеке, еле ковыляющем на протезе. Я словно увидел себя со стороны: искалеченного, немолодого, со всей своей путаной, проклятой, совершенно бессмысленной жизнью без нее.

А она все шла и шла за поездом. Но этого я уже не видел.

Помнишь, ты сказала: «Мы должны отпустить их от себя...»

Вероятно, должны. Многие поступают именно так, сбрасывая память, как ненужный, давящий на плечи балласт и дальше путешествуя налегке. Это и в самом деле очень удобно — путешествовать налегке. Только не у всех получается...

Я не отпустил от себя своих погибших, как они не отпустили бы меня.

Я не отпустил тебя, Фредерика.

Ни тогда, когда ехал от Франкфурта до Мангейма, ожесточенно бросив таксисту: «Летс гоу ту Мангейм, сэр», ни когда швырял вещи в дорожную сумку, на которой спал в полупустом самолете (если бы я мог спать), ни в Москве, ни в преддверии Нового года с его суетливыми хлопотами, ни после...

Я не отпустил тебя, дописав эту повесть.

Тогда, в лесу, ты сказала, что для повести нам не хватает событий. Возможно, ты была права. Но наша жизнь никак не хотела уместиться в рамки рассказа — он оказался слишком тесен для нее. Да, наша жизнь, потому что мы прожили огромную счастливую жизнь, Фредерика. Жизнь объемом в несколько печатных страниц...

Если бы ты знала, как я не хотел заканчивать эту повесть, как осязаемо ты пересекала страницы, плакала, смеялась, поправляла упрямо выбивавшийся из-под пальто шарф.

А тогда, в поезде, забившись в дальний угол вагона, я выл, как воют одинокие брошенные собаки. От бессилия и раздирающей сердце боли.

В тот день я удалил из телефона твой номер, запомнив его навсегда.

Но порой, отчаявшись совладать с собой, я тянусь к телефону и набираю твой номер — самый запоминающийся из всех номеров в моей памяти. Я смотрю на сложную и одновременно легкую, как стихотворная строка, комбинацию цифр и как будто разговариваю с тобой. И надо всего лишь нажать клавишу вызова, чтобы услышать твой голос, но тогда... Тогда ты станешь реальностью. А я не хочу, чтобы ты становилась реальностью, Фредерика.

Я все сам себе объяснил. Я принял истины, которые, казалось, не приму никогда. Я научился жить без тебя.

И все-таки... Все-таки когда-нибудь, не знаю когда, может, через сто, двести лет я нажму эту клавишу, и на твоём телефоне определится мой номер. Единственный из всех номеров.

— Здравствуй, — скажешь ты. — Как долго тебя не было.

И у меня оборвется сердце...

Содержание

Рассказы	5
Старик	7
Пустяки	13
Нарисуй меня, Женечка	17
Туманный край небес	20
Лерочка-Валерочка	27
Христа ради	35
Не покупайте, пожалуйста, бультерьера	48
Размышления Сергея Ильича Худякова	59
Друг мой Славка	69
Один из многих	75
Смятение	78
Вернувшись, я уйду	80
Сочинение на уходящую тему	83
Оставаясь с тобой	95
Сто сорок лет одиночества	104
Евдокимов	121
Розовый язык алабая	125
Тысяча тысяч нас	133
Миниатюры	139
Предисловие	141
От шестнадцати до двадцати	142
С двадцати до войны	152
После	166
Повести	185
Мутный материк	187
Никто, кроме нас	227
Прозрачные леса под Люксембургом	291

Литературно-художественное издание

Сергей Говорухин

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛЕСА ПОД ЛЮКСЕМБУРГОМ

В авторской редакции

**Зав. редакцией *О. Ярикова*
Ответственный редактор *К. Вепринцева*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Корректор *И. Мокина*
Компьютерная верстка *И. Михайловой***

**ООО "Издательство Астрель"
129085, г. Москва, проезд Ольминского, 3а**

**ООО "Издательство "АСТ"
141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96**

**Типография ООО «Полиграфиздат»
144003. г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д. 25**

МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, т. (495) 232-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-45-86
- м. «Алтуфьево», Дмитровское ш., д. 163 А, ТРЦ «РИО»
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (495) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр Ленд», этаж 0, т. (495) 406-92-65
- м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL - 2», т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, корп. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, корп. 1, т. (495) 413-24-34, доб. 31
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская»/«Таганская», Бол. Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Менделеевская»/«Новослободская», ул. Новослободская, д. 26, т. (495) 251-02-96
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4-й этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Бол.Черкизовская, д. 2, корп.1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, корп. 1, 3-й этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый стан», Новоясеневский пр-т., вл. 1, ТРЦ «Принц Плаза»
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15, корп. 1, т. (495) 977-74-44
- м. «Тулльская», ул.Большая Тульская, д. 13, ТЦ «Ереван Плаза», т. (495) 542-55-38
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, корп. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шелковская», ул. Уральская, д. 2
- м. «Шукинская», ул.Шукинская, вл. 42, ТРК «Шука», т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солцевский пр-т., д. 21, ТЦ «Столица», т. (495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00
- м.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, ТЦ «Эдельвейс»
- м.О., г. Зеленоград, ТЦ «Иридиум», Крюковская площадь, д. 1
- м.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», т. (496)(24) 6-55-57
- м.О., г. Коломна, Советская площадь, д. 3, Дом Торговли, т. (496)(61) 50-3-22
- м.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- м.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А, ТЦ «Счастливая семья»
- м.О., г. Электросталь, ул. Ленина, д. 010, ТЦ «Эльград»

РЕГИОНЫ:

- Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 65-00-95
- Белгород, Народный б-р, д. 82, т. (4722) 32-53-26
- Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50, ТРК «Парк Хаус», т. (343) 216-55-02
- Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3а, ТРЦ «Столица», т. (3412) 90-38-31
- Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64
- Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная площадь», т. (861) 210-41-60
- Красноярск, пр-т Мира, д. 91, т. (3912) 23-17-65
- Курган, ул. Гоголя, д. 55, т. (3522) 43-39-29
- Курск, ул. Радищева, д. 86, т. (4712) 56-70-74
- Курск, ул. Ленина, д. 11, т. (4712) 70-18-42
- Липецк, пл. Коммунальная, д. 3, т. (4742) 22-27-16
- Мурманск, пр-т Ленина, д. 53, т. (8152) 47-20-43
- Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107, ТЦ «Мега», т. (383) 230-12-91
- Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», т. (8412) 20-80-35
- Пермь, ул. Революции, д. 60/1, ТЦ «7 пятниц», т. (342) 233-40-49
- Ростов-на-Дону, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», т. (863) 265-83-3
- Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТЦ «Виктория Плаза», т. (4912) 95-72-11
- Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТЦ «Космопорт», т. 8-908-374-19-60
- Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 41, ТЦ «Академический», т. (812) 380-17-84
- Санкт-Петербург, ул. Чернышевская, д. 11/57, т. (812) 273-44-13
- Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88
- Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-53-11
- Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- Тюмень, ул. М.Горького, д. 44, стр. 4, ТРЦ «Гудвин», т. (3452) 79-05-13
- Уфа, пр. Октября, д.26-40, ТРЦ «Семья», т. (3472)293-62-88
- Чебогары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59
- Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22
- Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковию:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

ЧИТАТЕЛИ – ПИСАТЕЛЯМ

Издательство АСТ и писатели российского ПЕН-центра открывают благотворительную Программу помощи писателям, находящимся в тяжелом, а подчас и бедственном положении.

Среди них авторы известных стихов, пьес, прозы – писатели – участники Великой Отечественной войны, люди, выжившие в лагерях уничтожения, нуждающиеся в лечении.

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

**Вы можете помочь нуждающимся писателям,
перечислив свой взнос на счет программы:**

Благотворительный фонд «Тепло сердец»

ИНН 7701359136 КПП 770101001

Р/с: 40703810000000001562

Банк получателя: ОАО «ТрансКредитБанк»

БИК: 044525562

К/с: 30101810600000000562

Назначение платежа: Целевое пожертвование на благотворительную программу
«Помощь писателям»

Более подробную информацию о Программе, а также полную информацию о поступивших и использованных средствах вы можете узнать на сайте
<http://www.teploserdec.ru>

Члены Исполкома российского ПЕН-центра:

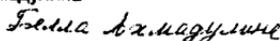
Аркадий Арканов



Александр Городницкий



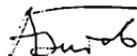
Белла Ахмадулина



Фазиль Искандер



Андрей Битов



Игорь Иртеньев



Зоя Богуславская



Юнна Мориц



Андрей Вознесенский



Алексей Симонов



Людмила Улицкая





**Сергей Станиславович
ГОВОРУХИН (р. 1961)** —

известный режиссер и писатель. Закончил сценарный факультет ВГИКа. В качестве военного корреспондента участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии, награжден орденом Мужества, орденом Сергея Радонежского, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» и др. Автор нескольких сборников прозы, режиссер фильмов «Прокляты и забыты» (1998), «Сочинение на уходящую тему» (2001), «Никто, кроме нас...» (2008), лауреат российских и международных кинопремий. Член Совета по правам человека при Президенте РФ.

Проза Сергея Говорухина — о любви и сострадании, о нравственном выборе, о том, каким испытанием бывает для человека жизнь после войны.

В среднестатистической человеческой жизни всего два с небольшим миллиарда секунд. Ежедневно мы размениваем их на склоки, ложь, сутяжничество, безвкусицу, предательство... Нам уже не научиться любить друг друга — хотя бы не задевать локтями.

Мне интереснее всего исследовать человеческую душу, потому что это действительно самое неизведанное и удивительное вокруг нас.

Нам не от кого и нечего ждать, все зависит от каждого из нас. С детства твердо запомнил одно: спрысят с тебя. С тем и живу.

ISBN 978-5-17-064823-8



9 785170 648238